

СИБИРЬ

1 • 2023





Алексеев А.И. Портрет писателя Валентина Распутина



Соловьев И.Ю. Портрет академика Анатолия Ивановича Алексеева

СИБИРЬ

396/1 1.2023

Литературно-художественный
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Иркутская хрестоматия

85 лет со дня рождения

Станислав Китайский. Поле сражения. *Отрывок из романа* 3

115 лет со дня рождения

Павел Нилин. Впервые замужем. *Отрывок из рассказа* 17

Поэзия

115 лет со дня рождения

Константин Седых. «Шальная молодость моя...» 9

Виктор Соколов. «Всех называя вслух и поимённо...» 28

Владимир Скиф. «В наших сердцах мы заставы воздвигли...» 90

Павел Великжанин. «Солдату в рай теперь дорога...» 111

Наталья Камышова. «По житейскому морю плыву...» 124

Василий Скробот. «И новый год, и старый — всё со мной...» 133

Алексей Шихалёв. «Млечный Путь и присутствие Бога...» 181

Проза

Владимир Максимов. Предназначение. *Повесть-эссе (журнальный вариант)* 35

Владимир Киреев. Серебристые листья полыни. *Рассказы* 98

Дмитрий Воронин. На Берлин! *Рассказ* 115

Максим Живетьев. Памятник. *Рассказ* 130

Очерк и публицистика

Анатолий Байбородин. Дар любовью освященный. *О прозе Альберта Гурулева* 137

Ирина Прищепова. «Господи, поверь в нас...»
(*Эссе по рассказу В.Г. Распутина «Что передать вороне?»*) 149

Актуальное интервью

Валерий Хайрюзов. Ещё раз о патриотизме.

Беседа с депутатом Государственной Думы А.Н. Грешневиковым 162

Сибирь молодая

Поэзия. Наталья Добаркина, Марина Ножнина, Антон Зоркальцев, Вероника Сурманова, Игорь Лесных 184

Проза. Екатерина Сереброва, Вероника Смирнова, Илья Подковенко, Александр Суслов, Любовь Головина, Дарья Гандина, Юлия Саламатина, Дарья Головина 192

Критика и публицистика. Любовь Головина, Антон Лухнёв, Константин Скубченко, Елена Кокоурова 240

Вернисаж

Елена Зубрий. Виват академия! Виват академики! 251

Книжная полка 258

Главный редактор **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,

М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: shumal_sibir_irkutsk@mail.ru

Подписано в печать 01.03.2023 г. Выход в свет: 20.03.2023 г. Формат 70x108/16.

Усл-печ. л. 21. Тираж 1000. Цена свободная.

Отпечатано в типографии: «Принтлайн»

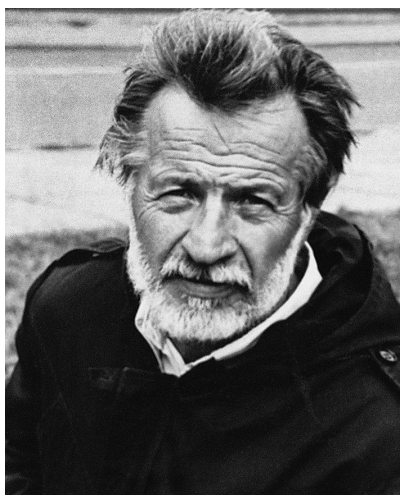
Адрес типографии: г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/4. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Иркутская хрестоматия



85 лет со дня рождения

СТАНИСЛАВ КИТАЙСКИЙ



Поле сражения

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

1

В конце августа, когда вечерние зори уже выцвели и вянут быстро, разом уступая сумеркам, а над тёмным частоколом деревьев повисает большая чистая луна, можно увидеть, как с белесых таёжных полей уходит потихоньку лето. Дневные запахи исчезают, краски меркнут, а над глубокими падами устанавливается бездонная тишина.

Гул высокого ночного самолёта не потревожит его — привык.
Но вот луна скроется, и на небе прибавится звёзд.

КИТАЙСКИЙ Станислав Борисович, прозаик. Родился в 1938 г. в селе Ордынцы Базалийского р-на Хмельницкой обл. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение). Автор книг: Поле сражения: роман (1973), В начале жатвы: повести и рассказы (1985), а также многочисленных повестей и рассказов, которые широко публиковались в центральных и местных литературных изданиях, в коллективных сборниках и журналах. Главные произведения писателя: роман «Поле сражения», посвящён событиям Октябрьской революции и Гражданской войны в Сибири, повесть «В начале жатвы» — о проблемах коллективизации, их современное переосмысление. Станислав Китайский всегда был ярким пропагандистом сибирской литературы, выступал с лекциями в различных читательских аудиториях. С 1986 по 1992 занимал должность заместителя ответственного секретаря Иркутского отделения Союза писателей России. Скончался 4 марта 2014 в г. Иркутске.

Потянет по долине зябким ветерком, сиротливо заполощется осина, вскрикнет в ельнике ночной птах, и снова замрёт всё — на этот раз до рассвета.

Под утро Кичиги на небе побледнеют и начнут прятаться за вершину бора, верховик подует сильнее, прогогочут над падью невидимые гуси, бескровно и холдно восток засветится восток. Свистнет рябчик, выбравшись из ночного скрадка, ему робко ответит синица, клокнет на ветке глухарь и тяжело полетит на голубичные уголья встречать солнце.

Умиротворённое и вымытое, оно скользнёт лучами по гребням леса, осветит дорогу, поляны и белую траву на них — то иней, утренний заморозок, дохнул на восходе, будто первая седина в лесу появилась. Потом иней быстро растает — останется белеть только там, где лучи не могут достать его. На миг покажется, что свет и тень поменялись местами: там, где густо-зелено — тень, а где бело — свет. Но этот обман продлится недолго. День снова расставит всё по местам.

Опять будто вернётся лето. Лишь грибные запахи, лиловые лопушки в траве, заплывавшие на косогорах деревца да тревожные, далеко слышные зовы журавлей на болотах напомнят, что гостила ночью в приленских лесах неспешная осень.

Отныне она станет с каждой ночью задерживаться всё дольше. Лес постепенно оголится, заморщится ветками, заглядится серыми открытыми озёрами в помутневшую синь неба.

А потом неспешно придёт зима.

Но пока она далеко. Так далеко, что в неё и не верится.

Одну из таких августовских ночей я скоротал на Струнинской заимке, в дальнем таёжном урочище.

Лет сорок назад здесь была пашня, родившая богатую рожь, стояло зимовье с пристройками, на болоте имелась чистка, где в добрый год хозяин, тарайский крестьянин Тимофей Струнин, ставил по восьми зародов душистого «едкого» сена.

Теперь от заимки осталось одно название: пашня поросла корявыми разлапистыми соснами, покос взбуял таволошкой, а прямо на месте зимовья вырос густой ольховый куст. Только жёсткий пырей на чуть приметных бороздах подсказывает, что некогда здесь трудился человек.

Добрался я до заимки за полдень. Пока срубил подходящую листовень, пока вкопал её на полянке и собрал вокруг этого остова пирамидку из привезённых в люльке мотоцикла кусков фанеры, солнце бойко покатилося на закат.

Я не решился, глядя на ночь, соваться со своим тяжёлым «Уралом» в падь, где и днём-то застрять немудрено. Спокойно докрасил суриком пирамиду, обложил подножье дёрном и укрепил на ней выпуклую звезду из нержавеющей стали.

Получился памятник.

Тряпочкой осторожно протёр жестяную табличку и в который раз перечитал аккуратную надпись:

НА ЭТОМ МЕСТЕ 20 АВГУСТА 1921 ГОДА ПОГИБ ОТ РУКИ БЕЛОБАНДИТОВ ОТРЯД ПРИЛЕНСКИХ ЧОНОВЦЕВ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

Мама просила обязательно написать на табличке имя моего дяди по отцу, Дмитрия Бутакова, но мне не удалось установить имена доброй половины отряда, и поэтому я решил не упоминать никого: смерть уравнила их всех. Все шестьдесят семь красных бойцов достойны одинаковой памяти и благодарности...

Впервые сюда на заимку привёл меня старик Струнин.

— Вот туты-ка, паря, все и кончилось, — сказал он, пряча в косматые брови выцветшие медвежьи глазки. — Убитых бандиты в зимовье сожгли, других

которых в озёрину вон побросали. Говорели, вроде командира на осине, как на кресте, растянули, а сердце в отдельности на сучок подвесили... Сам не видал, врать не буду. До меня туты-ка начальство из уезда побывало. Когда я приехал, одни головёшки валялись. Рожь конями истолкли, косить нече было... Оставил я и покос и пашню. Это одна что на кладбище сеять. Тако дело... Никто из наших сюды и не кажется. Вроде как этот... заповедник устроилси...

Я сфотографировал тогда деда на месте бывшей заимки — низкорослого, корявого, вспоминавшего, наверное, как крестьянствовал здесь по молодости, и оттого вышедшего на снимке скорбным и мечтательным, а вообще-то он старик был живой, говорливый и себе на уме.

— Много народу тогда погубло, — говорил он. — Вот и дядя твой. Запомнил-ся он — здоровенный был, ишшо здоровше тебя. Качать его хотели чоновцы, когда он убил эту Черепахину, ну — где такого качнёшь? — попробовали и попустились. Довольнёхонькие были. Оно и правда — атаман баба!.. А с другой стороны еслив, так оно вроде и не по себе маленько — бабу убить. Мужика оно так сказать, а бабу — совсем друго дело. Я своей, как счас помню, по молодости ишшо, врезал как-то, так, думал, пусть бы лучше рука отсохла! Тут, конечно, война, это понять надо. Ну и стрельнул он её. А там и его — вот здесь, значит... Лютое времечко было. Натерпелись, паря, куды с добром!..

А вот и забылось всё, почитай.

Есть у меня и запись струнинского рассказа о последнем бое чоновцев с бандитами, который произошёл не здесь, на заимке, а в деревне Тарае, откуда Струнин родом. Что произошло здесь, боем не назовёшь. Потому именно тарайский бой надо считать последним.

Представлялся он мне таким.

...Черепихина заменила обойму. Огляделась, устало привалилась к сосне: пронесло и на этот раз.

Далеко слева, в пади, коротко хлопали трёхлинейки, слышались протяжные крики — там ещё дрались. А здесь, на хребте, было тихо. Анна Георгиевна знала — чоновцы не будут преследовать их в лесу. Её люди, в большинстве таёжники, охотники с детства, могли уложить каждый по несколько наступающих и уйти невредимыми. Вот почему красные всегда старались навязать бой на открытой местности, но такого боя она никогда не принимала.

— Ан-нааа!.. — послышалось совсем рядом.

Она хотела ответить, но в ту же секунду из-за куста хлестнул выстрел. Пуля тюкнулась в сосну над головой. Раздумывать было некогда. Анна Георгиевна мигом заметила куст, из которого стреляли в неё, вскинула маузер, спустила курок, и тут же острая игольчатая боль пронзила её тело. Вспыхнула перед глазами красно-желтая ослепительная радуга, и сразу пришла мягкая тишина...

Когда чоновцы подошли к Тараю, от крайних изб по ним пальнули из нескольких винтовок, а в селе началась суматоха.

Бандиты нападения никак не ждали. Они готовились к далёкому переходу, мылись в банях, кололи отощавших летних свиней, запасались ковригами свежечёпёного хлеба; стараясь не попадаться на глаза атаманше, пили бражку и храпели на поветях, отдувая надоедливых мух.

По сообщениям связчиков, тайных помощников банды, красные были далеко, в полтораста верстах отсюда, искали ветра в поле где-то в Гурчанской волости. Однако Черепихина с бабьей настырностью приказала отрядить в караул уголов-

ников атамана Антонова, недавно прибавившихся к отряду. Те, видно, задремали на солнышке и проснулись уже от выстрелов влетающих в деревню чоновцев. Это походило на гром в Рождество.

Вскакивая на незаседланных коней, а то и пёхом, огородами, ломая прясла, налетая друг на друга в тесных проулках, бандиты кинулись к лесу.

Чоновцы на околице разделились. Большая часть отряда, нахлёстывая лошадей, веселя себя криками и выстрелами, бросилась наперерез убежавшим, а меньшая — поскакала по улицам, сразу опустевшим, где только ошалелые курицы, кудкудахча и роняя перо, взлетали на заборы да носились, выгнув луком хвосты, бестолковые телята.

Изредка открывались калитки глухих ворот, и на улицу выглядывали хозяева, подзывая чоновцев короткими взмахами коричневых узловатых рук. И те, пригнувшись к шеем коней, влетали в ограды, делали один-два выстрела и снова топились на дороге.

Трёх бандитов на пригорке за поскотиной первым заметил Евстигнеев, худенький парнишка, лихорадочно-весёлый и рыжий, как степной пожар.

— Митька, гляди, баба! — крикнул он товарищу, скакавшему рядом. — Гад буду, Черепахина. Пошли!

Конь легко перенёс его через прясло и, путаясь в огородной зелени, поскакал кратчайшим путём к поскотине. Тяжеловес Бутаков не решился сигать за Евстигнеевым, огляделся, увидел меж прясел проезд и направил туда своего Карьку.

Бандиты уходили быстро. Черепахина скакала на тонком кровном коне — маленькая, одетая по-мужски и ловко приклеенная к седлу, но всё равно видно было, что это баба. Несколько раз на полном скаку она разворачивала коня и оглядывалась кругом. Тогда натягивал узду и скачущий рядом с ней мужик — стрелял по догонявшим.

Эти остановки дали чоновцам некоторый выигрыш, но у бандитов кони были свежие. Бутаков решил, что проще догнать их пулями. Он считался в отряде лучшим стрелком, попадал на пятьдесят шагов в донышко стреляной гильзы, но на скаку стрелял неважно. Чтобы не пулять зря, остановил коня, положил винтарь на седло, чуть повёл мушкой, выстрелил.

Конь под Черепахиной споткнулся, ударился грудью оземь, перевернулся через голову и грохнулся рядом с ней, вылетевшей из седла.

Скачущий рядом мужик остановился, хотел было по-казацки подхватить её с земли, но у него ничего не вышло, и он соскочил с седла, стал поднимать бабу.

Бутаков неторопливо передёрнул затвор. Снова деловито прицелился. Но пуля и на этот раз не задела людей, ужалила мужикового коня. Тот вздыбился, отбросил от себя хозяина и с жалобным ржаньем, похожим на стон, понёсся к деревне.

Третий бандит скрылся в лесу, когда Евстигнеев был уже совсем близко от спешенных.

Вдруг баба выбросила вперёд руку с пистолетом и выстрелила.

Евстигнеев тыкнулся в гриву и косо сполз с седла. Нога его застряла в стремяни, и конь поволок его по земле.

«Далеко, гады, не уйдут!» — со злостью подумал Бутаков, сел в седло и поскакал к Евстигнееву.

Тот лежал бездыханный, с задранной до подмышек гимнастёркой, намертво зажав в кулаке повод уздечки. Конь, в недоумении потряхивая головой, стоял над ним и тихо ржал, будто просил помочь недвижному хозяину.

Бутаков задерживаться возле не стал, так как бандиты уже добежали до леса. Гнать прямо за ними было всё равно, что самому себе пулю в лоб пустить, и он взял немного выше, отпустил лошадь и осторожным охотничьим шагом, унимая в теле мелкую нервную дрожь, двинулся туда, где по его мысли должны пройти те двое. Вскоре к нему вернулось обычное спокойствие, какое всегда бывает на охоте — чуткое, внимательное, до предела обостряющее слух и глаз. И тут только он вспомнил, что в винтаре осталось всего два патрона, и аж сплюнул с досады. Возвращаться за подсумком никак нельзя, потеряешь время. В конце концов на медведя он ходил с шомполкой, а в ней вовсе один заряд. И — ничего, обошлось.

«Черепихина не дура, — соображал он, — прямком не рванёт, в падь на перестрелку тоже, значит, по хребту пойдёт до конца мольки, там спустится и выйдет в тыл своим...»

Вскоре обнаруженные следы подтвердили его догадку. Теперь надо было продвигаться особенно осторожно. Через каждый десяток шагов Бутаков останавливался, затаив дыхание, слушал лес.

Следы бандитов были чёткие, ясные. По своей неохотничьей глупости они старались больше бежать. А зачем в лесу бегать?.. Вот здесь они отдыхали. Дальше следы расходятся: мужик пошёл в распадок — наверняка хочет перехватить кого-нибудь с конём, а баба не сразу поднялась и — похромала дальше...

Бутаков увидел её издали.

Стараясь выбирать чистые места, припадая на ногу, она поспешно перебиралась от дерева к дереву, но часто останавливалась и отдыхала. Пот заливал ей глаза. Она торопливо вытирала лоб рукавом по-мужски — от локтя к манжету, — и тогда пистолет в руке чёрно поблескивал над головой.

Вместе с ней останавливался и Бутаков, заслонясь кустом или деревом. Прислушивался к затихающей перестрелке. Один раз в стороне кто-то быстро проехал на коне. И Бутаков подумал, что это тот, третий бандит, блукает с перепугу. А вблизи стояла глухая, жаркая тишина. Шагов хромающей впереди бандитки почти не было слышно, только изредка хрустнет сухая валежина да вспорхнёт напуганный рябок.

Расстояние меж ними понемногу сокращалось. И чем меньше деревьев и кустов разделяло их, тем поганей становилось у Бутакова на душе. Он знал, что убьёт её, помешать этому уже ничто не сможет, и не жалел её ни капли, но в голову упорно клевалась мысль, что лучше прибрать взвод мужиков, чем одну бабу.

Когда она перезаряжала маузер, Бутаков поставил прицел на цифру «50» и потихоньку загнал в ствол патрон. Снял с мушки подцепившийся листик, вскинул приклад к плечу.

В прорезь прицела разглядел красивое цыганское лицо, высокую круглую шею и крутую, в вырезе расстёгнутой гимнастерки, грудь. В лоб ему не хотелось стрелять, и он поискал мушкой сердце, чтобы не мучилась долго...

— Ан-нааа! — вдруг всплеснулся заблудший окрик, и щёлкнул недалекий винтовочный выстрел, только с другой стороны. Пуля тюкнулась в сосну над её головой.

Мгновенно, не целясь, Черепихина ответила на выстрел. И Бутаков почти одновременно с ней нажал на спуск.

Она выронила пистолет, оперлась обеими руками за спиной на шершавый сосновый ствол и медленно сползла в траву.

Всхрапнул в кустах напуганный выстрелами конь, и кто-то невидимый выстрелил в сторону Бутакова.

«Наугад бьёт», — определил чоновец, но на всякий случай перескользнул за толстую осину, обросшую кустами, загаился. Комары и появившийся уже мокрец жгли потное лицо, забирались под рубаху, но он не шевелился.

Минут через двадцать у сосны, где лежала убитая, хрустнул сучок. Можно было стрелять на звук, но Бутаков побоялся промазать и остаться безоружным, а разглядеть цель мешали кусты. Можно было попробовать подкрасться, но он не знал, сколько бандитов подошло сюда, и решил отсидеться.

Было слышно, как бандит завозился возле сосны, как протопал по чаще и дальше уже верхом на коне поехал, не выбирая дороги, ломая валежник.

«Не охотник, — установил Бутаков и обругал себя: — Зря не рискнул».

Он подождал ещё немного — другой бандит, если он есть, обязательно как-нибудь обнаружит себя, но всё было тихо. Перестрелка в лощине кончилась. Противно зудели под ухом комары. Он лёгким медленным движением отгонял их и раздумывал, кто бы мог стрелять в Черепахину и почему не было слышно, как неизвестный ушёл. Неужто она свалила его таким быстрым выстрелом?.. А может, это бандит, не разглядевший, в кого стрельнул, — перепугался и теперь дожидается, когда высунет голову Бутаков? Он надел на приклад картуз и приподнял его над кустами. Выстрела не последовало. Хитрит, или нету никого?.. Надо посидеть ещё.

Про Черепахину по уезду ходили всяческие байки: и будто она от пули заговорена, и в разведку ходит, обернувшись старухой, и верхом ездит — не всякий мужик спорить отважится, а уж в стрельбе — на лету воробья из пистолета сшибает. Ничему этому Бутаков не верил, хотя полгода бесконечной погони за бандой убедили его, что Черепахина — баба хитрая, как волчица, и хищная, как соболька. Сколько раз ускользала из такой ловушки, что, казалось бы, уж никак не выкрутиться. Она будто нюхом чуяла малейшую опасность и уводила свою банду почти без потерь. Вообще-то главарем банды считался её муж, Андрей Черепахин, кадровый офицер, но по деревням его уже давно не видели. Может, раны зализывал где-нибудь, а то и хлопнул его добрый человек... — да и что о нём говорить — бандит и бандит! Мало ли их. А тут — баба, вот и выдумывают про неё, кто во что горазд. То-то разговору пойдет, когда он, Бутаков, расскажет, как убил её! Не поверить ему нельзя. За всю жизнь он не соврал ни разу, и на шутки да розыгрыши не мастак. Поверят... Командир поблагодарит за находчивость, а Нюрка скажет: молодец ты, Митька, с бабами воевать куды горазд!.. Может, промолчать?..

В кустах, куда стреляла Черепахина, послышался сдавленный стон. Так стоять — тихо, натурально — мог только раненый человек. Живой, заходи обмануть, стонал бы громче, призывней. Бутаков, все ещё опасаясь, поднялся, огляделся, убедился в безопасности и только тогда направился к раненому...

ПОЭЗИЯ



115 лет со дня рождения

КОНСТАНТИН СЕДЫХ



СЕДЫХ Константин Фёдорович (1908–1979) родился в поселке Поперечный Зерентуй Читинской области в казачьей семье. С самого детства Константин Федорович впитывал в себя песни и сказки Забайкалья, часто слушал рассказы взрослых об острогах и тюрьмах Кади, Зерентуя, Нерчинска. Еще учась в школе Зерентуя, Константин Седых начал писать корреспонденции в местные газеты, которые были замечены, и будущего писателя пригласили в Читку. В Читке Седых начал обучение в педагогическом техникуме. В студенческие годы писатель публиковал свои статьи в местных газетах, а после окончания учебы стал профессиональным журналистом. В 1924 году Седых опубликовал свои первые стихотворения, посвященные страшной истории родного Забайкалья, гражданской войне и каторге. В 1931 году писатель переехал в Иркутск. Здесь в 1933 году он выпустил свой первый сборник поэзии «Забайкалье». В поэтических опытах этого периода Седых отражает жизнь новой советской деревни, показывает характеры забайкальцев в самых разных сферах жизни — личной, культурной, производственной. Благодаря работе в читинских газетах, Константин Седых встречался с многими участниками гражданской войны и записывал их рассказы. На протяжении многих лет писатель собирал материалы по истории, экономике и этнографии родного края, изучал их. В результате этих исследований появился роман «Даурия». В 1939 году в альманахе «Новая Сибирь» были опубликованы первые главы романа. Полностью роман был издан лишь в 1948 году в книжном издательстве Читы. Работа над произведением длилась на протяжении пятнадцати лет. «Даурия» была издана более сотни раз. Роман переведен на многие языки, публиковался в Канаде, Англии, Франции, США, Югославии и других странах. По мотивам произведения в драматическом театре Читы был поставлен спектакль «Даурия». В 1957 году в журнале

«Свет над Байкалом» был напечатан роман «Отчий край», который стал продолжением «Даурии». Роман «Утреннее солнце» должен был стать завершающей частью трилогии, однако он не был дописан Константином Федоровичем. Во время Великой Отечественной войны Константин Седых был военным корреспондентом газет «Героическая красноармейская» и «На боевом посту». Седых опубликовал большое количество лирических и сатирических стихотворений, очерков. В 1967 году Константин Седых стал Почетным гражданином Иркутска. В ноябре 1979 года Константин Федорович скончался. Похоронили писателя в Иркутске, на Радищевском кладбище. Дом, в котором жил писатель, отмечен мемориальной доской.

Константин Седых в период 1920-1930-х годов в сибирских периодических изданиях публиковал фельетоны, очерки, юморески, сатиры и пьесы в стихах. В романе «Даурия» наиболее ярко проявляется свойственное стилю Константина Федоровича сочетание героического, возвышенного с будничным и обыкновенным. Роман «Даурия» является главным произведением Константина Седых. Роман посвящается судьбе забайкальского казачества. Это произведение было задумано в 1934 году как трилогия о революционном движении в родной Сибири. Однако война помешала писателю дописать последнюю часть трилогии. Главной темой этого романа является Гражданская война в Забайкалье. Героями произведения являются жители поселка Мунгаловский, ведущие свою родословную еще от участников пугачевского бунта, яицких казаков, которые были сосланы в Нерчинск на каторжные работы. События, изображенные в романе, разворачиваются с 1854 по 1922 годы. Повествование многоплановое, в нем прослеживается несколько сюжетно-композиционных линий: Седых углубляется в историю казачества Забайкалья и на примере судьбы трех поколений семьи Улыбиных показывает, как под влиянием событий расшатываются устои, складывавшиеся на протяжении веков и казавшиеся незыблемыми. В произведении писатель дает яркие описания даурской природы, весьма колоритно воссоздает быт, традиции и забавы казачества. Хронике семьи Улыбиных автор противопоставляет историю семьи Чепаловых, которые живут совершенно по другим законам — их состояние нажито не трудом, а обманом и преступлениями. Таким образом, появляются два полюса, вокруг которых сгруппированы образы персонажей «Даурии». Произведение было экранизировано и переведено на многие языки мира. Роман «Отчий край» является сюжетным продолжением «Даурии». Позднее «Отчий край» был переиздан под названием «Сопки в огне». Здесь автор вновь сводит читателя с Романом Улыбиным, который из малограмотного парня превратился в смелого командира партизанского отряда, и с его дядей Василием, который стал руководителем революционного движения в Сибири.

В качестве поэта Константин Седых дебютировал стихотворением «Мы идем», которое было опубликовано в газете «Юная рать» в 1924 году. Тематика стихотворений поэта достаточно разнообразна. Он писал о прошлом родного края, о Гражданской войне, о сибирской ссылке и каторге, о коллективизации в деревне, о Великой Отечественной войне. В своей творческой эволюции Седых-лирик, который воспринимал мир через романтическую дымку, двигался к восприятию обыденной правды окружающей действительности. В стихотворениях поэта постепенно лирический монолог сменяется на рассказ, который раскрывает психологическую и социальную сущность людей и описываемых событий. Константин Седых — автор многих книг, в том числе и стихов: «Стихи» (М.; Иркутск, 1933); «Родная степь» (Иркутск, 1937); «Первая любовь» (Иркутск, 1945); «Над степью солнце» (Новосибирск); «Солнечный край» (Чита, 1950); «Степные маки» (Иркутск, 1969). Лауреат Государственной премии СССР, Почётный гражданин Иркутска, член Союза писателей СССР.

«Шальная молодость моя...»

Прадед

Мой прадед не был казаком.
Он вскормлен горьким молоком,
Объедками в людской княгини.
Щелчком раскалывал он дыни,
А грузным слитком кулака
На бойне сваливал быка.

Желтоволоосый богатырь,
Он не добром ушёл в Сибирь,
Махнув платком полям Рязани:
За девку с карими глазами
В глухую ночь впилась рука
В цыплячье горло барчука.

Над прорвой речек и болот
Косой крутился снеголёт,
Слепая выюга бушевала.
И от привала до привала
Вела дорога ровно год
В хребты на Нерчинский Завод.

Там неприступно хмур и дик
Зарос крестовский становик
Колючкой, жалами крапивы.
Крепить листовые огнивы,
Как в преисподнюю, увёл
Пришельца шахты мокрый ствол.

Пород сползающих навес
Шатал и гнул крепёжный лес,
Метался воздух воспалённый...
А в полночь прадеда в зловонной
Низине койкой из досок,
Гнилым борщом встречал острог.

Земля, шпицрутены, цинга
Тушили жизнь. В ночах пурга
Над горным кладбищем шипела,
Где много в те года истлело
Без отпеванья, без гробов,
На смерть замученных рабов.

Пятнадцать лет кромешной мглы...
Звенели тупо кандалы,
Пугал внезапный шум обвала...
Под серой шапкой выцветало
Витое золото волос,
Но прадед выжил, перенёс.

Он поселенец. У ручья
Он рубит лес для зимовья,
В квашне замешивает тесто.
Пока не сыщется невеста,
Сам носит воду, лопоть шьёт,
В столбы городит огород.

О, зарева ласка жён!
Срезает бороду ножом
Мой прадед, как траву дурную,
Потом тунгуску молодую
На безвенчалное житьё
За руку вводит в зимовьё.

С берёз багряный лист опал,
Когда без крестных и попа
Крестил он первенца в бочонке.
Топырил красные ручонки
И лихоматом голосил
Новокрещённый Михаил.

Топор загнал на крутяки
С равнин густые листовки,
В пади остался бурый колок,
А по заречью рос посёлок,
Да окружала городьба
Казачьи тучные хлеба.

Но редко сдобленный калач
Имел мой прадед. Неудач
Не разорвал он круг проклятый —
И ни сохой, ни лопатой
Не вырыл клада. Не помог
Ему глухой распятый бог.

А там пришёл и день такой,
Когда, угрюмый и худой,
На лавке вытянулся прадед.
Вперёд ногами по ограде,
По светлой улице, в гробу
Ушёл он с венчиком на лбу.

Теперь на кладбище пустом
Цветёт рябиновым кустом
Седая вечность над могилой.
Подгнивший крест дождями смыло
И унесло в сырую падь
По свету белому гулять.

Беглянка

Над серым лежбищем тумана
В степи блестит, как серебро,
В шеломе старого кургана
Берёзы белое перо.

Так вот где ты. Нашлась беглянка!
Не убежишь, пойдём назад.
Там без тебя молчит тальянка,
Не расцветает хмурым сад.

Плывёт над степью сонный кречет,
Пылит цветочная пурга,
И кто-то сильный, ловкий мечет
Вязиль шипучую в стога.

Пойдём! — над степью прозвенело,
Откликнулось издалека.
Но вдруг у ног моих вскипела
Водоворотами река.

По голубой его рубашке,
По красным крестикам шитья
Узнал я в нём твои замашки,
Шальная молодость моя.

И уплыла по ней, широкой,
Улыбку хмурую тая,
В луга, шумевшие осокой,
Шальная молодость моя.

Зимнее утро

Дым повис пуховой шалью
Над зимовьями в распадке.
По сугробам у дороги
Наследили куропатки.

Звонко стучают решёта,
Тупо цокают подковы,
Над гудящим барабаном
Ходит облако половы.

В небе гаснет тонкий месяц.
За омётами в лощине
Снегири встречают утро
На серебряной осине.

Щедрый умолот лопатой
Ты кидаешь в жёлтый ворох.
И от инея платок твой
В синих звёздах и узорах.

Вдоль опушки стройный ельник
В куржаке и позолоте.
Спозаранку молотилкой
На гумне овёс молотят.

Всё светлей и ярче утро...
Бьётся сердце с буйной силой,
Оттого, что ты улыбку
Мне, как счастье, подарила.

Лебеди

Ясным утром над степью ковыльной
Лебединая стая летит,
Словно кто-то и щедрый, и сильный
Связку жемчуга кинул в зенит.

Извивается связка и рвётся
И, творя колдовство наяву,
То в серебряный слиток совьётся,
То цепочкой уйдёт в синеву.

Проструится живым перламутром
И растает у дальней горы
Там, где ставит румяное утро
Облаков голубые шатры.

И пойду безотчётно-счастливым
В степь былинную, словно в хмелю,
Чтоб поведать озёрам и нивам,
Как я милую землю люблю.

* * *

В вагонах русская гармошка,
Родной сибирский говорок.
Плывёт в тумане за окошком
Звезды зелёный огонёк.

Его заносит облаками,
Скрывает лесом каждый час.

А он всё гонится за нами,
Всё не насмотрится на нас.

Наш путь далёк — на поле боя...
Не будет звёзд родных полей,
Но будет с нами там святое
Благословенье матерей.

Клятва

Цветёт у дороги ромашка.
Лежит мальчуган под сосной.
Его голубая рубашка
Обрызгана алой росой.

Раскинуты смуглые руки,
Глядят и не видят глаза,
В них горьким свидетельством муки
Последняя стынет слеза.

К сосне завернув мимоходом,
Целует парнишку в висок

Идущий на запад походом
Бывалый сибирский стрелок.

Целует и молча стирает
С лица запылённого пот,
А сердце в груди закипает,
От гнева вздохнуть не даёт.

Уходит по дымной равнине,
Забывши усталость, солдат.
И только в разбитом Берлине
Остынет его автомат.

Жена солдата

Цветёт герань на подоконниках, Струится в окна жёлтый свет. В углу, на столике, гармоника И мужа-воина портрет.	И ей в ответ, как будто жалуясь, Гармонь тихонечко вздохнёт. Не раз, не два слезами вымоет Певунью звонкую она, Но не устанет ждать любимого, Трудясь и мучаясь, жена.
Приходит с поля чернобровая Домой солдатская жена, И жжёт ей грудь тоска суровая, Глухая давит тишина.	К такой вернётся муж с отрадою И примет с трепетом в крови За всё, что выстрадал, наградою Весь жар святой её любви.
Присядет к столику, усталая, Щекой к гармонии припадёт —	

Возвращение фронтовика

Чугунным мостом над кипучей рекой
Шагает с вокзала сержант молодой.

Омытые ливнями буйной весны
Иркутские дали чудесно видны.

В лазурных туманах лежат острова,
Кипит по садам молодая листва.

И вплоть до байкальских серебряных гор
Широко распахнут веселый простор.

Вдыхая всей грудью садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Вся грудь у него в орденах боевых —
В нашивках и алых, и золотых.

Приятно по улице парню шагать,
Людей поглядеть и себя показать.

Дивясь его стати, его орденам,
Бегут ребятишки за ним по пятам.

И слышит он их разговор за спиной:
«Вот это, должно быть, герой так герой».

Волнуясь, вдыхая садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Воинская честь

*Памяти сапёра-сибиряка
П. Лазарева*

В том краю, где ясные озёра
От снарядов плещут и кипят,
Окружил курчавого сапёра
Вражеских разведчиков отряд.

Не успел он выхватить гранаты,
Распрямить мозолистой руки,
Как в упор взглянули автоматы
И упёрлись в грудь ему штыки.

Не просил он у врагов пощады
И, когда сумели одолеть,
Почернел от злости и досады
Что не смог как надо, умереть.

Закрывалось небо облаками
И со дна озёр вставала муть.
Шёл он в плен крутыми берегами
И не смел на белый свет взглянуть.

В тальнике туманной котловины
Перешеек узкий меж озёр.

И на нём зарыты густо мины,
Сам их здесь закладывал сапёр.

По воронке давней от гранаты
Он узнал опасный поворот.
Не уйдут фашисты от расплаты,
Если он с тропинки не свернёт.

Не свернул и не убавил шага.
Шёл на гибель верную, на месть,
Как велела русская отвага,
Как велела воинская честь.

Пять шагов — и вздрогнули озёра,
Пять шагов — и, грозно озарив
Пламенем и славою сапёра,
На века раздался этот взрыв.

Навсегда запомним мы с любовью
Тех людей, что родине верны,
Имена свои вписали кровью
В огненную летопись войны.

У могилы сибиряков

О них ещё думают, как о живых,
Печальные матери в дальней Сибири,
Но спят они крепко средь сосен густых
В суглинке тяжёлом у Свири.

Трещит и дробится у Свири шуга,
За тучами прячется месяц унылый,
И воет всю ночь до рассвета пурга
Над тесной солдатской могилой.

Чуть мрак посветлеет — на жёлтой доске
Видны фотокарточки в чёрной каёмке.
Искрятся и гаснут в зелёном венке
Летучие звёзды позёмки.

Всевластное время венков оборвёт,
Размоет могилу водою холодной,
Но слава о них до Сибири дойдёт
И гордостью станет народной.

Забайкальцы

Помню забайкальские морозы,
Ледяные ветреные дни,
Белые от стужи паровозы,
Красные на станциях огни.

Буфера звенели, дребезжали,
Сквозь пургу сигналили рожки,
На далёкий запад уезжали
Наши забайкальские стрелки.

Помню за минуту до посадки
В изморози плотные ряды
Горняков Балея и Булатки,
Казаков Аргуни и Унды.

На песке от снега бело-буром
Стыли и сутулились слегка
Смуглые потомки Гантимура,
Русые потомки Ермака.

И когда напутственное слово
Говрил им старый генерал,
С неба Марс — звезда войны — сурово
Их лучом своим благословлял...

На Днестре погода штормовая,
За Днестром равнины широки.
Где они сегодня, мы не знаем,
Наши забайкальские стрелки.

Но теперь отныне и навеки
Эти люди кровью и трудом
С гор даурсих льющиеся реки
Породнили с батюшкой Днестром.

Пусть же и в Корсуни, и в Полтаве
Ходят, распевают кобзари,
Как по Украине к вечной славе
От Байкала шли богатыри!

Иркутская хрестоматия



115 лет со дня рождения

ПАВЕЛ НИЛИН



Впервые замужем

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА

Не понимаю мужчин-алкоголиков. Что это значит «не могу отстать от водки?». Вот, скажем, я. Уж как я безумно любила, например, кино, даже выразить невозможно. Бывало, хлебом меня не корми, только показывай мне кинокартины. Некоторые я по два, по три, по четыре раза смотрела. Но как родилась Тамара, тут сразу все оборвалось. А почему? А потому, что, когда воспитываешь ребенка, тем более — без мужа, надо думать в первую очередь о ребенке. И о том, что ему требуется и печенье, и молочко, и конфетки, и туфельки. И, стало быть, нечего

НИЛИН Павел Филиппович (настоящая фамилия Данилин). Русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист. Родился 4 (17 января) 1908 года в Иркутске. Служил в уголовном розыске в г. Тулоне. С 1924 сотрудничал с иркутской газетой «Власть труда». С 1927 г. работал журналистом. В 1929 году Нилин приезжает в Москву. Сотрудничает в газетах «Гудок», затем — в «Известиях», а с 1933 года — в журнале «Наши достижения». В 1936 году в журнале «Новый мир» опубликован его роман «Человек идет в гору», который был переработан в сценарий фильма «Большая жизнь». Там же в 1937 году напечатаны первые рассказы. Всеобщее признание пришло к Нилину главным образом благодаря повести «Жестокость» (1956). Автор книг: «Человек идет в гору» (1936); «Золотые руки» (1939); «О любви» (1940); «Испытательный срок» (1955); «Жестокость» (1956) и др. По девяти произведениям Нилина сняты художественные фильмы: «Испытательный срок», «Жестокость», «Впервые замужем», «Единственная»... и др. П. Нилин — Лауреат Сталинской премии второй степени (1941). Член правления Союза писателей СССР с 1971 года. Скончался 2 октября 1981 в Москве.

тратить деньги на пустяки. Лучше их придержать на всякий случай. Ребенок — это уж, как я понимаю, превыше всего.

Хотя многие, конечно, считали, что Тамара — ошибка моей молодости. Я родила ее, когда мне не сравнялось и восемнадцати. И о замужестве, понятно, никакого разговора уже не было. И не могло быть, потому что Виктор, как говорится, пожелал остаться неизвестным. И уехал сейчас же на стройку — на Ангару, что ли, не сообщив даже адреса.

А я осталась одна с Тамарой в общежитии. То есть не совсем одна; но почти что одна с двумя подругами, тоже такими же, как я тогда, бетонщицами — Галей Тустаковой и Тиной Шалашаевой, а также с Зоей Егоровой, но ее я не хочу припутывать.

Было это больше двадцати лет назад, но я до сих пор помню все до мельчайших подробностей, как эти мои подруги привезли меня из родильного дома в общежитие. И даже купили по этому случаю цветы и бутылку красного вина, чтобы самим же ее тут выпить за здоровье моей дочки. И, понятно, за мое здоровье.

Все было в какой-то, я помню, суете. И больше всех суетилась, как всегда, Галя Тустакова.

— У нас, — говорила, — внизу, в красном уголке, идет сейчас очень важное собрание насчет морального облика. Ты, ясно-понятно, не пойдешь. А мне велел Осетров выступить. Позволь, я надену на минутку твои чулки, поскольку, понимаешь, у меня чулок поехал, спустила петля. И кофточку твою с кружевным воротничком, разреши, надену...

— Пожалуйста, — сказала я. И тут увидела вошедшего к нам коменданта Личагина.

— Ну, поздравляю тебя, Антонида, — сказал Личагин. И без приглашения налил себе стакан вина из этой бутылки. Выпил, вытер губы о скатерть с бахромой, вздохнул. — Но ты, — сказал, — пойми-усвой и мое положение, Антонида. Ребенок, тем более девочка, это, конечно, очень хорошо. Но находится здесь, в общежитии, по правилам внутреннего распорядка, ей ведь все-таки совсем не положено. Она получается для нашего дела как постороннее лицо. После двадцати трех часов, ты сама понимаешь, у нас тут все должно быть намертво-мертво. А ребенок в общежитии в любой момент может и зареветь, и что угодно сделать. Значит, отсюда какой будет вывод? Отсюда такой будет вывод, что я должен буду тебя выселить. И как можно скорее, потому что с меня тоже строго спрашивают — санитарная комиссия и другие...

После этих слов я сидела с моей девочкой очень растерянная, хотя я, конечно, и раньше понимала, что из общежития мне придется уйти. Но не сию же минуту.

Я была уже готова заплакать, когда с собрания первой вернулась Тина Шалашаева и сообщила еще одну новость. Оказывается, в прениях по докладу о моральном облике выступила раньше всех наша лучшая подруга Галя Тустакова в моих чулках и кофточке и в виде примера морального разложения привела не кого-нибудь, а меня, которая, мол, представьте, родила без мужа и даже из роддома, мол, некому было ее, то есть меня, забрать.

— А что особенного-то? — даже обиделась на меня Галя Тустакова, когда я ей сказала, кто она такая. — Осетров еще месяца два назад попросил меня подготовиться к прениям по моральному облику и привести примеры. У меня, — говорила Галя, — вообще-то сперва была наметка коснуться в первую очередь только Катьки Марьясиной, поскольку у нее ребенок тоже ни от кого. Но опять же,

поскольку она на днях вышла все-таки замуж, я ее касаться не стала и вычеркнула из своей речи. У меня же, — говорит, — вся речь заранее была отпечатана на машинке в стройконторе. Правда, Осетров мне много из речи сократил. А то, сказал, похоже будет не на речь, а на доклад. Но все примеры Осетров оставил. И насчет Золотовой Нельки и насчет Зинки Пурышевой. И, конечно, насчет тебя. И ты не сердись. Это же все для пользы дела. Для нашей, для твоей же пользы.

— То есть как же это понять, — вмешалась тут в наш разговор Тина Шалашева. — Ты, Галина, всенародно вон как ее осрамила, Тоню, и, выходит, все для ее же пользы?

— А что особенного? — закричала Галя. — Вот именно я должна была выступить...

— Чудно и непонятно, — вздохнула Тина.

— Это тебе непонятно, ты, наверно, от рождения тупая. — Галя кивнула на меня. — А вот Антонина все поймет, когда я ей отдельную комнатку выбью.

— Как же ты ее выбьешь?

— А вот так, — опять кивнула Галя на меня. — Кто она есть? Кем она сейчас является? Она сейчас является как мать-одиночка.

— А ты? — спросила сердито Тина. — Ты кем сейчас являешься после твоего выступления?

— При чем тут я? — удивилась Галя.

— А при том, — прямо закипела Тина. — Я сказала бы, кем ты являешься и кто ты есть такая, Галина, но я не скажу...

— Да скажи, не мучайся. Что особенного? — зло засмеялась Галя.

— Ты свинья, — сказала Тина. — Не обижайся, но ты свинья после твоего выступления.

— И это точно, — подтвердила Зоя Егорова.

— Ах, так. Ну посмотрим, посмотрим, от кого ей, — еще раз Галя кивнула на меня, — от кого ей будет больше пользы — от такой свиньи, как я, или от таких вот, как вы, куропаток. Вы только вздыхаете вокруг Антонины. А я, может быть, уже хлопочу, где надо. Хлопочу и ходатайствую за нее и за ее дочку. А что касается моего выступления, то тут особый разговор, потому что моральный вопрос сейчас стоит острее всего. Даже в газетах об этом, не секрет, пишут. И я должна была выступить, поскольку мне было поручено лично Осетровым. А что особенного-то? Это же тоже не секрет, что ты, Тоня, крутилась с этим Витькой Кокушевым. Да если б у меня были твои женские данные, я бы этого Кокушева Витьку на один метр к себе не подпустила. На что он нужен, какой-то недоученный слесаришка — и, кроме того — питух? Ну что с того, что он в зеленой шляпе ходит и в брюках трубочкой? Как какой-нибудь артист или этот — певчий из ансамбля. А теперь — ясно-понятно — из-за этого его поступка ты должна будешь не только выехать из общежития, но, может, даже и лишиться образования. Ты же, — говорила Галя, — не сумеешь в одно и то же время и ребенка воспитывать, и учиться хотя бы и заочно. Ну что, не правда?

Получилось так, что Галя говорила правду. Учебу мне пришлось бросить. (А я училась хорошо и с большим интересом.) И из общежития пришлось выехать. В деревню к маме я уже не могла возвратиться, вернее, не хотела возвращаться. Не хотела, чтобы по деревне пошли ненужные разговоры на тему — как, где и от кого?

Правда, по прошествии некоторого времени я обзавелась собственной комнатой. Но это только легко сказать — «по прошествии».

Тамаре уже было семь лет, когда я отсудила эту комнату после смерти одной старушки, у которой я снимала угол, а прописана была по-прежнему в общежитии.

Личагин, комендант, тогда меня выселил, но не выписал. И в этом мне помогла, тоже не надо забывать, Галя Тустакова. Она тогда хорошо припугнула Личагина.

— Я, — сказала она ему, — в случае чего свободно выйду на самого Осетрова, и он не только оставит Антонине прописку в общежитии, но и тебя, Личагин, может без разговоров освободить от твоего занимаемого поста. Что это, разве Советская власть уже кончилась — женщину-одиночку с ребенком вот так вытряхивать?!

Личагин тогда не выписал меня. Наверное, струхнул. К тому же я вручила ему в свое время десятку.

Как бы там ни было и что бы сейчас ни говорить, все-таки я вырастила Тамару. Дала ей кое-какой ход и образование, хотя она, конечно, укоряет меня теперь, что я с первого же класса не отдала ее в английскую школу, как, мол, делали другие предусмотрительные родители. Я бы, говорит она теперь, с английским-то языком не хуже Светки Карпухиной объехала бы весь мир, могла бы, говорит, даже стать гидом-переводчиком при интуристе. Но я считала, что она и так устроена не очень плохо в этом ансамбле песни и пляски, куда она стремилась почти что с детских лет, еще даже не закончив школу, и куда ее в конце концов устроила опять же Галя Тустакова.

— Ух эта змея. Она кого угодно незаметно обовьет и проглотит, — сказала когда-то про Галю Тина Шалашаева.

Но как-то так получалось на протяжении почти всей моей жизни, что не Тина, а почему-то Галя встречалась мне, когда я оказывалась в беде. Хотя и с Галей и с Тиной мои пути уже давно разошлись.

После рождения Тамары я все время моталась в поисках подходящей работы — такой, чтобы я могла и с дочкой побольше побыть, и получше заработать.

Тамара люто хворала от года до пяти. Это, может, оттого, что Виктор, ее отец, когда я с ним, как по-деревенски говорят, гуляла, очень серьезно выпивал. То есть был, короче говоря, питух-алкоголик, хотя и красавец необыкновенный. И Тамаре достался как бы оттенок его красоты. Но хворала она в детстве долго и по-страшному.

Одно время вдруг начала дергаться всем телом. И врачи не могли понять отчего. Сколько я денег из-за этого переносила хотя бы только одним гомеопатам, пока судороги у ребенка прекратились.

И все дни она, понятно, не отпускала меня, плакала, кричала:

— Не уходи! А то я умру...

Чаще я бралась за ночные работы, мыла, например, вагоны и полы на вокзале и в кинотеатре. А за девочкой ночью приглядывала старушка.

Днем, полусонная, я сама занималась с Тамарой, потому что она не захотела ходить в детский садик. Побыла там один раз и больше не захотела.

Учила ее музыке и пению еще до того, как она пошла в школу. Водила ее к частному учителю — уже пенсионеру. Откуда Тамара и забрала себе в голову стать певицей. Правда, я сама хотела этого. У меня у самой лично была когда-то такая мечта.

Да мало ли о чем я мечтала. Женщина же я была еще совсем молодая.

Были у меня, конечно, кое-какие встречи и после Виктора. Был даже некто Ашот, техник по телевизорам, предлагавший законно расписаться. Но Тамаре он

не понравился. Она считала, что у него слишком большие, мохнатые уши, как, говорила она, у волка, что, помнишь, встретился с Красной Шапочкой.

У Ашота уши действительно были отчего-то мохнатые — в черном вьющемся волосе. Но человек он был добрый, веселый. И еще — Тамаре не понравилось, что он очень громко хохочет.

А главное, Ашот имел неосторожность однажды поцеловать меня при Тамаре. И после этого каждый раз, обидевшись на что-нибудь, она кричала мне:

— Иди, целуйся со своим Ашотом.

Тамаре тогда еще не было, кажется, и пяти лет. Рассердившись однажды на нее за ее капризы, за то, что она уже вмешивается в мою, как говорится, личную жизнь, я сказала:

— Вот когда ты станешь женщиной, ты многое поймешь. И пожалеешь...

— А я не стану женщиной, — закричала Тамара. И вот так прихлопнула ногой, как у нее уже входило в привычку. — Я не хочу, — заплакала, — быть женщиной.

Не понравился ей и другой мой знакомый. Некто Алеша Куликов, Алексей Иванович. Веселый, красивый мужчина, хотя уже не очень молодой и прихрамывающий слегка. Слесарь-монтажник с хорошим заработком. Он часто к русским словам прибавлял как бы в шутку немецкие, вроде «ахтунг», «данке шен», «майн гот», «даст ист нихтс». Я его как-то спросила: где он так хорошо выучился по-немецки? А он даже удивился моему вопросу, говорит:

— Там же выучился, где все другие солдатики. На войне. Четыре, — говорит, — года усердно учился. И закончил с хорошими отметками — по всему телу. Отчего, — говорит, — и прихрамывать мне положено до самых похорон...

Вот этот Алексей Иванович Куликов предлагал мне прямо переехать к нему с дочкой. Он как раз квартиру получил, правда, однокомнатную, но с большой кухней.

А Тамара опять намертво заупрямилась.

— Не могла, — говорит, — найти себе целого жениха. Выбрала какого-то колченогого.

Тамаре в это время шел уже четырнадцатый год. Она уже многое понимала. И я побоялась, что у нас может выйти с ней серьезный конфликт.

Все-таки дочка была мне ближе всего. И поэтому постепенно я отошла и от Алексея Ивановича. Это несмотря на то, что он мне очень нравился. И я ему тоже, надо думать, была не противна. Он мне еще долго писал письма.

А Тамара была мне не только ближе всего, но в ней, как я надеялась, как мы все надеемся, когда думаем о своих детях, — исполнятся, должны исполниться наши желания, наши мечты и надежды. То есть, может быть, они, наши дети, достигнут того, чего мы не смогли, не сумели достигнуть.

Тамара, окончив школу, мечтала поступить в ансамбль. И я с ней мечтала. Но в ансамбль ее сперва не приняли. Забраковали.

Тут и подвернулась мне опять уже моя бывшая, что ли, подруга Галя Тустакова, которую я теперь все реже встречала. Но при встрече она всегда в подробностях рассказывала, как живет, как, вернее, преуспевает. Ей, наверно, это приятно было именно мне рассказывать в том смысле, что вот, мол, какая я на твоих глазах была и какая стала.

И каждый раз после этих встреч с Тустаковой Галей у меня чуть щемило сердце и думалось: может, если б я в свое время не бросила учебу, сейчас я тоже стала бы кем-нибудь, как Галя. Хотя, откровенно говоря, едва ли бы я дотянулась до

Гали. Она слишком шустрая в сравнении, например, со мной. И освоила в полной мере, как говорится, втирушизм, то есть умеет втираться в любую компанию и опять же, как говорится, на любом уровне, как сказала про нее Тина Шалашаева, еще когда мы все учились в вечернем техникуме. И многие ребята называли ее прямо в глаза втирушей и доставалой. Но Галя ни тогда, ни потом ни на кого не обращала внимания, говорила на ребят:

— Сопляки. Подумаешь, они дают мне характеристику...

Осетров этот, помогавший ей и выдвигавший ее повсюду, то ли умер, то ли вышел на пенсию, кто его знает. Галя больше не вспоминала о нем. Она уже сама заняла какой-то серьезный пост, когда я при новой встрече пожаловалась между прочим, что моя Тамара никак не может продвинуться в ансамбль. Какой-то Постников при отборе все время к ней придирается, упражнения ей задает необыкновенные и говорит, что у нее нету этого самого... темперамента...

— Позвони мне послезавтра, — сказала Галя, — я узнаю, в чем там дело и кто от кого зависит. Темперамент тут совсем ни при чем. Скорее всего, я этот вопрос легко проверну. А что особенного-то?

Через день же она мне сказала:

— Пусть Тамара пойдет сегодня к четырнадцати ноль-ноль к такому Алтухову Вадиму Егоровичу и скажет, что от Галины Борисовны. Он все уже знает. Я ему все ясно-понятно объяснила. И он все устроит, как надо...

— А кто это Галина Борисовна? — спросила я.

— Ты что? — удивилась она. — Душевнобольная? Я и есть Галина Борисовна. Вы все привыкли по-старому: Галка да Галка. А я давно уже Галина Борисовна. А что особенного-то? И запомни, если чего тебе надо или в чем затруднение, всегда звони мне — домой и на службу. Я старую нерушимую дружбу нашу не забываю. Я была и осталась, ясно-понятно, демократкой. За это меня и любит окружающий народ...

Ну как тут считать, — змея или, тем более, свинья Галя Тустакова, как выразилась однажды Тина Шалашаева, или напротив?

Тустакова же Галя помогла мне и при обмене одной комнаты на две, то есть на отдельную квартиру. И все вот так, будто между прочим. И обещала:

— Я приеду к тебе на новоселье. Или, скорее всего, — смеялась она, — на свадьбу Тамары. Надеюсь, Тамара не промахнется, как ее мама.

Тамара, однако, вышла замуж скорее, чем можно было ожидать, и почти что внезапно для меня. С нынешним своим мужем, тоже Виктором, как ее пожелавший остаться неизвестным отец, она познакомилась в этом ансамбле «Голубые петухи», где он еще не работал, но куда со временем предполагал, наверно, устроиться.

Он то ли артистом себя считает, то ли режиссером, то ли еще кем, этот Виктор. Ну, одним словом, он приезжий, откуда-то с Урала. И пока на работе еще не укрепился, но уже зарегистрировался с Тамарой. И, понятно, прописался в нашей маленькой двухкомнатной квартирке, которую я, лишняя раз повторить, с таким трудом, хотя и с помощью Гали Тустаковой, обменяла на ту однокомнатную.

Все-таки сколько новых домов ни строить, жилищный вопрос пока что остается. И, можно сказать, из-за него у нас закипел конфликт. Или не только из-за него.

Но тут я должна сперва объяснить, какой характер в отношении меня развился у Тамары.

Лет до семи, даже лет до тринадцати ей, похоже, нравилось, что я не где-то

мою вагоны и вокзал, а работаю теперь, как это официально называется, лаборанткой. Она как будто даже гордилась мной, говоря подругам:

— Моя мама работает в научном институте лаборанткой.

Потом она раза два зашла ко мне на работу, увидела, что я просто мою колбы, склянки, пузырьки, и, может быть, стала стесняться, что ли, что я не научный работник.

Однажды сказала (но это ей было уже лет шестнадцать):

— Ты могла бы посвятить свою жизнь еще чему-нибудь.

Мне это было не очень понятно, что это такое и для чего это посвятить? Я переспросила ее. А она вот так махнула рукой:

— А, — говорит, — что с тобой разговаривать? Ты все равно ничего не поймешь.

Я говорю:

— Как же это я не пойму? Ты понимаешь, а я не пойму. Все-таки я не какая-нибудь тихая дурочка.

— Ну, как сказать, — засмеялась она. — Если б ты была не дурочка, у меня сейчас был бы хоть какой-нибудь реальный отец.

Вот так и сказала — «реальный». И вы знаете, я не нашлась, что ей ответить.

И с того разговора — это было лет восемь назад — она как бы забрала всю власть надо мной.

Я все еще кормила, одевала ее, старалась даже что-нибудь модное ей сделать, ходила по домам убираться, чтобы Тамара ни в чем не чувствовала нужды.

Я старалась, кажется, изо всех сил, но главной в доме, то есть в нашей двухкомнатной квартире, почему-то оказывалась уже не я, а Тамара.

И я порой сама чувствовала себя как бы виноватой перед ней, что я, например, не только без мужа живу, но к тому же и не младший научный сотрудник в нашем институте, а всего-навсего лаборантка — мою колбы, склянки и, когда приходится, полы.

Конечно, и этого Виктора Тамара привела к нам на постоянное жительство не спросясь.

Как сейчас помню, она, веселенькая, вбежала в нашу квартирку в конце дня, часов в пять, и спрашивает:

— Мама, ты одна?

— Нет, — говорю, — у меня Тина Шалашаева.

И вижу: вслед за Тамарой входит высокий молодой человек в дымчатых очках.

— Ну, все равно, — говорит Тамара и, увидев в кухне Тину, кричит ей: — Привет, Христина Прохоровна! Мама, поздравь нас. Это Виктор Перевощиков. Я тебе, кажется, рассказывала о нем...

— Нет, не помню, — говорю я в большой растерянности. И мне даже нехорошо делается — наверно, от сердца, что ли. — Не могу вспомнить...

— Ну, все равно, все равно, — говорит Тамара. — Познакомьтесь. Это... это, как бы сказать, ну, словом, короче — это мой муж...

— Муж? — уже совсем было растерялась я. — Как же это? Неожиданно...

— Ну все равно. Познакомьтесь, — как бы подталкивает она мужа ко мне. А он улыбается.

— Садитесь, пожалуйста. Очень приятно, — говорю я. А что я еще могла сказать?

А Тина Шалашаева как вышла из кухни, так и застыла у двери, ровно статуя.

— Я сейчас стол накрою. Мы должны это как-то отметить, — говорю я и улыбаюсь, конечно, хотя мне отчего-то хочется заплакать. Но Тамара говорит:

— Потом, потом. Мы сейчас спешим. — И достает из сумочки бумагу: — Ты вот тут распишись, мамуля, что просишь прописать на твоей площади твоего зятя, мужа твоей дочери. Это такая формальность. И мы, может, еще успеем в домоуправление, — смотрит она на свои ручные часики, которые я подарила ей недавно ко дню рождения. — Там, кажется, до семи, в домоуправлении? Хорошо, если б они завтра утром его прописали...

— А пропишут? — только и спросила я.

— А как же это смеют не прописать, — почему-то засмеялась она, — если это мой законный муж и я с ним уже оформлена. Почти, — чуть поправилась она. — Не может же он постоянно ночевать на вокзале...

В то время Тамара уже неплохо укрепилась в этом ансамбле «Голубые петухи». (Их теперь, этих ансамблей, видимо-невидимо развелось повсюду. Поют и пляшут, как перед большой бедой.)

А Виктор, как я потом поняла, только числился где-то, но нигде не работал. Или, лучше сказать, работал на дому, но что делал — понять было невозможно, потому что дверь в одну комнату, самую большую, он запирает наглухо и даже заказал для нее отдельный взрезной замок.

Это было тоже совсем неожиданно для меня.

У Тамары собрались подружки для репетиции. Они пляшут, поют. А я на кухне готовлю им какую-то еду, — картошки жарю или макароны варю, — не помню уж что. Вдруг звонок в дверь. Входит старичок — слесарь из домоуправления.

— Здравствуй-ка, Антонида, — говорит. — Куда замок-от, слышь-ка, врезать? Некогда мне...

— Какой, — спрашиваю удивленно, — замок?

— Какой, какой, — передразнивает. — Какой твой-от зять велел. Нутрянной вот этот. Я за него шесть рублей отдал. И за работу дашь, сколько, слышь-ка, совесть тебе позволяет...

— Тамара, — позвала я.

Тамара вышла из другой комнаты, веселая после репетиции, поздоровалась со старичком и показала на дверь:

— Вот сюда, пожалуйста. Мама, — говорит, — мы так решили с Виктором, чтобы врезать тут замок. Виктору так удобнее. У тебя же иногда часами толкутся твои подружки. А Виктору часто надо сосредоточиться. Ты что, — спрашивает меня Тамара, — чем-то недовольна?

— Нет, — отвечаю я, конечно, с улыбкой, — я всем довольна. Но только непонятно мне, чем он занимается, твой Виктор? Зачем ему такая секретность с замком? Что он такое делает?

— Во всяком случае, не фальшивые деньги, — засмеялась Тамара.

Хотя смешного ничего не было, потому что тут же она сказала, чуть прижавшись ко мне:

— Денег, мамочка, у нас нет. Я знаю, у тебя на книжке есть деньжонки. Дай нам займы хотя бы сто рублей. Я скоро рожу. Надо бы кое-что в связи с этим прикупить.

Вот так я стала бабушкой — в сорок лет. Даже полгода до сорока еще не доби-рала. И радости моей не было границ. Я полюбила внука, может быть, даже больше, чем когда-то Тамару. Я бежала теперь домой с работы просто сломя голову, чтобы поскорее увидеть внука, взять его на руки.

Я хотела, чтобы его назвали Николаем, хотя бы потому, что я сама Антонина

Николаевна. Но Виктор придумал ему имя — Максим. Ну Максим так Максим. Какая разница? Мальчик получился красивый — крупный, с веселыми, даже чуть озорными голубыми глазами, как у того Виктора, который сбежал, и которого бы полагалось мне забыть навсегда, но он, верите ли, снился мне много лет чуть ли не каждую ночь. Ну не сам лично, отдельно, а как бы смешавшись впоследствии с Ашотом и с Алексеем Ивановичем, которые вошли в мое сердце позднее.

Я сняла с книжки не одну сотню, как просила Тамара, а почти все, что было у меня, потому что вижу, у этого Виктора, отца Максима, только и хватило сил — придумать имя ребенку, а коляску и весь остальной приклад надо как-то добывать.

— Все-таки что же он предполагает делать? — насмелилась я спросить однажды Тамару о ее супруге. — Ведь надо бы чего-то делать...

— А он делает, — сказала она. — Но это не вашего ума дело. Он, понимаете, творческий работник. И вам же будет стыдно, когда он что-нибудь такое создаст.

Не могу понять, почему же мне-то должно быть стыдно? Да пусть он, думала я, создает что хочет на доброе свое здоровье.

Всячески я старалась ему угодить. Все-таки это же не кто-нибудь, а муж моей дочери и отец моего внука. А что он там делает за закрытой дверью — и действительно не мое дело. И не мое дело, что он нигде на службе не состоит и поэтому не имеет нормального заработка. Это уж, кажется, их с Тамарой дело. Но опять же, не могла я не переживать, что Тамару, хотя и похвалили один раз в «Вечерней Москве», а зарплаты-то ее одной на все семейство все равно не хватало.

Тем более у них, то есть у Тамары с мужем, постоянно гости. И все народ отборный: этот художник, тот музыкант, этот, опять же, чуть ли не поэт.

Замечала я, однако, по некоторым данным, что все они — и молодые, и, как Виктор, уже не очень молодые, — тоже не шибко укрепились в жизни. И хотя многие из них нравились мне, но отчего-то некоторых мне постоянно было жалко.

Наварю я другой раз большую кастрюлю борща с салом, с фаршем, накрошу туда еще сосисок. Едят, хвалят и меня приветствуют.

Ругали они все больше своего брата — артистов, режиссеров, поэтов.

А когда выпьют, хвалили чаще всего зятя нашего — Виктора. Вот, мол, кто мог бы по-настоящему сыграть Улялаева, но бездарности, мол, преграждают путь. Кто уж этот Улялаев, — но я часто о нем слышала.

Гости Виктора, бывало, хорошо едят, аж душа радуется, глядя на них. И Виктору я по забывчивости наливаю борща, но Тамара сейчас же, даже с какой-то злостью кричит мне через стол, что, мол, пора вам, мама, давно запомнить, что Виктор первое не ест.

А это значит, ему надо положить два вторых, чтобы он наелся. Все-таки он мужчина. Ему требуется питание. И надо учесть, что картошку он не ест. И макароны, и хлеб, и кашу тоже. У него диета. Словом, как у народного артиста. И он, наверно, чувствует себя как народный артист. Но нам-то, окружающим его — Тамаре и мне, — это почти что не под силу.

Правда, грех мне еще жаловаться на недостаток сил. Все-таки я женщина, без хвастовства могу сказать, — хорошего здоровья.

В субботу и в воскресенье, вместо того чтобы с соседками переколачивать ерунду или смотреть, опять же, у соседей с утра до ночи телевизор, я, почти что играючи, вымою в двух жэках подъезды и еще за эти два дня зайду в два-три дома убраться в квартирах.

Десятка одна, другая, третья никогда не бывают лишней в любой семье. А в

нашей они сгорают как на костре. Хотя соседки, глядя на меня, вроде завидуют. И до чего, мол, ты жадная на деньги, Антонида, — даже в выходные дни берешься за дела, не жалея сил и здоровья. Но ведь не будешь всем все объяснять, какие обстоятельства меня вынуждают и почему я каждый час взвешиваю.

Тамару я к таким делам не приучала. Я считала, что она должна приобщиться к деликатным умственным занятиям. И внушала ей с детских лет только одно: твое, мол, дело учиться, а дальше — понятно, все придет к тебе само собой.

В детстве, лет четырех, она пристрастилась было шить куклам платья. «Дай мне, мама, нитку, иголку и ножницы». А я боялась, что она нечаянно уколет себя или иголку проглотит. Но она все-таки что-то такое шила.

А сейчас чуть ли не пуговицу пришить — идет в ателье. И несет туда эту самую пятерку или десятку, которых в доме постоянно не хватает, и которую негде взять, если не работать еще где-нибудь. Но многие теперь считают как бы зазорным для себя браться за черновую работу, находясь, тем более, на службе. Не понимаю, то ли очень гордыми мы все отчего-то стали, то ли еще что-то с нами происходит....

* * *

Утром, собираясь на работу, я часто смотрела, как Виктор ест яичницу (это главная его еда) и читает какой-нибудь журнал или книгу. Ему обязательно надо что-нибудь такое читать, когда он ест, чтобы занять или отвлечь свои мысли, как считает Тамара. И она подражает ему: тоже берет книжку, когда ест, но это чтобы не разговаривать со мной.

И вот утром, после того вечера в ресторане на поплавке, будто черт меня дернул пошутить:

— Человек, — говорю, — и зверь, и птичка — все берутся за дела. С ношей тащится букашка. За медком летит пчела... А почему? Потому, — говорю, что всем есть-пить надо. И каждый тащит хоть какую-нибудь ношу. Хоть человек, хоть букашка...

Как Виктор бросит газеты, как отодвинет сковородку с яичницей, как закричит:

— Мне надоели эти ваши вечные дурацкие намеки. Мойте ваши колбы и горшки, но не лезьте в мою душу. Я хочу иметь хоть какой-нибудь, хоть самый маленький покой в своем доме.

Ну, я не стала вспоминать, чей это дом. Просто пошла на работу.

А на следующее утро Тамара мне говорит:

— Почему бы вам, мама, не поехать пожить хоть некоторое время у тети Клавы. Ведь все это кончится нехорошо. Ведь Виктор теперь просто кипит против вас. Ведь он может уйти и бросить меня. Неужели вы хотите, чтобы мои дети остались без отца, как я осталась по вашей милости?

И при этих словах Тамара округляет глаза почти точно, как это получалось у Виктора, у ее неизвестного отца, когда он чему-нибудь удивлялся или возмущался чем-нибудь. Последний раз, мне помнится, он сделал такие глаза, когда узнал, что я беременна.

— А я при чем? — спросил он тогда и даже чуть выкатил свои красивые голубые глаза.

— Ну, как же при чем, Витусик? — сказала я. — Я же только с тобой, Витусик...

— Витусик, Витусик, — передразнил он. — Откуда я знаю, с кем ты еще, кроме меня, гуляла. У вас тут в женское общежитие много всякого народа приходит.

При этих словах я растерялась почти точно как после слов Тамары:

— Думай, мамуля, скорее, как тебе быть. Хочешь, я сама поговорю с тетей Клавой, если тебе неудобно? Может, она тебя приютит. Конечно, будешь к нам приходиться...

Тамаре я ничего не ответила. Не нашлась, что ответить. Хорошенькое дело — поехать к тете Клаве. Да с какой стати? У нее одна комната и молодой муж. И она мне ничем не обязана.

На следующий день я задержалась на работе, все время раздумывая, что мне делать, или, как сказала Тамара, как мне быть. Наконец я спросила заведующего хозяйством, не могу ли я остаться в институте переночевать, так как у нас в квартире начался, мол, большой ремонт. Неудобно же сказать, что дочь родная почти что гонит меня из моего дома.

— Пожалуйста, — сказал заведующий, — ночуй сколько хочешь. Только не в кабинетах, а где-нибудь в лаборатории или в подсобках.

Первая ночь в обезлюдевшем институте мне показалась страшной. Крысы, которых днем почти не слышно, как они живут в закрытых клетках, в ночи ужас — шумят, будто переговариваются или переругиваются перед дракой, а может, уже дерутся, потому что клетки скрипят.

Человек, однако, ко всему привыкает. На вторую ночь я уже не боялась и не беспокоилась. Только думала, неужели Тамару не встревожило, что ее мать не вернулась с работы?

Может, она решила, что я все-таки поехала к тете Клаве, то есть к старшей моей сестре?

А как там внуки? Все-таки со мной, наверно, им было не то что лучше, но веселее.

Часто я сама отводила их в садик и сама забирала перед вечером. И после ужина перед сном читала им сказки. Или делала вид, что читаю, а рассказывала от себя, что слышала в своем деревенском детстве.

Неужели без меня Тамаре и Виктору будет спокойнее, чем при мне?

Прошло, однако, дней восемь, но никто из родных меня не хватился.

Неужели никому я не нужна?...

...Несколько дней, вернее, ночей я раздумывала, ютясь на раскладушке под лестницей в нашем институте, как мне дальше быть, куда деваться.

Дочь родная, должно быть, и не вспомнила обо мне...

ПОЭЗИЯ



ВИКТОР СОКОЛОВ



СОКОЛОВ Виктор Павлович (1936–2012) родился на ст. Могоча Читинской области. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. Член Союза писателей СССР (1982). В творчестве тяготел к крупной форме: поэма, роман в стихах, отдавал предпочтение социальным, историческим темам. После восьмого класса Виктор работал на драге, мыл золото. Стихи Виктор начал писать ещё в начальных классах. Он хорошо рисовал, играл на баяне, продолжал писать стихи и долго не мог решить, что для себя выбрать. После очередного просмотра художественной самодеятельности ему предложили без экзаменов поступить в музыкальное училище. И Виктор Павлович долгие годы жизни не был уверен, правильно ли поступил, отказавшись от учебы в нём. С Иркутском Виктор Павлович связал судьбу в 1956 году, когда уже за плечами были школа, газетные публикации, служба в армии. После долгих раздумий щедро одарённого талантами юношу захватила романтика тех лет — участвовал в строительстве Иркутской гидроэлектростанции, потом — Братской. А когда молодёжной стройкой был объявлен Иркутский алюминиевый завод, приехал в город Шелехов. Было это в 1963 г. Виктор Павлович работал корреспондентом многотиражной газеты ИркАЗа «За алюминий», потом перешёл в электролизный цех. Много профессий поменял он за свою жизнь. Первое стихотворение было напечатано в 1955 году в районной газете «Утро» Новосибирской области. В 1956 году стихи опубликованы в районной газете «Могочинский рабочий». На страницах этой газеты увидела свет и первая рецензия, написанная редактором. За свою творческую жизнь Виктор Павлович выпустил 11 поэтических сборников. В 1962 году выходит в свет его первый сборник стихов «Солнечные чашобы», изданный Иркутским книжным издательством. Спустя четыре года, в 1966 году, появляется вторая книжка стихов «Предрассветное». В 1970 году — новая веха в творчестве молодого поэта, который выносит на суд читателей плоды своих раздумий о жизни, о современниках в сборнике стихов «Верность». Далее выходят: «Вера, Надежда, Любовь» (1977); поэма «Горислава» (1982); «Верба бела» (1986); «Господи, это мы» (1995); «Мастерская Бога» (1996); «Русское лето» (2000); «Пока дышу...» (2010); «Бог Руси» (2021). Поэзия для Виктора Соколова — это открытие, религия, философия и даже судьба. Обладая поистине энциклопедическими знаниями, он создал поэтический мир, заселив его своими героями. А героев у него много: это люди рабочих профессий, металлурги и, конечно, прекрасная половина человечества — женщины. В 1982 году Виктор Павлович Соколов был принят в Союз писателей России (СССР). С 1983 года по 1985 год учился в Москве на высших литературных курсах. На стихи Виктора Павловича Соколова написаны песни.

«Всех называя вслух и поимённо...»

Солдат запаса

Соколову Павлу Фёдоровичу

Вчера шёл дождь. И ночью перед этим
Болели раны старого солдата,
Как в первый раз давным-давно когда-то,
Тем грозным летом утром, на рассвете.

И вновь, как в первый раз, горело тело,
А боль росла и кости вновь ломала.
А боль росла... И мозг рукой сжимала,
И всё напомнить о войне хотела.

Потом был сон, тяжёлый, беспокойный:
И виделись солдату глины комья,

Окопа щель и пыль земли седая,
Что взмыла, над воронкой оседая.

Сон отступал. В окошко ветер веял.
Вставал солдат. Курил и думал думу...
И вслушивался в тишину угрюмо,
Разворошённый памятью своею.

Ему бы навсегда забыть об этом.
Но он не может, он не забывает,
Что тишина обманчивой бывает,
Особенно в часы перед рассветом.

Шпалы памяти

Никуда мне не деться
от мира грубого
извне,
ухожу поспешно в детство
тропой, известной только мне.

Она со временем
заглохла —
не враз отыщется глазам.
И годы
вытравили охру
былых
разъездовских казарм.

И нет того... и нет другого,
что было в давние года —
такое... сердцу дорогое...
и что исчезло навсегда.

Одна
железная дорога
бежит всё так же на восток.
и светофоры
смотрят строго,
скрывая жалость и восторг.

Они
опять меня встречают,
как в незабвенные те дни.
Они
как в детстве привечают,
включая маяки-огни.

И плеч
не давит мне котомка,
и веет
свежестью с полей.
и я опять
бреду в потемках
по шпалам
памяти моей.

Жене Ирине

1

Три дня и три ночи	Три дня и три ночи
Не утихая,	Билась,
Ветер трепал	Кричала
Тайгу.	Взломанная река.
Зори	И не было
Осипшими петухами	Ни конца, ни начала
Плескались	Тоске
В желтом снегу.	По твоим рукам.

2

Когда душа, мир бранный покидая,
Взлетит скорбящей птицей в небеса,
Она окинет
Долгим взглядом дали,
Прощальные услышит голоса.

Она возьмет в дорогу, тяжелея,
Распадки, реки,
Неба оком —
Все, что любила, нежа и лелея,
Все, что встречала
На пути своем.

И под родных и вздохи, и рыдания,
Как память о мучительном конце,
С собою унесет печать страдания,
Что отразится на твоём лице.

Сталинградский триптих

* * *

Царицын... Сталинград...
Ты русского народа
И гордость. И судьба.
И нет иных имен.

Естественная статья.
Особая порода.
И память боевых
Простреленных знамен.

Здесь кровью каждый
Шаг
Полит.
Травы смяты
Не тяжестью шагов,
А поступью времен.

А все что на крови,
То бесконечно свято.
Царицын... Сталинград...
И нет иных имен.

Вождь

Вождь не спал,
Склонясь над пёстрой картой,
Замирал над Волгой и Невой.
Где-то там
В огне войны солдаты
Умирали с именем его.

Вождь не спал.
В стакане ложкой тенькал,
Подозрительность в глазах
Тая.
Может быть, кого-то завтра
К стенке....
Чья же очередь — моя? — твоя?

Кто из нас устал.
И стал
Перечить.

Выгиб брови... Головы кивок...
Вождь не спал.
Ему сутулил плечи
Груз тоски, сомнений и тревог.

За окном рассвет маячил
Синий,
Обнажая лет военный быт.
Вождь не спал.
Он думал о России,
Вновь решая: «Быть или
Не быть...»

Сталинград

Я Сталинградом мысленно иду
Сквозь выстрелы и грохот канонады.
И мысленный
В бессмертном Сталинграде
Я разговор с погибшими веду.

О, город воин,
Мужественный, мудрый.
Ты выстоял всем злым дням вопреки.
Под выжженным напалмом
Небом хмурым,
Над лентою расплавленной реки —

Муаровою лентою — медальной...
И ты стоишь.
И будущее зришь.
Какие ты теперь увидел дали
Над скатами твоих незримых крыш?

Париж иль Тель-Авив,
Нью-Йорк иль Лондон,
Что в смоге вечном видятся едва?
Кто будет на закланье им отдан,
Предатель Киев? Подлая Москва?

Иль вся страна, виновная терпеньем
Да благодушным отношеньем к ним.
К захватчикам,
Что нашего успенья
Здесь ждут?
Но, провидением храним,
Я отжалел себя.

Отплакал ныне.
К врагу пощады места нет
В груди.
Душой молясь твоей стальной
Твердыне,
Я знаю все, что будет впереди.

И разговор с погибшими веду,
Всех называя вслух и поименно.
И надо мною их шумят знамена,
Как в давнем приснопамятном
Году.

День возвращения

Цепь событий не рвётся — всё помню, как было когда-то:
Август брёл по распадкам, скрипел под литовкой¹ вострец².
Бабы сено косили... И вдруг увидали солдата —
И одна поспешила сказать, что вернулся отец...

И бежал я, оглохший, и ног под собою не чуял,
Тем путём, что и ныне стоит в повзрослевших глазах...
Это чудо, отец, это просто великое чудо —
Пол-Европы с боями пройти и вернуться назад!

Две тоски человечьих рванулись навстречу друг другу —
Одичавший малыш и солдат, что от смерти устал.
Словно после грозы, облегчённо вздохнула округа,
И в измученных душах покой долгожданный настал.

Он ушёл, возвращения день, скрыв дороги завесой,
А былое всё туже и туже сжимает кольцо.
И встаёт в полный рост над сырым настороженным лесом,
И десятками глаз смотрит мне неотрывно в лицо.

Догорает заря, превратив кромку облака в пепел.
Робко в травы вплетает роса паутину седин.
Он ушёл — возвращения день, — детством тёпел и светел.
Я сижу у костра с прошлой жизнью один на один.

Тишина и покой. Даже стихло царапанье мышье.
Всё застыло в тревоге... И вдруг встала тень за спиной...
Это вышел незримо к огню мой отец и неслышно,
Как в те давние годы, спокойно стоит надо мной.

¹Литовка — большая русская коса, которой косят, не нагибаясь.

²Вострец — резучее растение, однородное с пыреем и метликой, семейство злаков.

...Мы надолго в тайгу уходили с осенней охотой,
За собаками звонкими с сопки на сопку мечась.
И шутил ты подчас, что теперь мы с тобою пехота —
Потому как одна лишь надежда на ноги сейчас.

У костров ночевали, от ветра и холода ёжась,
И ругали охоту, подвластные полностью ей...
Как случилось, что ночь коротаю в твоём я таёжье
Одинокий, как старенький ствол переломки³ твоей?

Я пытаю себя, в безнадежной попытке отчаясь, —
Почему человек умирает? Пусть жил бы и жил...
Почему не бессмертен? И сам я себе отвечаю:
Для того чтобы жизнью нелёгкой своей дорожил.

Нет, не умер отец. Сердце в это поверить не может.
Сердце в это поверить не хочет, бывшее любя.
Сердце болью исходит, глухая тоска его гложет.
Ты не умер, отец. Это умерли мы для тебя.

Словно канули в воду, и даже кругов не осталось.
И один ты над миром, над светлой его пустотой.
Оттого-то на сердце всё чаще усталость,
Что не встретимся больше мы в жизни ни в этой... ни в той...

Оттого-то, отец, нет во мне перед этим смиренья.
Слышишь, сердце сыновье тебя на побывку зовёт.
Нет! Не умер отец. Он в иное ушёл измеренье.
Для меня он по-прежнему рядом в таёжном живёт.

Шёл отец по Европе во имя великого дела,
Принимая в пути не награды — удары судьбы.
Словно птица над вешней тайгой, жизнь отца пролетела,
Прокружив на мгновение над крышей таёжной избы.

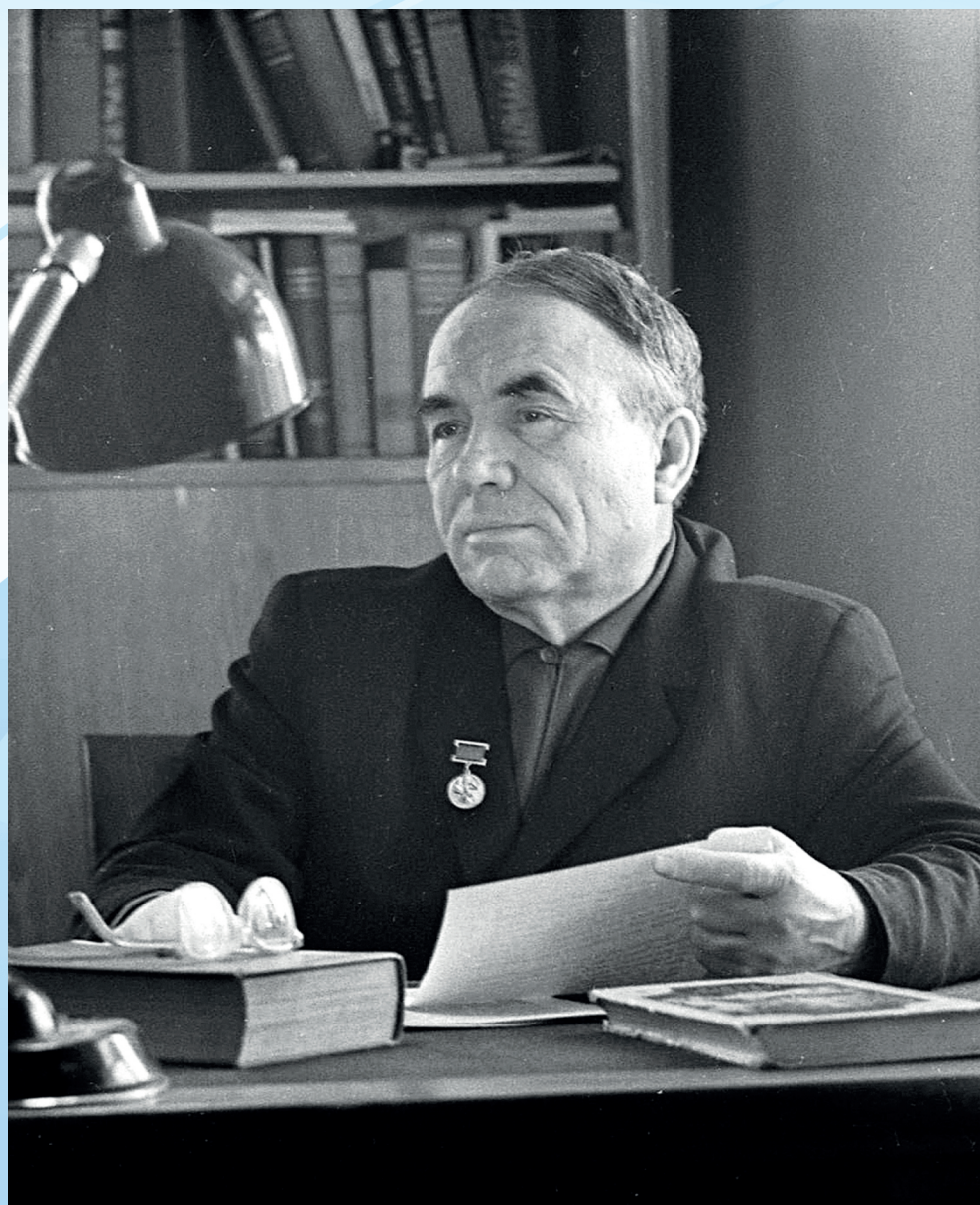
И пропала вдаль — растворилась в распахнутой выси.
Вот и солнечный луч на пере у неё не блестит.
Птица канула в ночь. Только я с этой мыслью не свыкся, —
Всё мне кажется: птица летит... и летит... и летит...

³Переломка — ружьё с откидывающимся стволом (разг.).

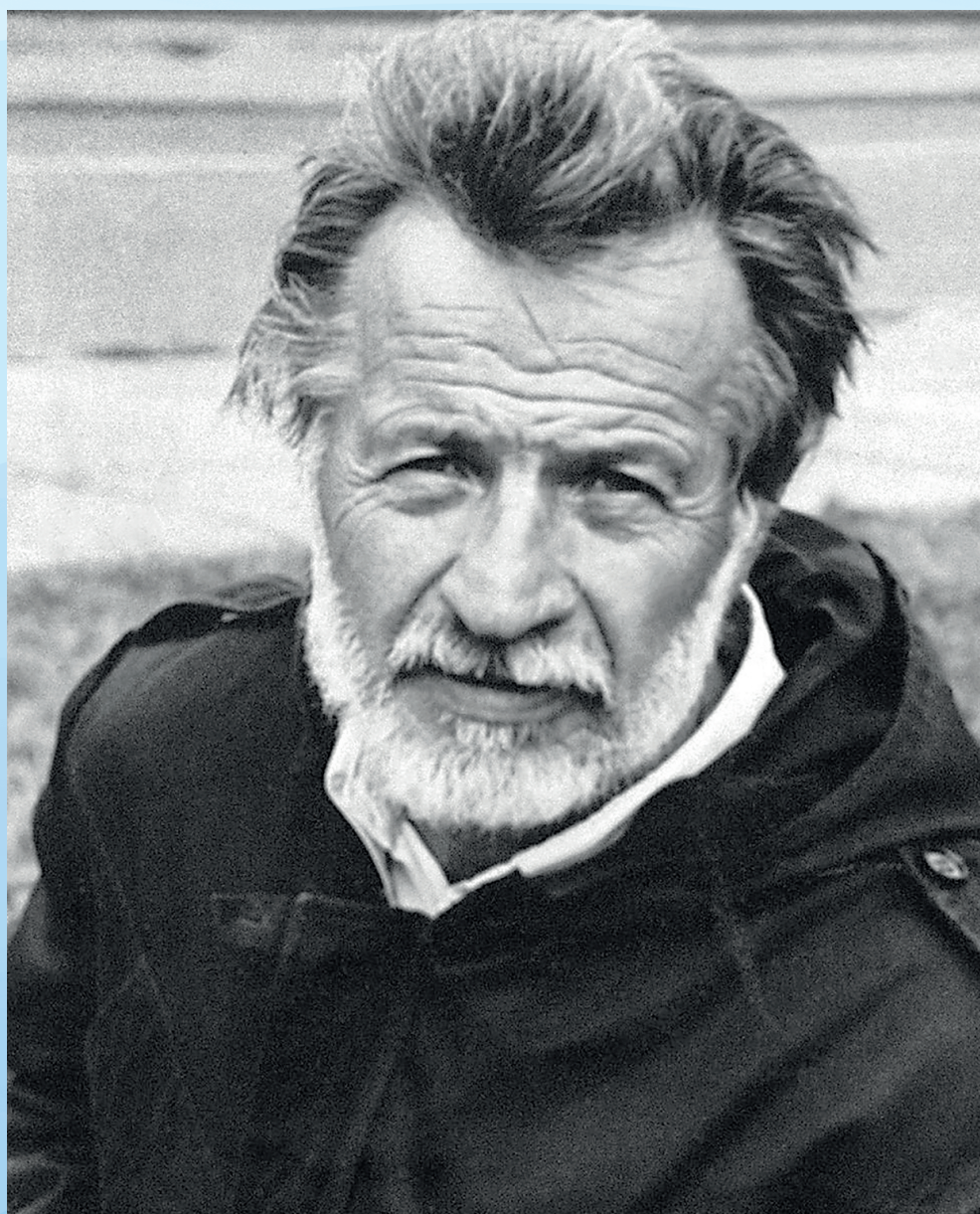
115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПАВЛА НИЛИНА



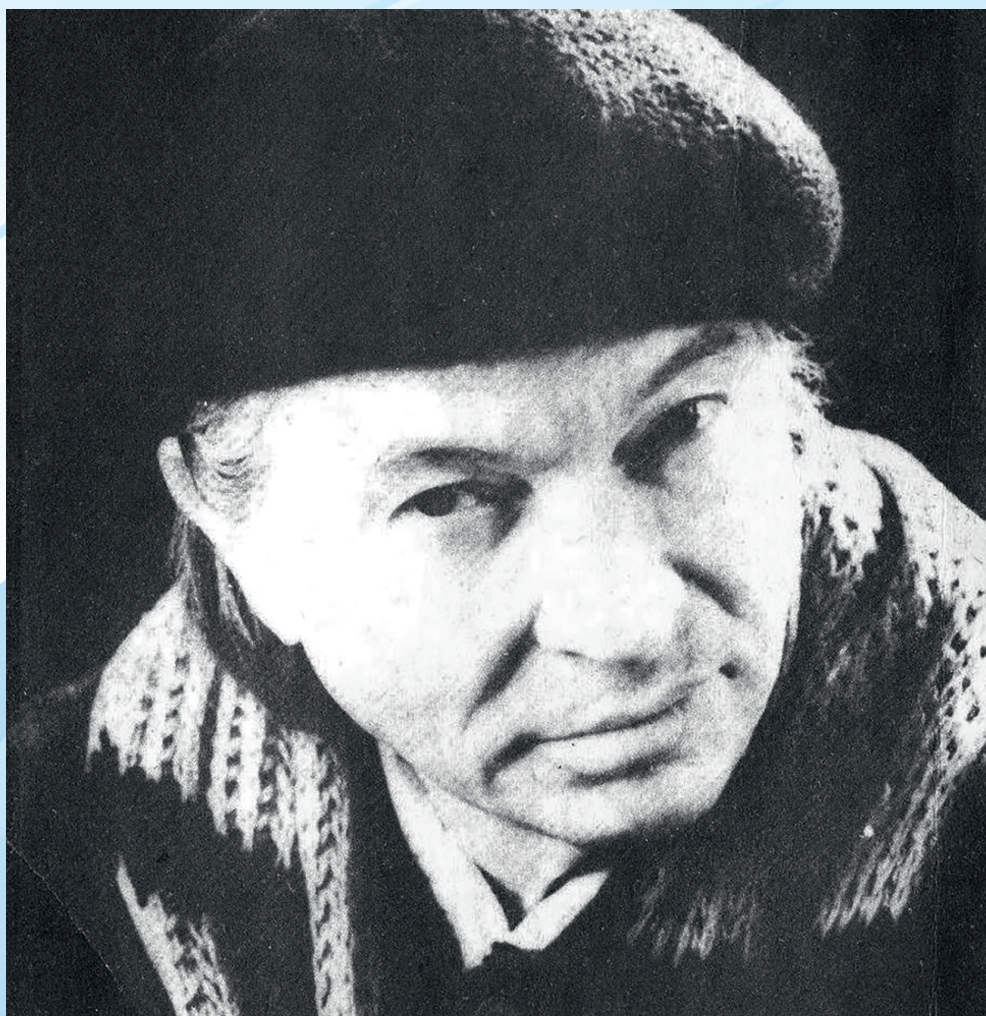
**115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНА СЕДЫХ**



**85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СТАНИСЛАВА КИТАЙСКОГО**



87 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВИКТОРА СОКОЛОВА





ВЛАДИМИР МАКСИМОВ



Предназначение

ПОВЕСТЬ-ЭССЕ
(ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Две вещи оправдывают существование
Человека на земле: любовь и творчество.

Иосиф Бродский

А ещё:

Истинное мужество состоит в том,
чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду.

Сергей Довлатов

Начинать какое-либо большое дело — всегда не просто. Особенно, если это дело мыслится тебе как очень важное, судьбоносное, как цель твоей жизни. Как Призвание. Или даже Предназначение. То есть, как нечто такое, к чему ты не только

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт. Родился в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл. Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института и аспирантуру Зоологического института в Ленинграде. Работал на биологической станции на Белом море. Участвовал в экспедициях в Тихом океане, Японском, Беринговом, Охотском морях. Член Союза писателей России. Автор книг прозы: Морозный поцелуй (1998); Формула красоты (Иркутск, 1998); В то лето (Иркутск, 2004); Не оглядывайся назад: роман (Иркутск, 2005); Предчувствие чудес: повесть, рассказы: (Иркутск, 2008); Куда всё это исчезает: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: Парижская тетрадь (Иркутск, 1996); Сестра моя осень (Иркутск, 1999); Памяти солнечный зайчик (Иркутск, 2007) и др. Живет в Иркутске.

призван и стремишься сам, но, более того, тебе это нечто уже предначертано, предназначено свыше Судьбой или Роком. А, следовательно, почти неизбежное...

Эти простые мысли о предназначении любого человека в его единственной и такой, увы, короткой, быстротекущей жизни, не раз посещавшие меня, ещё больше укрепились после того, как я ненароком обнаружил объёмную папку с многочисленными отзывами на мои (теперь-то я понимаю, ещё не совсем зрелые) давно написанные стихи и рассказы, рассылаемые в начале восьмидесятых годов теперь уже прошлого двадцатого века в различные литературные журналы, в надежде на то, что они будут напечатаны.

Папку эту, среди прочих однотипных папок с завязочками, я извлёк с антресолей в конце 2021 года, во время предпринятой мною пред Новым годом генеральной уборки. В том числе и ради прореживания скопившихся бумаг, лежащих в укромных уголках квартиры безо всякого движения, порою, долгие годы и даже десятилетия. Как, например, и те несколько папок с антресолей, извлечённых отсюда при помощи стремянки, до которых у меня всё никак не доходили руки...

На сей раз я собирался вынести многим хранящимся в них бумагам окончательный вердикт. Хранить ли какие-то из них дальше или нет?

На каждой из папок имелись аккуратные карандашные надписи, когда-то сделанные мною. Некоторые записи были не такие давние, а некоторые уже весьма давнишние...

Скажем: «Материалы для авторской рубрики в газете «Мои года»: «Побрюзжим... Поговорим... Подумаем...» были датированы уже годами нынешнего, двадцать первого, века. Эту придуманную мною рубрику я регулярно вёл в газете десять лет, с декабря 2011 года. А теперь пишу туда только от случая к случаю. Дальше шла папка: «Темы для рассказов и повестей»; потом: «Материалы о старине Хэме», с предварительным заголовком к будущему повествованию: «Последний зверь Хемингуэя»; а ещё: заметки для новелл, под названием: «Домашняя переписка», с пояснительной записью, чуть ниже: «Записки близких и родных людей, накопившиеся за много лет...» Выбросить их рука не поднималась. Так много было в этих коротких записочках любви, искренности, шуток, доброты по отношению друг к другу. А ещё там было много точных мет, уже о навсегда ушедших годах нашей семейной жизни с моей первой женой Наташей, ушедшей по вине врачей в мир иной в 2009 году. Недаром же отличный писатель Борис Шкловский говорил, что «концы лестницы, ведущей в будущее, упираются в прошлое». А вот и ещё одна папка: «Материалы, фотографии, мой дневник по велоэкспедиции «Пекин — Париж» 1993 года...» Это уже последнее десятилетие века двадцатого...

Самой нижней из этих шести папок, а потому и не такой запылённой, как верхняя, оказалась, к тому же и самая давнишняя по времени, папка с надписью: «Рецензии на мои стихи и рассказы, начиная с 1980 года...» А чуть ниже этой записи в скобках была ещё и приписка: «В основном — отрицательные»...

Я, конечно же, не мазохист. Но вот, отчего-то захотелось мне вновь перечитать эти давние отзывы, писавшиеся на мои (в большинстве своём — стихи) литературные опыты в самом начале творческого пути. И которые, как мне помнится, причиняли мне прежде нешуточные страдания, по сути, ловко скрытыми за общими словами уверениями неведомых мне, большей частью столичных рецензентов в том, что никакого таланта у меня нет, и писать мне, в общем-то, не стоит...

Рецензии эти из различных журналов были весьма складными, даже умными,

аргументированными, но написанными (точнее, напечатанными на пишущих машинках, ибо компьютеров тогда ещё не было) словно под копирку, оставляя тем самым в моей душе сомнение о том, что кто-то вообще читал то, что мною было отправлено в журналы. С подобными вещами сталкивались, надо сказать, и известные авторы.

Например, уже известный к тому времени Хемингуэй, в январе 1936 года, в письме своему (пожалуй, лучшему) переводчику произведений на русский язык Ивану Кашкину писал:

«Заодно пишу Джингричу (владелец и редактор журнала «Эсквайр») — пусть отправит вам пять последних номеров, где напечатаны мои «пустышные» статьи, так лихо разделанные Эдмундом Уилсоном, который даже не удосужился их прочесть...»

Вот и мне мои сомнения и неверие в то, что всё в получаемых мною рецензиях и оценках так уж верно и объективно, оставляли хоть небольшой шанс на то, чтобы продолжать работать. А кроме шанса, оставалась ещё и надежда на то, что я всё равно смогу добиться своей цели — стать настоящим писателем. И надо только, не оглядываясь на эти рецензии и не принимая их слишком всерьёз, двигаться дальше по намеченному курсу...

А к тому же, я не без основания надеялся на то, что во мне есть некая чисто чемпионская черта — относиться к поражениям легко, будто их не было вовсе. И черта эта появилась у меня не на пустом месте. В юности я серьёзно занимался спортом и умел достигать своей цели...

Сначала, с четырнадцати до семнадцати лет, я занимался боксом, как и Хемингуэй, о котором я тогда ещё абсолютно ничего не знал. Особенно о его ответе кому-то из знакомых, приведённом им в биографической книге «Праздник, который всегда с тобой...». Суть вопроса и ответа состояла в следующем. На одном из боксёрских поединков в Париже, за которым Хемингуэй неотрывно следил, делая при этом профессиональные замечания, кто-то из сидящих с ним рядом, видя его эмоциональную реакцию на поединок, спросил: «Всё ещё мечтаешь стать чемпионом?», — имея в виду бокс. На что Хемингуэй, не оборачиваясь, ответил: «Да. — А после небольшой паузы добавил: — только в литературе...» Он уже тогда, в Париже, начинал писать свои рассказы, которые отнюдь не пользовались спросом ни у издателей, ни у читателей. Одним словом всё было, как в стихотворении Марины Цветаевой, написанном ею о своих первых стихотворных книжках: «...валявшимся в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берёт. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд».

Что касается меня, если уж и дальше проводить аналогию с чемпионской чертой характера, то мне таки и в самом деле в мои семнадцать лет удалось стать чемпионом города Ангарска по боксу, в наилегчайшем весе (Или — «мухачи», как шутя называли нашу весовую категорию боксёры). И лента эта чемпионская, вручённая мне на ринге, до сих пор хранится у меня в шкафу...

После бокса я серьёзно занимался хоккеем с шайбой в клубе «Ермак». И тоже весьма успешно. У меня была отличная реакция и скорость, а вот достаточного веса для такой силовой игры было всё же маловато...

Одним словом, рассуждения мои о некой черте, присущей чемпионам, были выстроены не на пустом месте. Поскольку любые поражения в спорте я, хоть и не сразу, научился признавать временными и незначительными. Мог даже посмеяться над своими неудачами и в этом найти силы для решающего броска, чтобы

потом выиграть, обязательно выиграть на заключительном, решающем этапе, частенько говоря самому себе: «Ты чемпион не потому, что довольно часто побеждаешь, а потому, что плевать ты хотел на все предыдущие поражения, и потому у тебя просто не может быть поражений, а может быть только, скажем так, очередная неинтересная партия...»

Вот и в своём предназначении я тоже надеялся не проиграть, несмотря на все те отрицательные отзывы...

К счастью, человек свободен в выборе своего пути.

Впрочем, свободу все понимают по-разному, по-своему. Для меня, скажем, свобода — это, прежде всего, способность долгое время выдерживать неопределённость, не прогибаясь под грузом житейских обстоятельств и проблем.

А один из героев пьесы Горького «На дне» Сатин говорил:

«Человек — свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за всё платит сам, и потому он свободен!...»

Следует только добавить, что он за всё и отвечает потом сам. Порою ценой собственной жизни, в том числе и за свой выбор, свой вектор судьбы. И за последствия этого выбора. Ведь недаром же поётся в одной песенке: «Не торгуйся Судьбой, выбирая свой жизненный путь...»

Но, отчего-то, именно в начале литературной деятельности мне так нестерпимо хотелось славы и признания!..

Хотя, в общем-то, уже и тогда я понимал, что слава — это весьма невыгодный товар. Стоит дорого. Портится быстро...

Да и Ахматова с Цветаевой обе говорили, что если ты получил поэтический дар (или талант вообще) — забудь про личное счастье и богатство, потому что ты всё уже получил.

Теперь, когда у меня издано (в том числе и в солидных московских издательствах) более пятнадцати, и хочется верить совсем неплохих, и даже, смею надеяться, хороших книг стихов и прозы, я думаю о том: «Как хорошо, что никому из них, тех давних моих оппонентов, мимолётных оценщиков литературных опытов, точнее, подавляющему большинству из них, этих подёнщиков при различных толстых литературных журналах, я тогда не поверил. Продолжая упорно работать, выискивая свой собственный путь, или хотя бы тропинку на этом огромном, безмерном, бескрайнем литературном поле. Продолжая верить в себя и в своё предназначение, без которого жизнь моя, я это ясно понимал, будет не просто неполной, но и бессмысленной...»

Спустив все эти папки с антресолей и предварительно стерев с них влажной тряпкой пыль, я положил их стопкой в углу прихожей. А затем, усевшись рядом на пол, опершись спиной о стену, взял в руки нижнюю папку и раскрыл её.

Лист за листом стал перечитывать хранящиеся в ней рецензии. Иногда уже почти полувековой давности, ощущая, тем не менее, и прежнюю боль, и прежнюю уязвлённость своего самолюбия, и прежнее недоумение от того, что, похоже, мои стихи и редкие тогда ещё рассказы, отсылаемые в журналы, в журналах этих подавляющим числом рецензентов читались лишь по диагонали, а то и действительно не читались вовсе. Одна дама из журнала «Молодая гвардия» умудрилась даже указать мне о нескольких, как она писала в своей рецензии, «чрезвычайно неряшливых» по её мнению абзацах, не поленившись процитировать их полностью. Хотя таких абзацев в моей первой повести «Два букетика синих ромашек», написанной в 1984 году, вообще не было! Скорее всего, она читала, а точнее про-

сматривала, сразу несколько рукописей начинающих авторов, и в голове у неё всё смешалось, как в доме Облонских...

Особенно много отказных рецензий скопилось у меня, начиная с 1981 года. И вот почему. В том году я, преодолев огромный творческий конкурс в сорок человек на место, поступил в единственный в мире Литературный институт имени Горького в Москве. В свой семинар меня и ещё одиннадцать человек отобрал поэт Владимир Цыбин. И мне к тому времени исполнилось уже тридцать три года...

Христос в этом возрасте уже сумел завершить своё земное предназначение, а мне предстояло всё только начинать.

Окрылённый поступлением в столь знаменитый институт, и считая себя уже вполне сложившимся литератором, я, можно сказать веером, как говорил один мой однокурсник — талантливый поэт из Приднестровья Володя Полушин, рассылал или разносил по редакциям различных московских журналов, когда приезжал на сессию в литинститут, свои стихи и редкие тогда ещё рассказы. К своему удивлению, отовсюду получая отказ на их публикацию, приблизительно такого типа: «В рукописи есть неплохие строки, но мало хороших стихов. Рукопись возвращаем...» Или: «Ваша повесть не подходит журналу «Молодая Гвардия» по идеологическим соображениям, поскольку не выражает стремления народа выполнить в полном объёме судьбоносные для страны решения очередного XXVI съезда ЦК КПСС...» И, в общем-то, в таком отказе из данного журнала не было ничего удивительного. Ибо этот, кстати сказать, старейший в России журнал, основанный в 1922 году по инициативе Льва Троцкого, и мыслился как комсомольско-космополитический, подведомственный ЦК ВЛКСМ (То есть, центральному комитету Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи), с главенствующей на его страницах коммунистической идеологией. А моя повесть была об ином. О любви, о потере друзей, о неясных ощущениях и неясных же предчувствиях... А ещё о том, как, и главное — зачем жить? И для чего и кем нам дана эта наша единственная, неповторимая жизнь?

Я даже эпиграфом к повести, помнится, взял стихотворение «Вечные темы» Константина Ваншенкина, звучащее так:

*Жизнь и смерть,
Любовь, природа.
Вот и впредь
Такого рода
Темы будут у меня.
Все мы возле их огня.*

В ней, в этой повести, было много неясных, порою, и самому главному герою, да и автору, пожалуй, размышлений о том, как иногда полезно быть одиноким. Один на один со своими затаёнными мыслями. И чувствовать это одиночество, эту оторванность от других людей, проезжая в полупустом троллейбусе в дождь по улицам Будапешта, возвращаясь в свою гостиницу с видом на Дунай. И этот приглушённый свет в салоне, и мягкий ход троллейбуса по мокрому асфальту, в котором отражались огни домов, малое количество людей в нём, и будто расплывающиеся огни фонарей за окном, отчего-то наполняли меня невероятным спокойствием и уверенностью в себе. Уверенностью в том, что всё, о чём я мечтаю, обязательно сбудется. И мир, окружающий меня, гармоничен, а выбранный мною путь верен...

Кроме всего прочего, было в повести и ощущение встречи героя с его един-

ственной девушкой, и ощущение свободы, и волшебство надвигающейся ночи на Москву, Прагу ли, Будапешт, Иркутск. И ты как будто был в этом троллейбусе, а может быть и трамвае, наигрывающем своим смычком по струнам-проводам чудесную мелодию, совсем один. (Как у поэта Бориса Архипкина: «...Я уеду на скрипке трамвая, остановку свою пропустив»). Причём, не только в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая, но и вообще в мире...

И ещё вспоминалось, как я ездил вечерами на автобусе из своего пригородного посёлка в Ангарск. К девушке, которую любил, и которая занималась в ДК Нефтехимиков, красивом дворце с белыми колоннами, стоящем на центральной площади города. И на ней же, в некотором отдалении, на башне бывшего главпочтамта, на главных городских часах, начиная с 2001 — пятидесятилетия города и донине, каждый час звучит гимн Ангарска, стихи к которому написал я, а музыку — прекрасный композитор Евгений Якушенко...

И, помнится, что для тебя та девушка — девочка была столь же прекрасна, сколь и недостижима. И так безнадежно любима тобой, что ты не знал, что со всем этим делать? И нужно ли что-то делать вообще? Или достаточно того, что эта девушка — ночь, такая загадочная и такая непроницаемая, приглашает тебя на свои выступления и спокойно, и даже равнодушно, слушает потом твои восторженные похвалы, вся в себе в своих неразгаданных мыслях и чувствах...

Девушка эта не стала балериной.

Она стала стюардессой и в конце концов улетела однажды в Питер, и осталась там навсегда, выйдя замуж за пилота «Аэрофлота»...

Впрочем, и из менее идеологизированных журналов, таких как «Смена» или «Юность», издававшихся в те времена миллионными тиражами, тоже приходили отказы. И окончательно не разувериться в себе было, увы, совсем не просто...

Перечитывая все эти многочисленные рецензии теперь, я понимал, что подавляющее большинство из них рецензиями, собственно говоря, вообще не являлись, а были просто отписками. Обычным зарабатыванием денег так называемыми литературными консультантами, сотрудничающими с журналами по договору. И чем больше эти литературные консультанты выдавали, желательно отрицательных рецензий, тем было лучше для журнала, ибо и своих московских авторов некуда было девать. А чем больше было сделано рецензий, тем больше, в свою очередь, был и заработок литконсультанта. Когда уж тут внимательно читать произведения начинающих авторов, да ещё из провинции — денежки делать надо...

Пожалуй, это трудно объяснить рационально, но отчего-то, читая все эти давние отзывы, вспомнил фильм Глеба Панфилова «Начало», вышедший в 1970 году и собравший потом множество, в том числе и зарубежных, кинематографических наград.

Вот и я ощущал себя в те далёкие времена приблизительно так же, как героиня фильма «Начало», будучи в самом начале избранного мной пути. Не писать я уже не мог. А писать было незачем — нигде не печатали. И значит, не то что своего, а и вообще читателя у меня не было.

Тогда-то, помню, в московском метро, по дороге на занятия в Литинститут, и написалось у меня горькое и мечтательное стихотворение:

*Меня не печатали вовсе...
Но как-то в метро я узрел —
Читал человек мою(!) книгу,
И взгляд его тихо теплел.*

И самое печальное в том тогдашнем моём состоянии было то, что в глубине души я понимал — мне не может помочь даже волшебник, поскольку в литературе волшебником является сам автор, создающий свои, неповторимые миры. А вот чуда действительно хотелось. И верилось, что оно случится. А оттого писалось ещё и такое:

*И — вдруг,
Неведомо откуда,
Придёт уверенность, что чудо
Не смеет не произойти!
Сейчас,
немедля,
по пути!*

Но, дни проходили за днями... Месяцы за месяцами... Года за годами... А никаких чудес и литературных успехов, кроме газетных публикаций в моём родном Ангарске, да ещё в Иркутске, у меня по-прежнему не было. И это удручало. И спасали только наглядные примеры других людей, которых я любил и читал, и о которых ещё буду говорить, да мой неизбывный оптимизм и самоирония. А ещё ощущение того, что написанное мною стоит того, чтобы на него тратить время. Ибо любой пишущий человек может довольно объективно оценить уровень своих притязаний.

И больше всего в то время меня всерьёз, после очередного и, казалось, такого привычного уже отказа из какого-нибудь журнала, занимала мысль о том, а есть ли у меня действительно хоть какой-то дар, талант? Или правы все эти многочисленные рецензенты и я, по-видимому, просто графоман. И дальше продолжать не верить им, а верить себе и в себя — просто безумие и самообман! И я всё чаще и чаще вспоминал слова Эрнеста Хемингуэя, моего любимого писателя, из его по-смертно опубликованного романа «Острова в океане», в котором его герой Томас Хадсон (явное альтер эго самого Хемингуэя) говорил: «Мастерство, оно в тебе. В твоём сердце, в твоей голове, в каждой частице тебя. И талант тоже в тебе... Это не набор инструментов, которыми наловчился орудовать». И ещё в связи с тем, что я всё-таки продолжал упорно трудиться и по-прежнему серьёзно относился к литературе, мне частенько вспоминалось ещё одно его изречение, о начинающем литераторе, из его статьи «Маэстро задаёт вопросы». Статья с таким названием вышла в свет в журнале «Эсквайр» в 1935 году. Она была о молодом человеке, который нанялся к писателю на его яхту и постоянно задавал Хемингуэю вопросы, показывая ему свои опусы, которые просил оценить...

Вот, что по этому поводу писал Хемингуэй: «...Написано это было ужасно. Но, многие другие, подумал я, начинали не лучше (К слову сказать, вспомним Уильяма Фолкнера. Ему Шервуд Андерсон, уже известный американский писатель, получив от молодого автора его первый роман — объективно очень слабый — сказал: «Я помогу вам, Уильям, издать ваш роман, но читать его, с вашего позволения, не стану, чтобы не тратить зря своего времени. Тем более что первые романы почти всегда несовершенны...»), а этот юноша так необычайно серьёзен, что позволяет надеяться: по-настоящему серьёзное отношение к писательскому делу — одно из двух неперемennых условий. Второе, к сожалению, талант».

В том, что я серьёзно отношусь к писательскому ремеслу, я не сомневался. А вот, есть ли у меня талант? Этого я не ведал. И порою начинал сомневаться в этом. А критерия его проверки у меня не было. Ведь твой талант, в конечном итоге, мог

оценить только вдумчивый читатель, которого у меня не было. Или вдумчивый, доброжелательный писатель, которого у меня тоже не было. А то, что у меня недостаточно мастерства, особенно в стихосложении, я уже почти убедился. И сложность переложения своих мыслей и чувств заключалась, по-видимому, как раз в отсутствии этого мастерства. Я ощущал, слышал в своей душе, в своём сердце и прекрасную странность и непостижимость чего-то, о чём бы хотелось написать, но вот перенести, без существенных потерь, свои мысли и чувства на бумагу было невероятно трудно. А уж о том, чтобы на спор, как Хемингуэй, написать настоящий рассказ из шести слов, я даже и не помышлял. Слишком недостижимой казалась мне такая задача. А Хемингуэй смог.

Вот его рассказ: «For sail: baby shoes, never used».

В переводе на русский язык в этом рассказе и вообще только четыре слова, но и эти четыре слова сохраняют и трагизм, и глубину, и напряжение повествования. Можете почувствовать это сами: «Продаются детские ботиночки, ненюшеные»...

И ещё я довольно часто замечал в произведениях других авторов, скажем, нечто глобальное, но не трогающее тебя. И — наоборот, как это иногда было у любимых мною, немногочисленных авторов, которые описывали вроде бы самые обычные вещи, но отчего-то, например, при слове «зарыдал» у тебя и самого комок подступал к горлу, и хотелось безутешно и горько расплакаться. И ещё, и это было почти всегда, у гениальных писателей, с некоторыми из которых мне даже довелось быть знакомым. Например, с Распутиным, за словом всегда оставалась некая неразгаданная, нераскрытая тайна. Когда ты чувствуешь, как написанное наполняется вдруг глубиной многих смыслов. И ты в этот миг осознаёшь, что просто красивых слов, к счастью, совсем недостаточно для полной гармонии. Хотя, даже и у очень значительных мастеров, за их словами я иногда видел пустоту. Или, в лучшем случае — действительность. А манящей тайны уже не было...

Я постоянно думал о подобных вещах, пытаюсь разгадать некую загадку творческого процесса, и продолжая при этом работать со словом. Хотя писать мне удавалось лишь иногда, урывками, поскольку возможностей для постоянных занятий литературой у меня, увы, не было. Я должен был продолжать работать на буровой, буря по всей нашей необъятной области со своей бригадой скважины на воду, и обеспечивая при помощи этой тяжёлой, грязной (в прямом смысле этого слова) работы, за которую хорошо платили, сносное материальное положение своей семье. Моей жене Наташе, находящейся в декретном отпуске по уходу за нашим малолетним сыном Димой, родившимся 21 декабря 1980 года, и, по возможности, помогая моим родителям — пенсионерам, у которых мы тогда жили, ибо своего жилья у нас не было, и в ближайшие годы не предвиделось...

Впрочем, мечталось больше тогда даже не о своём жилье, а о том, чтобы просто сидеть и писать...

Однако приступить к написанию чего-то серьёзного просто не хватало зачастую ни времени, ни сил, ни духу. Да ещё не покидал страх, смогу ли я взойти на эту гору, именуемую художественной литературой, со сверкающей снежной вершиной? Хватит ли мне на это сил и таланта? И не стану ли я тем замёрзшим леопардом на западном склоне самой высокой горы Африки, о котором написал Хемингуэй в своём эпитафии к такому чудесному своему рассказу «Снега Килиманджаро», в котором сказано: «...Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мёрзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может...»

Одним словом, я не ощущал в себе достаточных сил для достижения вершины, а потому продолжал топтаться у подножия горы. Не приступая ни к чему серьёзному, продолжая писать, в основном, или короткие рассказы, или стихи. И это моё состояние неопределённости продолжалось довольно долго. До тех пор, пока я окончательно не осознал, что главное — это призвание, которое только и может быть вектором жизни, и её оправданием. А всё остальное — это не более чем хобби. И всеми этими побочными делами можно заниматься по остаточному принципу, а не наоборот...

Однако, справедливости ради стоит сказать, что попадались среди этого огромного количества однообразных отказных, так называемых рецензий, — с главенствующим в них после слов: «С вашей рукописью ознакомились...» словом «Но», после которого и начиналось перечисление всех моих несовершенств в стихах или рассказах, из-за которых рукопись журналу не подходила и возвращалась автору, — и послания от людей, желающих мне, по-видимому, добра. И некоторые подобные, единичные ответы, точнее фрагменты из них, я хочу здесь привести, чтобы вспомнить добрым словом тех литераторов, многие из которых уже ушли в мир иной (что, в общем-то, нормально, поскольку неотвратимо).

Вот первое такое послание 1980 года, с настоящим, серьёзным разбором стихов, отосланных мною по почте очень хорошему поэту из Читы Михаилу (для меня всё же Евсеевичу, хотя мы были знакомы) Вишнякову.

Не очень скоро, впрочем, но ответ от него пришёл. Ответ был напечатан на машинке на двух листах желтоватой бумаги.

Вот некоторые фрагменты из него:

«Владимир! Отвечаю с некоторой задержкой, ибо хотелось написать обдуманно, с большой прямоотой и доброжелательностью. Твои стихи ещё раз убеждают меня в моей давней мысли: насколько талантливо и насколько лениво нынешнее поколение!...» И дальше шёл вдумчивый разбор стихов. Отмечались их сильные и слабые стороны. И всё это доказательно, аргументировано. С разъяснениями, почему это именно так. Например: «Тревожит меня в твоих стихах, говоря банально, отсутствие своей «максимовской» темы. Я, Володя, не смогу тебе объяснить, что такое «тема». Может быть, опыт души? Опыт жизни? Единый словарь, колорит? И вообще — что может стать темой? Самочувствие поколения конца XX века? Да и, собственно, тема, скорее всего, это то, что надо сказать людям о мире и о себе... Сколько в Москве литературных щелкопёров, заumi под — и над сознания, и я рад, что у тебя стихи идут от души. Хороша у тебя зарисовка «До крыш посёлок занесён, как в век иной перенесён...», «Учительница сельская в улусе Зум-Болой...» К ним бы ещё несколько «забойных» стихотворений, и получилась бы отличная (в том числе и отличающаяся от других) подборка... Надеюсь через какое-то время (чёрт знает какое) получить от тебя пяток настоящих сибирских стихов. Пиши и будь жесток к себе! Обнимаю! Михаил Вишняков».

Или вот, ответ, пришедший мне по почте (помню, с каким трепетом я открывал эти конверты со штампами московских журналов, надеясь на чудо) в октябре 1981 года из журнала «Новый мир», от литературного консультанта Арво Метца:

«Здравствуйте, Владимир!»

Ваши стихи в целом вызывают симпатию. Прежде всего, они привлекают искренностью (о том же впоследствии писал и руководитель моего семинара в Литературном институте, поэт Владимир Цыбин). Мне больше всего понравились три стихотворения. «Надо дальше на север лететь» — в восьми строках этого стихот-

ворения выражены очень сложные ощущения — продолжение любви и конца её, правды и неправды. Короче говоря, выражена жизнь. Теплы, хотя, скорее всего, написаны для себя миниатюры «В метро человек читал мою книгу...» и «И вдруг неведомо откуда...»

А далее, в конце отзыва на полторы страницы, отпечатанного на машинке, было уже традиционное заключение:

«Однако и лучшие стихи всё же «не проходят по конкурсу» в огромном насыщенном и профессиональном редакционном портфеле отдела поэзии «Нового мира».

Рукопись вынуждены возвратить».

Главным редактором журнала «Новый мир», выходявшего в восьмидесятые годы прошлого века тиражом более чем в четверть миллиона экземпляров, был тогда Владимир Карпов. А до него — Константин Симонов и Александр Твардовский!

О таких несомненных в нашей литературе величинах, как Симонов и Твардовский, я говорить не буду, а вот на Карпове немного остановлюсь, поскольку его знают уже не так хорошо. Он был потомок Яицких казаков, фронтовик, разведчик, долгое время (с октября 1942 года) воевавший в штрафной роте. И человек он был не только невероятно храбрый, но ещё и невероятно честный и прямой. И опубликоваться в таком журнале, возглавляемом им, было, конечно же, весьма почётно, но почти нереально для начинающего, никому неведомого автора.

Стоит упомянуть ещё один факт, так сказать по аналогии. Впоследствии, именно в Эстонии, уроженцем которой являлся литературный консультант журнала «Новый мир» Арво Метц, впервые были переведены на эстонский язык, а некоторые даже и опубликованы в журнале «Радуга», мои рассказы. За что я до сих пор безмерно благодарен сему многотиражному журналу и его первому главному редактору Рейно Вендеманну, возглавившему его со дня основания в 1986 году. И, кстати, всегда начислявшему авторам весьма щедрые гонорары.

Благодарен я своей переводчице Инне Мартоя, прекрасно говорившей на двух, поскольку оба были для неё родными, языках — эстонском и русском (мать была русская, отец эстонец). Именно Инна первая обратила внимание на мои рассказы, отсылаемые мною в отпечатанном на машинке виде в Таллинн, своим друзьям — коллегам журналистам. У кого-то из них она и прочла прямо в редакции мой рассказ. Предложив его, с согласия того, кому был отослан рассказ, в журнал. А из-за своего двуязычия сама же смогла, почти без существенных потерь, перевести их на эстонский язык. Хотя и ворчала порою при наших встречах в Таллинне из-за некоторых слов и выражений, присущих сибирскому говору. Находя потом, тем не менее, аналоги (то есть, точные соответствия) даже к весьма заковыристым для неё словам. Таким, например, как заморочачило, или бус, или хиус...

Впрочем, надо сказать, ворч её бывал совсем не злобным. Например, она, словно удивляясь чему-то, спрашивала, затрудняясь перевести какое-то слово: «Ну вот, скажи мне, пожалуйста, как я должна перевести это твоё тарабарское слово на наш европейский, имеющий четырнадцать падежей, язык?...»

Ответа, как правило, не было, да и сам вопрос бывал скорее риторическим. Инна вообще любила задавать риторические вопросы, не требующие ответа...

Теперь Инна уже много лет живёт в Швеции, покинув Эстонию во времена безумных девяностых, в конце двадцатого века. И мы с ней вряд ли сможем когда-нибудь ещё снова пройтись по вечернему Таллинну, как это частенько делали прежде.

А ещё мне отчего-то чаще всего вспоминается наш постоянный с Инной маршрут в Таллинне. Он проходил обычно от «Дома печати», где она работала редактором, до кафе «Каролинка», в Старом городе, куда мы заглядывали с ней выпить горячего глинтвейна. Особенно в ненастную погоду...

А ненастье для Прибалтики дело почти обычное.

И именно об этих наших прогулках я написал впоследствии стихотворение, где начальными были такие строки:

*Как я стал сентиментален.
Мне опять приснился Таллинн...*

Оно будет напечатано в газете «Советская Эстония» и станет лучшим стихотворением месяца. Как мне помнится — это было в октябре...

А один такой промозглый октябрьский вечер я помню особенно хорошо. Может быть оттого, что мы с Инной отправились из кафе «Каролинка», не как это было обычно, по разным маршрутам, она домой, а я в гостиницу. В этот раз мы уехали на трамвае вместе.

Тот вечер с какими-то таинственными фиолетовыми сумерками мне вспоминается довольно часто. И все детали в нём мне видятся так чётко, как будто всё произошло только вчера, а не много лет назад...

...Вечер был ветреным, с лёгкой метелью и позёмкой.

Площадь Выйду (Звезды), которую мы с Инной пересекали, была непривычно пустынной в этот вечерний час. И мы на ней, открытой всем ветрам с Балтийского моря, оказались совсем одни. И отчего-то представлялось, что вокруг нас будто бы царит какая-то настороженность, напряжённость. И площадь хотелось скорее пересечь...

Из черноты неба в свете фонарей возникали и в какой-то панике метались, подгоняемые резкими порывами ветра, редкие снежинки. Ветер с Балтики был упругим, колючим, бодрящим, обжигающим морозцем наши лица. Перейдя столь непривычно тихую и пустынную площадь, мы с Инной с какой-то радостью «занырнули» в наше любимое кафе «Каролинка», где было тепло, немного сумеречно от неяркого света ламп по стенам с темно-коричневыми досками, и где всегда готовили отличный глинтвейн, подавая его в больших глиняных, стилизованных под старину, полулитровых кружках. Кафе было сработано в виде огромной бочки. К глинтвейну там всегда можно было взять ещё закуску, состоящую, например, из приличного куска мяса с острым соусом или горчицей и каким-нибудь нехитрым гарниром — картошечкой фри или тушёной капустой, или зелёным горошком...

В кафе мы пробыли, наверное, часа полтора, оставшись в нём под конец одни. Не считая, конечно, бармена за стойкой, устало поглядывающего на нас. И то ли ожидавшего, что мы закажем что-то ещё, то ли нашего ухода, когда ему уже можно будет закрыть кафе чуть раньше положенного времени...

А нам всё никак не хотелось выходить из этого призрачного, временного уюта на улицу, окунаясь, как в холодную воду, в слякотный холод. И так чудесно говорилось обо всём. И Инна, при всей её сдержанности и даже некоторой холодности, или как говорил о себе Есенин: «Я с прохладцей», что очень подходило ей, так заразительно смеялась над моими шутками, непроизвольно рождающимися от любого пустяка...

Одним словом, расставаться нам не хотелось, но время близилось к десяти вечера, а кафе в этот час закрывалось.

Я рассчитался с барменом, подойдя к стойке, и мы с Инной, подойдя к вешалке и облачившись в свои одежды (я — в тёмно-синюю спортивную демисезонную

куртку, а она в светлый, очень идущий ей, плащ с подстёжкой из байковой ткани в красно-чёрную клетку) вышли на улицу. Пройдя через, тоже совершенно пустой, слабоосвещённый Старый город, миновав средневековые Вирусские ворота, вышли к высотному зданию гостиницы «Виру», где я поселился в двухместном номере три дня назад. К счастью для меня, я жил один, поскольку больше половины номеров в это время года в гостинице пустовало. И хотя жить в «Виру» для меня было дороговато, но гонорар из «Радуги», полученный мною по приезде в Таллинн, позволил чувствовать себя независимым от почти постоянной нехватки денежных знаков в их достаточном количестве. На что я обычно, утешая себя, говорил: «Богат не тот, кто имеет больше, а тот, кто довольствуется малым». (Слабое, впрочем, утешение.) На сей же раз, денег у меня было достаточно. И я даже подсчитал, что почти половина гонорара, после всех трат (подарков родным), у меня ещё наличествует. Эта половина составляла около тридцати рублей. Двадцать пять из которых я намеревался на следующий день прогулять, пригласив Инну в гриль-бар, расположенный на двадцать первом этаже «Виру». Так сказать, на прощальный обед, поскольку пребывание моё в Таллинне заканчивалось...

Мне уже надо было возвращаться сначала в Москву, а из столицы, на следующий день, домой, в Иркутск... Поезд «Таллинн — Москва» отправлялся с Балтийского вокзала в 16 часов, прибывая в 9.30, уже следующего дня, на Ленинградский вокзал Москвы. И, чтобы назавтра нам не было так грустно расставаться, мы с Инной ещё в «Каролинке» договорились, что она приедет к 12 часам дня ко мне в гостиницу. Я встречу её в холле. Откуда на скоростном лифте мы поднимемся на предпоследний этаж в гриль-бар, и там отобедаем. Съедим зажаренную целиком курицу в золотистой корочке с овощами и бутылочкой хорошего красного вина.

У бармена я заранее вызнал, что это обойдётся мне не более чем в двадцать пять рублей, даже включая десерт — мороженое с ликёром в конце обеда. Следовательно, ещё пятёрочка у меня останется.

Я надеялся, что после нашего обеда Инна, как обычно впрочем, проводит меня на вокзал...

Не скрою, мне всегда было приятно ощущать некоторое горделивое чувство, когда на перроне рядом со мной стояла эта высокая, белокурая, красивая девушка, казавшаяся такой независимой, такой недосягаемой, такой неотразимой, на которой невольно останавливались восхищённые взгляды проходящих мимо мужчин! Что же касается меня, то мне в нашей паре взгляды доставались, в основном, недоумённые. Дескать, и что она в нём нашла, в этом гномике? Мы-то явно круче будем...

— А почему ты приглашаешь меня отобедать так рано, в двенадцать? — Кокетливо, словно у меня были ещё какие-то скрытые по отношению к ней планы, где мы можем оказаться на какое-то время вдвоём в моём гостиничном номере, спросила Инна, когда я ей в «Каролинке» поведал о своих мыслях на завтрашний день. — Я часов в десять только просыпаюсь.

— Не знаю как на вашем корабле, мадам, — решил я ответить шуткой, — но на нашем корабле офицеры с двенадцати уже могут пить виски.

— Хороший у вас корабль, — задумчиво ответила Инна.

А я уже серьёзно продолжил:

— Я завтра уезжаю. Не хотел тебе об этом говорить заранее, чтобы не запятнать печалью этот день.

— Хорошая строка для стихотворения: «Не запятнать печалью этот день...»

Не находишь? — спросила Инна рассеянно, явно думая о чём-то своём, кажется более важным сейчас для неё.

— Наверное, — ответил я. — Мой поезд уходит в четыре часа, в смысле — в шестнадцать. Вот я и подумал, что двух — двух с половиной часов для хорошего обеда нам вполне хватит. А потом мы спустимся на второй этаж. Зайдём в мой номер...

— Боюсь, что у нас не останется времени даже ненадолго задержаться в нём, — по-прежнему задумчиво проговорила Инна.

— Да, наверное, — отозвался я и продолжил. — Я заберу там свои вещи, и мы спокойно дойдём до вокзала пешком. Растрясёмся, так сказать, после сытного обеда. Да и от гостиницы до вокзала совсем недалеко... А завтра я уже буду в Москве. А послезавтра — улетаю в Иркутск. А на вокзале, до отхода поезда, у нас, я думаю, ещё будет минимум полчаса для того, чтобы сказать друг другу сокровенные слова, — всё-таки не удержался я от некоторой патетики.

— А ты знаешь такие слова? — серьёзно спросила Инна...

Я ничего не ответил, поскольку Инна, как я уже упоминал, любила задавать риторические вопросы, на которые будто бы и не ждала ответа...

В тот осенний холодный вечер, успев после «Каролинки» снова продрогнуть, мы стояли, уже не в фиолетовых, а ставших чёрными, и от этого будто бы зловещими, сумерках на трамвайной остановке. Недалеко от гостиницы «Виру», ожидая трамвая, который через четыре или пять остановок доставит Инну домой, в тепло её квартиры на улице Паэ (Маяка). А я, расставшись с ней, отправлюсь в свой довольно прохладный, стерильный, как операционная, номер.

Уже издалека мы увидели, как, слегка покачиваясь с боку на бок, словно неспешно бредущая куда-то утка, к остановке приближается четвёртый — Иннин маршрут трамвая. Большая, ярко подсвеченная цифра «4» была чётко видна над кабиной водителя в четырёхугольном застеклённом квадрате.

Я уже приготовился проститься с нею, и возможно даже поцеловать на прощание, причём, не как обычно в щёку, а в губы. Ведь у меня для этого был грустный повод — наше завтрашнее расставание. И, в лучшем случае, мы снова увидимся только через полгода, когда я опять приеду в Москву на очередную сессию в Литинститут. А после неё, как обычно, дня на три, не более (денег у меня, скажем, на неделю, просто не хватало) заскочу в Таллинн...

— А почему бы тебе не поехать ко мне? — неожиданно и как всегда спокойно вдруг предложила Инна, когда трамвай уже заметно стал снижать и без того не быструю скорость, перед остановкой. — Я бы угостила тебя хорошим кофе. Да и десерта у нас в «Каролинке» ведь не было. А у меня дома есть мороженое и финский брусничник ликёр. — И прекрасно понимая, что мне не на чем уже будет вернуться в гостиницу, добавила. — А завтра от меня вместе поедем в «Виру». Ты соберёшь свои вещи, после чего мы поднимемся в ресторан и пообедаем, как договорились. Как тебе такой вариант с десертом? — заманчиво улыбнулась она, сделав акцент на последнем слове...

Двери трамвая скрипуче, будто недовольные промозглой слякотной погодой, распахнулись перед нами, и мы молча, а я ещё и ошеломлённо, вошли в него.

В последующие мои приезды в Таллинн я уже никогда не останавливался больше ни в гостиницах, ни у своих друзей, в основном журналистов, которых у меня в этом чудесном городе было немало...

Хорошо помнится отчего-то ещё один, более ранний, эпизод в этом городе.

Однажды в мой очередной приезд в Таллинн я поджидал Инну, после её работы, в просторном гулком пустынном холле «Дома печати», пристроенном гораздо позже к девятиэтажному зданию типографии. В этой типографии Сергей Довлатов в 1972 году, уехав из Ленинграда, собирался издать свою первую книгу «Пять углов», таких памятных и мне по моей бесшабашной жизни в Питере, где я с 1975 года, почти три года жил, учась в аспирантуре. А Довлатов с 1972 по 1975 год работал в Таллинне, причём, сразу в нескольких газетах: «Советская Эстония», «Вечерний Таллинн» и ещё какой-то в морском порту. В Ленинграде же, откуда он приехал в Эстонию, ему нигде не удавалось напечатать ни одного своего рассказа...

Я прохаживался по просторному холлу, поджидая Инну, а из-за слегка приоткрытых дверей бара, расположенного в его углу, прямо-таки валил душистый белый сигаретный дым. Слышались весёлые голоса пьющих там кофе, и не только кофе, журналистов, собирающихся после трудового дня в этом уютном, с приглушённым светом, заведении. Поболтать за чашечкой кофе с ликёром «Старый Таллинн», обсудить новости, просто посудачить, перемывая кости своим коллегам журналистам из многочисленных газет, редакции которых размещались в этом четырёхэтажном здании «Дома печати».

Ожидая Инну, я размышлял, не зайти ли и мне в бар? Выпить кофе? Поболтать с моими приятельницами, которые наверняка сейчас там, в пятничный вечер, в конце рабочей недели. С Эллой Аграновской, «окучивающей», по её словам, культуру в газете «Советская Эстония», или Этери Кекелидзе, работающей в той же газете, но занимающейся в основном экономикой. Или с Еленой Скульской, их подругой и журналисткой, пишущей ещё и книги. И которая была знакома с самим Довлатовым и даже переписывалась с ним, когда он в 1978 году укатил в Америку...

Правда, зайдя в бар и зацепившись там языком, я мог пропустить Инну, которая должна была уже вот-вот появиться из издательства, где она работала не то редактором, не то корректором, то есть, направителем, исправителем, в переводе с латинского.

В бар зайти я так и не решился, поскольку Инна для меня была важнее всех остальных моих здешних знакомых дам...

И она действительно, словно видение, появилась не верхней площадке широкой лестницы, ведущей в холл со второго этажа, откуда, с двух сторон застеклённый, тянулся переход в издательство. Легко, с улыбкой и развевающимися светлыми волосами, Инна спускалась по широким ступеням. И казалась мне такой волшебной, такой воздушной, словно Фрэзи Грант. Прекрасная юная девушка — видение из повести Александра Грина «Бегущая по волнам», неумолимо приближающаяся ко мне. И ею в этот миг невозможно было не залюбоваться...

— Ну что, заждался меня? — спросила Инна, подойдя ко мне и непринуждённо чмокнув в щёку.

— Заждался, — честно признался я.

— Заглянем в бар или сразу пойдём в «Каролинку»? — уточнила она.

— Как хочешь, — отозвался я.

— Тогда давай вот как сделаем. Сходим на «русское кладбище». Тем более что тут недалеко. Я же обещала показать тебе могилу Северянина. А потом, нагуляв аппетит, отправимся в «Каролинку». Идёт?

— Идёт, — согласился я.

«Русское кладбище» было действительно недалеко от «Дома печати». А на нём, рядом с одной из асфальтированных, смоченных дождем до глянцевого блеска и непроницаемой черноты, и от этого, казалось, неведомой глубины дорожек (на которые даже как-то страшновато было ступать), расчерчивающих кладбище на аккуратные сектора, располагалась могила Игоря Лотарева, известного большинству его поклонников под именем Игорь Северянин. Умер он от сердечного приступа в 1941 году уже не в Ревеле, переименованном в 1919 году, а в Таллинне, во вновь оккупированной немцами Эстонии... Во время уже Второй мировой войны двадцатого века...

На коричневатой гранитной плите на могиле поэта выбиты строки из его стихотворения:

*Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!*

* * *

Так вот, в тот неудобный, но такой знаменательный для меня октябрьский осенний вечер мы с Инной после «Каролинки» отправились на улицу Паэ вместе. В небольшую аккуратную, уютную двухкомнатную квартирку Инны. За всеми тремя окнами которой (из кухни, гостиной и спальни), выходящими с её первого этажа на одну сторону длинного пятиэтажного серого панельного дома, на некотором отдалении, на вершине холма, действительно стоял старинный побелённый маяк, включающийся в тёмное время суток.

Маяк этот, с облупившейся во многих местах известкой, отчего-то напоминал мне одноглазого усталого циклопа, напряжённо глядящего в морскую даль. В ожидании: «Не мелькнёт ли там, на горизонте, желанный парус?» Только не Одиссея, который выколол глаз на Острове циклопов его брату Полифему (именно такие размышления я отчего-то приписывал маяку, ассоциирующемуся у меня с циклопом), — а авантюрного, неунывающего, отважного Синдбада-морехода, который глаз «циклопа — маяка» заострённым бревном только повредил. И хотя глаз впоследствии почти полностью затянулся белым бельмом, циклоп на Одиссея был, похоже, не в обиде. Ибо он не был таким хитрецом, как Одиссей, которому наш отец Посейдон отомстил за Полифема, препятствуя его скорому возвращению, после десятилетней войны у стен неприступной Трои, домой на остров Итака, к жене Пенелопе. Принудив ещё десять лет бесцельно скитаться по морям...

Правда и мой глаз из-за бельма стал плохо видеть и слабо пропускает свет. Оттого, наверное, и свет маяка теперь, исходящий из моего единственного ока, выглядит таким мертвенно-бледным, тревожным, как таинственный лунный свет...

Маяк явно страдал от одиночества, но всё равно ненавидел постоянно орущих, дерущихся из-за еды у мусорных баков, чашек, кажется, забывших о своей свободе и морском просторе...

Своим толстым, как бревно столетнего дуба, упругим потоком света он упорно пробивал темноту ночи. И, если штора в спальне оставалась не до конца задёрнутой, мы с Инной могли видеть этот, пожалуй, не менее метра в диаметре, цилиндр ярко-жёлтого света, внутри которого, как мне представлялось, словно в тоннеле, была чёрная космическая мгла и пустота. И чайки, пронзающие световую оболочку мощного светового потока, потеряв вдруг в нём, как в вакууме, опору для крыл, безумно металась и в испуге кричала ещё более истошно...

— Не люблю чаек. Впрочем, как и голубей, — лениво проговорил я.

Не знаю отчего, но обе эти породы птиц с раннего детства были мне несимпатичны.

И когда я, в общем-то, мимоходом, не зная даже зачем, произнёс эту необязательную фразу о чайках и голубях, Инна, лукаво и кокетливо взглянув на меня, спросила: «А меня ты любишь?..»

Я ничего не ответил, а только глубоко вздохнул. Поскольку ответ был очевиден. О моих чувствах говорили все мои действия по отношению к ней. Это во-первых. А во-вторых, я вспомнил строки из стихотворения Анны Ахматовой: «...О, есть неповторимые слова! Кто их сказал — истратил слишком много. Неистощима только синева Небесная и милосердие Бога». Оттого и не хотелось мне лишней раз всуе произносить сокровенные слова...

Не получив ответа, Инна встала с кровати и нагишом пошла закрывать шторы, словно это она мешала моему ответу. А я любовался её таким совершенным, точёным, словно облитым призрачным лунным светом, и таким желанным телом. В который уже раз, с каким-то сладким замиранием сердца, думая: «Как мне сказочно повезло с переводчицей...»

И тут же отчего-то вспомнил прекрасную повесть чукотского писателя Юрия Рытхэу «Вэкет и Агнесс», которую уже очень давно, в 1972 году, когда она только появилась в печати, я прочёл в его книге «Самые красивые корабли».

Хорошо помню тот год ещё и потому, что я тогда окончил факультет охотоведения (единственный в Советском Союзе) в одном из институтов Иркутска, получив диплом с формулировкой «Биолог-охотовед».

В той чудесной повести Рытхэу тоже говорилось о любви. Обычного молодого чукотского оленевода Вэкета к эстонской студентке Агнесс, приехавшей на Чукотку собирать материал о коренных народах севера. И в этом сюжете сейчас прослеживалась какая-то параллель между мною и Инной. Но, если для Вэкета их недолгий роман в его краях превратился в настоящую любовь, то для Агнесс — это было лишь мимолётным экзотическим приключением. И содержание той повести, так поразившей меня в мои тогдашние, как я теперь понимаю, совсем ещё юные лета, и наши с Инной отношения, всё это как-то очень причудливо переплелось в моем сознании. Только, будто бы, в перевёрнутом с ног на голову виде. Поскольку не я для Инны, а, скорее всего, она для меня стала некой очаровательной прибалтийской экзотикой. Но я, в отличие от Вэкета, не был уже свободен. Отчего и наши отношения с Инной не могли иметь дальнейшего развития. И это печатью печали лежало на сердце моём...

И, возможно, именно поэтому я частенько напевал про себя строку из чукотской песни, присутствующую в сборнике, где была напечатана повесть «Вэкет и Агнесс»: «Самый красивый корабль — тот, что проходит мимо...» По-видимому, именно таким кораблём для меня самого была Инна...

А, ко всем прочим моим немислимым желаниям, ещё так же нестерпимо хотелось известности и славы!..

Такой же, скажем, какая сразу обрушилась, как снежная лавина, не повредив, впрочем, автору, на совсем молодого ещё Юрия Рытхэу, после его первых книг...

Справедливости ради стоит сказать, что известности мне хотелось в большей степени даже не для себя, а для того, чтобы Инна могла гордиться мною. Мне же самому гораздо важнее было научиться писать настоящую прозу...

И помнится, что я даже пытался придумывать собственные жанры. Акварель, мозаика, плетение каната, роман-параллель.

Так, в жанре акварель, в холодные февральские ночи с завыванием ветра за окном, у меня, на нашей кухне в ангарской квартире, был написан один из первых моих рассказов «Три летних дня в конце июня...». В нём говорилось о трёх поколениях бабочек-однодневок, которых я одарил самыми длинными днями в году. А значит и самыми длинными жизнями. Кроме бабочек в этом рассказе говорится и о трёх обычных днях двух молодых людей — юноши и девушки, успевших натворить за это время столько глупостей, что и в трёх жизнях они, казалось бы, не смогли уместиться...

В рассказе этом всё было именно акварельно. То есть, краски размыты до нужного колорита, до узнаваемости форм и пейзажа, но не кричащи, как, скажем, мазки масляными красками, а, будто бы, стыдливы. И в нём было много воздуха и солнца, ненастья и утреннего белого тумана, и дождя, и предчувствия счастья, и предчувствия светлой печали, и разочарования. А для бабочек-однодневок — это была ещё и самая возможно длинная жизнь. Такая разная для них в солнечный и ненастный день, когда в счастье не верится, и все краски видятся серыми...

И молодые люди, и бабочки просто не догадывались, что счастье живёт не где-то вовне, а внутри них самих. И его надо только отыскать в своей душе...

Рассказ этот, чем я очень горжусь, «невероятно понравился», — с её слов, талантливой, чуткой на фальшь поэтессе Татьяне Суровцевой, с которой я был знаком...

В этом же жанре написан и рассказ «За шторой с этой стороны» с подзаголовком «Новогодняя история». Где за одну только Новогоднюю ночь (когда время, будто бы, бесконечно растягивается) с героем происходит столько разительных, и противоположных порою, превращений и перемен, что впору воскликнуть, повторив слова Достоевского: «Широк русский человек! Слишком даже широк. Я бы сузил...» Но именно в Новогоднюю ночь, когда все надеются на что-то волшебное и ждут чудес, которые, впрочем, могут и не произойти, такие метаморфозы с людьми вполне возможны...

В жанре параллель у меня написан мой первый роман «Не оглядывайся назад...». И эта книга, на мой взгляд, лучшая из всех моих книг. А одна дама — весьма известный фотохудожник — даже сказала мне как-то: «Владимир, я уверена, что ты родился именно для того, чтобы написать этот роман». Кстати, в 2015 году, когда он, через десять лет после его выхода в Иркутске, был издан в Москве, в серии «Сибиряда», в издательстве «Вече», он, по каким-то там Интернет-опросам, стал в огромной русскоязычной общине Германии «Лучшим романом года».

Думаю, что стоит несколько слов сказать и о самом моём романе, и отчего у него такой странный жанр — параллель?

Дело в том, что судьбы двух героев книги движутся, хоть и в разных временных отрезках (одного из героев мы знаем только по его дневниковым записям, а другой действует, как говорится, здесь и сейчас), но, как бы, параллельно. Правда, это только на первый взгляд. Ибо герои, несмотря на то, что они очень похожи друг на друга и привычками, и своим поведением, и многими другими вещами, на самом деле очень разные. Более того, в любую минуту эти параллельные линии их судеб могут стать перпендикулярными. Поскольку один из героев обычный, как и большинство из нас, конформист, а другой имеет свой внутренний стержень и не пойдёт ни на какие уступки и уловки, ни под каким «благовидным» предлогом...

В жанре мозаики, да ещё с краплением в повествование сиюминутных событий, то есть, происходящих непосредственно в данный момент, у меня написана

повесть «Живая душа», о маленьком рыжем котёнке. Она действительно как бы составлена из отдельных разноцветных мозаичных кусков, отрезков жизни. Ведь дни наши бывают не только светлыми, но и очень тёмными, и очень радостными, и обыденными — серыми...

И всё это — мои ощущения и чувства, диалоги с близкими людьми, всю ту разнородность, которая присутствует в нашей жизни, мне надо было выстроить в одно полноценное цельное мозаичное полотно, в котором бы не было видно и не чувствовалось «швов» между отдельными фрагментами. Подобно тому, как это сделал в своё время Михаил Васильевич Ломоносов, сложив в 1764 году из смальты огромную (4,81 на 6,44 метра) картину «Полтавская баталия». Так, помнится, поразившую меня в здании Академии наук на Университетской набережной, в тогдашнем Ленинграде. Здание Академии находилось совсем недалеко от Зоологического института, куда я поступил в аспирантуру 1 октября 1975 года, пришел в Академию по каким-то своим аспирантским надобностям, не помню уже точно по каким...

И вот, поднимаясь по широкой мраморной светлой парадной лестнице, я увидел на стене над первым пролётом лестницы, в прекрасной позолоченной раме, эту огромную картину! И всё в ней, снизу лестницы, по которой я поднимался до площадки после первого пролёта, выглядело невероятно цельным и гармоничным! И только с самого близкого расстояния были видны отдельные разноцветные кусочки смальты...

Что же касается нынешнего повествования, то жанр его, по-моему, близок к кропотливому плетению из разноцветных нитей и волокон прочного каната, способного вытянуть из глубин памяти многое, казалось бы, давно уже забытое. Людей, с которыми встречался. Пейзажи тех мест, где происходили те или иные события. Разные города, в которых мне довелось бывать. И какая была погода...

В какой-то степени, плетение этого каната напоминает плетение истории, состоящей из отдельных судеб людей, состоявшихся или не состоявшихся в своих устремлениях, но без которых она будет не полной. Оттого это повествование и может претендовать, если уж не на исторический роман, то на некий историзм времени. Моего времени. Времени моего поколения...

И именно в связи с этим историзмом (поскольку все люди в моём повествовании реальны — известные, очень известные, и не известные вовсе), я думаю, будет уместным привести строки из стихотворения Булата Окуджавы о написании им исторического романа «Путешествие дилетантов» (1976, 1978 годы):

*Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь, как в туман,
от пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
Было вымысла в избытке, (у меня этого в данной вещи почти нет совсем)
и из собственной судьбы
я выдёргивал по нитке... (а вот этого было в достатке)*

Но продолжим сие повествование с того, на чём оно остановилось.

А остановилось оно в Таллинне, в спальне Инны Мартоя, с промозглой октябрьской ночью за окном...

Инна закрыла створку немного приоткрытого окна, задёрнула до конца плотную коричневую штору. И в спальне сразу наступила сначала тишина, а затем и

абсолютно непроницаемая темнота, слегка разбавленная лунным светом и светом маяка, несмело проникающим из-за не задёрнутой шторы из смежной комнаты. А через какое-то мгновение, в этой, уже не такой абсолютной, темноте и тишине, я почувствовал, как под наше невесомое одеяло проскользнула Инна, и я ощутил жар и упругость её тела, прижавшегося ко мне. И, казалось, неведомый до сих пор восторг от всего происходящего наполнил меня невероятной лёгкостью, поднимая куда-то ввысь, будто приятная, тёплая, ласковая океанская волна...

В такие счастливые минуты Инна иногда, как будто в полузабытьи, ещё плотнее, с каким-то уже неистовством, прижимаясь ко мне, словно в горячечном бреду, начинала шептать, обдавая своим горячим дыханием мою щёку: «Ma armastan sind»...

Я знал, что эти слова означают: «Я люблю тебя», которые Агнесс, увы, так и не сказала Вэкету из повести Юрия Рытхэу «Вэкет и Агнесс», и которых он так от неё ждал, ни по-русски, ни по-эстонски...

Я очень боялся спугнуть эти слова или не услышать их вновь. Уже после того тайфуна, который какое-то время бушевал в нас обоих...

И когда мы, после этой неистовой бури, закружившей нас в водовороте безумной страсти, лежали рядом, наслаждаясь минутами покоя, будто выброшенные ураганом с разбитого корабля на белый, тёплый песок чудесного необитаемого острова, на котором были одни, и никто нам был не нужен, я пытался повторить эти слова вслух: «Ma armastan sind...». А Инна, уже снова чуть лукаво глядя на меня, спрашивала:

— Это ты мне? Или заучиваешь фразу для какой-нибудь неведомой мне эстонской красотки помоложе меня?..

— Куда уж моложе, — отвечал я. — Ты, по сравнению со мной, девчонка. Я старше тебя на двенадцать лет. На полный зодиакальный цикл по восточным календарям Китая, Японии, Кореи. А к тому же, возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в двадцать лет, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца своих дней...

— Это ты сам придумал? — поднимала голову от подушки Инна, с каким-то новым интересом глядя на меня.

— Нет, — честно сознавался я. — Так говорил Альберт Эйнштейн, заметь, весьма неглупый человек. А кстати, почему ты в некоторых случаях, как бы неосознанно, переходишь на эстонский язык? Он что, тебе ближе?

— Не знаю, — беспечно ответила Инна, — и тоже спросила. — А тебе что, не нравятся эти слова на эстонском языке?

— Конечно, нравятся. И даже очень, — честно ответил я...

О возрасте самой Инны, поскольку она была женщиной вне возраста, я узнал, в общем-то, случайно, спросив её однажды:

— Инна, а ты не переводила рассказы Довлатова, в то время, когда он жил в Эстонии?

— Когда он сюда в 1972 году приехал из Ленинграда, отработав, кстати, у нас в городе сначала три месяца кочегаром в котельной, чтобы получить прописку в Таллинне, мне было только двенадцать. Я родилась в 1960 году.

«А я в 1972 уже окончил институт, — подумал я. — И до моей женитьбы на Наташе оставалось ещё восемь лет...»

Наташа была именно той постоянно саднящей, не дающей моей совести покоя, если и не раной, то напоминающей о себе занозой. Причём, весьма болезненной...

И всё-таки, даже несмотря на уколы совести, в минуты беспредельной нежности и покоя с Инной, мне начинало порою казаться, что всё как-то само собой образуется. А это вот счастье, испытываемое нами сейчас, будет полным и долгим, почти бесконечным. И ни о чём другом, отгоняя тревожные мысли, я старался не думать. Даже о своих рассказах и Наташе. Хотя, в полной мере мне это никогда не удавалось...

И, чтобы заглушить уколы совести, я старался размышлять на какие-нибудь посторонние темы. Скажем, что такое счастье вообще? И даже придумал для этого невероятного явления свои определения. Например, счастье — это полнота бытия. Или, счастье — это гармония с самим собой и окружающим тебя миром... Или вспоминал так нравящееся мне изречение Конфуция об этом предмете: «Счастье — это когда тебя понимают (герой фильма «Доживём до понедельника», школьник, в своём сочинении о счастье написал именно эти строки), большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты».

У меня, вроде бы, имелись все эти три составляющие. И, тем не менее, я чувствовал, что моё счастье с Инной было с горчинкой...

И вспоминалось, как Хемингуэй, нарочно приземляя это понятие, говорил, что: «Счастье — это крепкое здоровье и слабая память». И добавлял порою, когда его упрекали в излишнем пьянстве: «Я пью, чтобы окружающие меня люди становились интереснее...»

Что касается моих определений счастья, надо сознаться, что полной гармонии с самим собой и с окружающим меня миром у меня всё же не было. Да и не могло быть, пожалуй, в силу многих обстоятельств...

Впрочем, порою мне, будто убаюканному ощущением призрачного покоя, начинало казаться, что даже само время больше не имеет над нами с Инной, ставшими единым целым, никакой власти. Оно словно замерло, прекратив свой безудержный всегдашний бег, продлевая для нас эти прекрасно-безумные, становящиеся будто бесконечными минуты, когда ты почти реально чувствуешь, как весь беспредельный космос растворяется в тебе, а ты сам весь, без остатка, растворяешься в другом человеке, как в космосе. В этих, таких недолгих, мигах бытия. Такого полного, такого острого, такого непредсказуемого и такого неповторимого...

«Да, прав был Экзюпери, — настоящая радость — это разделённая радость...», — частенько думал я в такие мгновения.

Жаль только, что счастье — это, несомненно, очень хорошая, но невероятно хрупкая штука...

— Ты напишешь о нас? — уже сонно спрашивала Инна, по-прежнему прильнув ко мне. И через какое-то время добавляла. — Заметь, как умная девочка, я не прошу тебя писать мне, хотя, не скрою, твои, увы, такие нечастые письма мне нравятся. В них есть какая-то свежесть, что ли. Как от бодрящего лёгкого морозца. И в них всё так чётко, так чисто, так ясно. Кроме наших дальнейших отношений, — с грустью добавляла она....

— Обязательно напишу, — обещал я, чтобы не углублять затронутую Инной тему наших дальнейших отношений. Имея в виду, в том числе, и свои письма к ней, которые я, действительно, изредка писал в Таллинн. — Не знаю только, смогу ли написать о нас достаточно хорошо. Ведь искренние настоящие чувства можно выразить только искренними настоящими словами. А их так трудно бывает порою найти. Тем более что двое, как писал Довлатов, — это больше, чем ты и я. Двое — это мы...

— Жаль, что это опять не твои слова, — комментировала Инна процитированную фразу. И тут же, словно ветреная женщина, добавляла. — Знаешь, не усложняй жизнь. Ты сможешь написать как следует. Я это чувствую по твоим рассказам. И верю в тебя. Надо только начать, — уже почти засыпая, замедленно произносила она.

И я, с нежностью глядя на её словно светящееся лицо и тело уже привыкшими к полутьме глазами, думал, вспоминая всё того же Хемингуэя: «На свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно поговорить». С Инной можно было и говорить. Она была умной женщиной. И говорить с ней было интересно...

Правда, умные люди, по утверждению всё того же «старшины Хэма», чрезвычайно редко бывают счастливы. Наверное оттого, что у них слишком завышенные требования к окружающим их современникам...

Но, несмотря на все эти невесёлые мысли, мне так хотелось верить словам Инны о том, что я всё смогу. И у меня ведь уже напечатали два рассказа в их журнале «Радуга», подбадривал я себя...

А ещё в эти минуты неопикуемой растворённости в беспредельном космосе весь физический мир, в котором мы живём, начинал казаться мне только нашим представлением о нём. И я готов был верить богословам, утверждающим, что наше тело — это не собственность человека, а только его оболочка. И есть в нас нечто большее, не вмещающееся в телесные рамки, выходящее за них, особенно в наши самые счастливые минуты бытия...

— А ты знаешь, что об искусстве говорил Пикассо? — никак не унималась Инна, продолжая противиться сну.

Нам с ней нравилось лежать вот так рядом — рука в руке (разъединиться, отчего-то, было страшно) и говорить о чём угодно. О разных пустяках и серьёзных вещах.

— Не знаю, — отзывался я.

— Он говорил что искусство — это ложь, это обман, который, тем не менее, лучше всего выражает правду. Так что приври чего-нибудь, для красоты слога, — улыбалась она, — и всё получится.

— Ну, ты, Инна, прямо как Пауль Йозеф Геббельс. Это же он говорил: «Врите больше — чему-нибудь да поверят».

— Нет, ты не понял, здесь всё не так прямолинейно, здесь всё гораздо тоньше. Кстати, и твой любимый Хемингуэй говорил, что «Хорошие книги похожи друг на друга: они правдивее жизни...» — вот в чём суть. И ты, я уверена, сможешь сделать что-то подобное, то, что будет красивее и лучше жизни. Оставляющее человеку надежду, что смерти нет...

— Я думаю, что её и в самом деле нет, — отвечал я, впрочем, не очень уверенно. — Поскольку, в противном случае, факт нашего рождения и нашей земной жизни превращается в полную бессмысленность, в абсурд. И тот же Конфуций, кстати, утверждал: «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем ещё, что такое жизнь?»

— Давно говорил? — хитро улыбаясь, спрашивала Инна.

— Давненько. Лет за пятьсот до нашей эры. Спи давай, а то уже едва языком ворочаешь.

— А поговорить?! — деланно возмущалась Инна фразой из старинного анекдота про алкашей.

— Ну, тогда слушай. Мне больше высказывания Пикассо нравится фраза одного мальчика — вундеркинда из Сингапура Коули Айна, нашего современника. Вот что он говорил, когда ему было не то семь, не то девять лет: «Плохого искусства не существует, потому что если оно плохое, оно больше не искусство». В этом-то и есть основная трудность. Как написать так, чтобы это было искусством, а не графоманией, не дневником твоих настроений, не зеркалом для героя, в котором отражаешься только ты сам. А если копнуть глубже, то на поверку мы сталкиваемся всё с тем же старым и так и не решённым до конца вопросом: время определяет облик искусства или искусство формирует жизнь в её смысловых категориях, надеждах и ожиданиях. То есть, настоящее искусство, и в этом ты права, прежде всего, не должно лишать человека надежды. А хорошая книга — это всегда надежда на что-то лучшее. Более того, хорошая книга, в какой-то мере, неизбежно меняет человека, ибо главный наш враг — это мы сами, по большому-то счёту. А человек, изменившийся к лучшему, потом меняет к лучшему и мир. Да, век может быть жестоким, даже беспощадным, но право автора не копировать мир. Ибо проза жизни зачастую состоит в том, что мы хотим что-то сделать, но не делаем. Как в анекдоте: «Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда...». А ведь «царствие Божие трудом нудится...». И о надежде. Конечно же, читатель должен ощущать в произведении литератора надежду. Но именно надежду, а не утопию. Поскольку без надежды мир пуст и пошл. А пошлость, в культуре ли, в отношениях между людьми — это, на мой взгляд, основное оружие дьявола. Он постоянно, с фанатичным упорством строит и предлагает нам своё беспросветно светлое будущее. А настоящая литература ему в этом как раз и противостоит. Поэтому-то не надо никогда подстраиваться под время или под век с его зачастую убогими и неприемлемыми для нормального человека нравами, как это делают так называемые модернисты всевозможных толков. Автор обязан сам управлять временем. То есть, как и Творец, стоять над ним. Ведь он тоже творец, хоть и гораздо меньшего масштаба. Да и основной целью искусства, на мой взгляд, является, как я уже говорил, не какая-то модернистская заумь, а передача смысла, фундаментом для которого служит постоянная борьба добра и зла... — Я умолкал, не ощущая уже никакой реакции на мои запальчивые слова, и слыша только мерное дыхание Инны, убаюканной моим монологом...

Она всегда засыпала первой. А я, прислушиваясь к её размеренному, спокойному, глубокому дыханию, ещё какое-то время размышлял о разных разностях, тревожащих меня. А ещё — о ней и о себе. О Наташе. О своей пока никак не складывающейся литературной судьбе. И о том, как непросто, не только у меня, и особенно вначале, торить писательскую тропку.

«Вот и Довлатов, — как бы утешал я себя, — из Ленинграда, где его рассказы не публиковались и отвергались журналами, приехал в Эстонию, надеясь издать свою первую книжку «Пять углов», в том самом издательстве «Ээсти Рамаат», прилегающем к зданию с редакциями крупнейших эстонских газет. Однако набор его книги, которая должна была выйти в 1975 году, по решению КГБ (Комитета государственной безопасности) Эстонии был уничтожен. И он вернулся в Ленинград ни с чем. А вернее с тем, с чем уехал. Со своей неопределённостью в том, что у него есть хоть какое-то место в литературе, в своей стране. С неверием в то, что его книги когда-нибудь будут изданы. С семейной и житейской неустроенностью. С безденежьем...

Что же касается Питера, то в нём Довлатов с матерью жил до 1974 года в

коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 23, квартира 34, в которой жила, кстати, и его первая жена Ася Пекуровская, такая ленинградская Манон Леско. Правда, Довлатов, хоть и был моложе Аси на один год, верным кавалером Де Грие для неё не стал. Они прожили вместе только два года, с 1960 по 1962, и расстались, когда Довлатов служил в армии...

Мне, кстати, очень хорошо была знакома и эта улица, и коммунальный быт ленинградских квартир.

Дело в том, что во время моей учёбы в аспирантуре я частенько бывал в подобной квартире, и именно на улице Рубинштейна, у моих хороших приятелей — прекрасного актёра, снявшегося даже (хоть и в эпизодической, но очень запоминающейся роли) у Андрея Тарковского в его фильме «Солярис», Георгия Тейха и его гражданской жены Татьяны Милеант (дамы с греческими корнями), работавшей художником на «Ленфильме». Георгий Тейх был старше Татьяны на сорок лет, а меня — на сорок два года, но общаться с ним было легко, просто и приятно. А свел меня с ним, за что я был ему благодарен, его сын Юрий Тейх — актёр и поэт, с которым я, в свою очередь, познакомился чуть раньше...

Юрий служил в каком-то театре (не помню в каком), писал басни и стихи. В 1978 году, когда мы с ним были уже несколько лет знакомы и дружили, невероятно популярный тогда бард Юрий Кукин, чью песню «Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды и тоски. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги...» напевала, без преувеличения, вся наша необъятная страна, написал ещё и песню «Беда» на стихи никому неведомого Юрия Тейха. Песня эта была уже не так заметна, как песня «За туманом», написанная значительно раньше, но имя поэта замелькало в ленинградских газетах, запоминаясь своей необычностью...

...Но, вернёмся в Ленинград 1977 года. В Дом актёра, где мы с Юрием Тейхом пропивали его уже второй (первый был из газеты «Знамя коммунизма») литературный гонорар из Сибири, добавляя на очередную бутылку шампанского ещё из наших заначек. А я, изрядно захмелев, рассказываю ему, как сам распорядился своим первым гонораром в три с половиной рубля, полученным за три стихотворения, опубликованные в газете «Знамя коммунизма».

— Помню, я так обрадовался и тому, что мои стихи опубликовали. И тому, что за них ещё и заплатили, — говорил я Тейху, согласно кивавшему головой, — что на радостях позвонил приятелю и настоящему поэту Толе Кобенкову, сообщив ему об этом. А он предложил это дело обмыть.

— Первый гонорар — это событие, — солидно проговорил Толя, предложив мне такой вариант. — На бутылочку водки (тогда она стоила, кажется, 3,12) и полбулки чёрного хлеба тебя хватит. А я куплю банку консервов «Килька в томатном соусе» и мы с тобой в скверике за «Современником» это дело отметим. — Что мы впоследствии и осуществили, сидя на лавочке в тихом и безлюдном осеннем парке за Дворцом культуры «Современник». Но для этого Толе надо было ещё придумать, как «слинять» из дома под благовидным предлогом...

— Давай, встретимся с тобой через полчаса, — продолжил Толя наш телефонный разговор. — Я как раз придумаю повод для Тamarки (его жена) и слиняю, например, выбросить мусор...

Однажды он, кстати, действительно вышел выбросить мусор (в тапочках и трико с оттянутыми коленками) и удачно встретил идущего ему навстречу художника, продавшего за хорошие деньги в ДК «Современник» несколько своих картин.

Толя, вывалив мусор, оставил пустое ведро у мусорного бака, и они отправились в ближайший ларёк «выпить по кружечке пива»...

После чего Толя пропал вместе с художником на два месяца. И уже в конце сентября Тамаре пришла от него телеграмма из Москвы: «Тома, вышли денег обратную дорогу, главпочтамт “До востребования,,».

Впоследствии выяснилось, что они с художником (не стану называть его имени, поскольку он ещё жив и здоров, слава богу), приехавшим по предварительной договорённости для продажи картин в Ангарск из Иркутска, выпив пива, добавили потом ещё и водочки. А потом решили улететь из ненастного сибирского августа на юг, где у художника жила тётка. Что и осуществили, отправившись сначала автобусом из Ангарска в Иркутск, а оттуда, уже самолётом, на юга. А там, просядив все деньги от продажи картин и заняв у тётки художника денег на обратную дорогу, укатили поездом в плацкартном вагоне в Москву. Где поселились у Толиных знакомых в общежитии Литинститута, в котором заочно учился и сам Толя...

Конечно, о приключениях моего приятеля Толи я Тейху рассказывать не стал.

У Георгия Тейха, прекрасного рассказчика и собеседника, я познакомился со многими известными актёрами, тоже частенько забегавшими к ним по вечерам на огонёк.

А Татьяна, простив мне моё «коварство» — продажу кожаного пиджака, такого модного и такого редкого в те годы, не ей, а «какому-то грузину», не раз водила меня потом, когда у меня было свободное время, на «Ленфильм». Познакомив там однажды со вчерашней школьницей, снявшейся (в 15 лет) у очень хорошего режиссёра Динары Асановой в 1975 году в фильме «Не болит голова у дятла» Леной Цыплаковой, с которой мы порою, когда у неё был перерыв, любили болтать, сидя на широком низком подоконнике в коридоре «Ленфильма»...

В основном же павильоне «Ленфильма» заканчивались съёмки советско-американского фильма «Синяя птица» по Метерлинку. Где играли такие зарубежные звёзды, как Элизабет Тейлор и Джейн Фонда. А также прекрасные наши актёры — Маргарита Терехова, Георгий Вицин и другие. И мне, при содействии Татьяны, иногда удавалось наблюдать за завораживающим процессом съёмок. А кое с кем из актёров посчастливилось (для меня, во всяком случае) даже познакомиться затем в буфете киностудии, где подавали не только редкие по тем временам сосиски с зелёным горошком и пиво, но и чудесный, крепкий ароматный кофе...

Одним словом, жизнь моя в Ленинграде во второй половине семидесятых годов прошлого века была весьма насыщенной, разнообразной и интересной. Хотя и неопределённой. И туманной, а оттого и почти беспросветной, даже в самой ближайшей перспективе...

Будущее своё с наукой, во всяком случае мысленно, я уже не связывал, хоть и не распространялся об этом...

Мне было уже двадцать семь лет. И надо было что-то решать. «Лермонтов в двадцать семь уже погиб на дуэли, став классиком русской литературы», — с горечью размышлял я, а я ничего ещё не сделал по-настоящему. Прямо-таки, какой-то синдром отложенной жизни: «Это я сделаю после. Это я начну с понедельника. Скоро всё устроится». И так далее, и тому подобное в мифическом ожидании светлого будущего... А ведь жизнь не бесконечна, и можно прозевать отпущенное тебе на что-то важное время... Недаром же сказано мудрыми людьми: «Долго ли ждать перемен к лучшему? Если ждать — то долго...» К тому же, я был уверен, что все мы приходим в этот мир с определённым предназначением. Частенько

вспоминая изречение Архимеда о том, что мы почти ничего не можем поделаться с длиной жизни, но можем сделать многое с её шириной и глубиной. А писательство как раз и мыслилось мне как глубина жизни. И я продолжал мечтать о том, что обязательно стану литератором. Сказав когда-нибудь, как Хемингуэй: «Работа — это главное в жизни. От всех бед можно найти одно избавление — в работе...» Можно только добавить к этому — в любимой работе.

Но вот любимой работы — этого главного в жизни, как я считал, у меня как раз и не было.

И при этом мне хотелось — причём, желательно, здесь и сейчас — видеть изданными, как у того же Рытхэу, свои собственные книги, которые не были даже ещё написаны. Получать за них хорошие гонорары и другие блага (например, квартиру), как это практиковалось в советские времена для писателей...

Кстати, о гонорарах...

Довлатов свой первый серьёзный гонорар, 400 рублей, получил в 1974 году из журнала «Юность», за рассказ на производственную тему «Интервью».

Четырьмя годами позже, в сентябре 1978 года, направляясь в Ростов-на-Дону на полугодовую учёбу, только теперь уже на бурового мастера, я на несколько дней (благо время позволяло) остановился в Москве, у моего доброго приятеля Андрея Данилова.

С ним мы познакомились на биостанции Зоологического института на Белом море, куда он приезжал от журнала «Техника молодёжи», писавшего, в том числе, и о научных изысканиях молодых учёных, к ряду которых он причислил и меня. В частности у меня Андрей брал интервью, интересуясь моей параллельной работой по изучению байкальских (пресноводных) и беломорских (морских) амфипод в естественной среде их обитания...

В тот свой приезд в Москву я собирался разузнать всё о Литературном институте и побывать в нём, на Тверском бульваре, 25...

Примерно за год до этого я покинул Питер, так и не закончив до конца, к немалому изумлению своих коллег, поскольку всё уже шло, вроде бы, к защите диссертации, аспирантуру. Твёрдо решив не тратить зря времени ни на что, кроме достижения своей главной цели — стать писателем.

До поездки в Ростов я уже успел поработать обычным буровиком, устроившись в «СМУ—Водстрой» — контору, занимавшуюся бурением скважин на воду по всей Иркутской области. Сменив, таким образом, мраморные ступени парадной лестницы Зоологического института и свой белый халат на грязный вагончик-бытовку, замасленную телогрейку, ватные штаны и безразмерные серые валенки с калошами. И это было, конечно же, в какой-то мере падением. И, чтобы совсем уж не отчаиваться в том, что я загубил свою собственную жизнь и карьеру собственными же руками, я частенько повторял мысленно, как бы утешая, убаюкивая себя и свои сомнения — правильно ли я поступил, бросив аспирантуру, изречение Конфуция: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал». Я тоже надеялся встать в полный рост. И именно на том поприще, которое избрал. А тут ещё, не давая мне возможности уж окончательно впасть в отчаяние, словно подтверждая правильность выбора, и тоже в журнале «Юность», куда меня привёл Андрей, сказавший как-то вечером, когда мы пили на его небольшой кухоньке чай, что он видел подборку моих стихов в журнале...

Честно говоря, я ему не поверил. Точнее, засомневался, не перепутал ли он чего. Ибо стихи свои в «Юность» я отослал очень давно, и на публикацию их

уже не надеялся. Но всё оказалось верно, и я получил за свои семь стихотворений прямо-таки сказочный, не представимый гонорар! 300 рублей! А когда, уже во второй раз, в 1997 году, в этом же журнале, вышел мой «Ненаписанный рассказ» с предисловием Распутина, я не получил уже ничего, кроме отправленного мне из Москвы, даже не самим журналом, а Распутиным, одного экземпляра журнала. Впрочем, и тиражи сего некогда очень популярного издания к тому времени стали уже не миллионными, как в прежние годы...

Получив такой огромный гонорар, я, по совету Андрея, проводившего меня до редакции журнала, совершенно обалдев от столь огромной суммы, купил себе в каком-то магазине у Пушкинской площади, куда Андрей, опять же, привёл меня, пишущую машинку германо-югославского производства «Уникс де люкс» за двести тридцать пять рублей. Машинка эта потом служила мне долгие годы. И я ласково называл её: «Моя Уникс». А оставшихся от гонорара денег, вернее, даже незначительной их части, нам с Андрюхой ещё вполне хватило, чтобы отметить мой успех шампанским и мороженым в кафе «Марс» на нынешней Тверской-Ямской, а тогда улице Горького. Помню, гонорар этот меня тогда просто окрылил. И я ещё больше укрепился в своём намерении стать писателем. Причём, не просто писателем, а хорошим, настоящим писателем. А вот следующий свой гонорар в размере восьмидесяти четырёх рублей, что тоже было приличной суммой, из журнала «Сибирь» за свой рассказ «Рекорд в подарок», опубликованный в нём в 1984 году, я сумел получить только через шесть лет. Похоже, колесо моей личной истории крутилось, в отличие от меня, никуда не торопясь...

А стихов, приведённых ниже, я тогда ещё не знал:

*Первый последним стал в одночасье,
Дождь превратился в снег...
Не торопитесь в гонке за счастьем
В слишком обманчивый век...*

А двадцатый век действительно слишком часто обманывал меня своими миражами. И только упорство и воля, которой я всегда, как мне казалось, по праву гордился, позволяли мне двигаться, хоть и не так быстро, как хотелось бы, дальше, к намеченной цели, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства...

А в конце века, в тридевятом — 1999 году, в солидном, тогда ещё государственном «Восточно-Сибирском книжном издательстве» в Иркутске, у меня вышла, наконец-то, можно сказать моя первая настоящая книга «Формула красоты», в которую вошли две повести и семь рассказов. Книга была настоящей по всем параметрам. У неё был твёрдый переплёт, отличная белая бумага. Она была оформлена профессиональным художником Ириной Цой. До этого же у меня выходили только тоненькие книжки в мягком переплёте.

Правда, к выходу этой первой настоящей книги мне было уже чуть за пятьдесят. И утешало только то, что даже у такого прекрасного поэта, как Арсений Тарковский, его первая книга «Перед снегом» вышла ещё позднее, когда ему было пятьдесят пять лет. У него это случилось в 1962 году. В том же самом году, в котором, к тому времени уже его тридцатилетний сын Андрей Тарковский, прекрасный кинорежиссёр, за фильм «Иваново детство» (снятый по повести прекрасного писателя, фронтовика, военного разведчика Владимира Богомолова «Иван») в Венеции получил главный приз Золотого льва Святого Марка на международном фестивале кинематографистов. И, кстати, это был первый советский фильм, удостоенный столь высокой награды...

А, кажется, в 1980 году мне посчастливилось и лично познакомиться с Арсением Тарковским и даже побывать у него в гостях...

Впрочем, как я сейчас припоминаю, встреча моя с Арсением Тарковским, скорее всего, состоялась всё-таки не в 1980, а в 1982 году, когда я уже учился в Литинституте, и приехал в Москву в июне на сессию. Да, точно. Это случилось в 1982 году.

Ясно вспомнилось, как я со своими однокурсниками, сдав какой-то очередной экзамен, пригласил их в кафе «Аист» на Малой Бронной, недалеко от Литинститута, отметить мой день рождения. И кто-то из однокурсников на этом моём скромном торжестве обмолвился: «А Арсению Тарковскому пять дней назад исполнилось семьдесят пять...»

Вот по случаю этого юбилея, правда, чуть позже, примерно через неделю после него, я и посетил прекрасного поэта у него дома.

А пригласила меня к нему поэтесса Дина Терещенко.

Произошло же сие знаменательное для меня событие, как, впрочем, и всегда почти бывает, совершенно случайно. Хотя и давно известно, что случайностей в нашей жизни не бывает. Ибо случай — это псевдоним Господа Бога...

Наш поэт из Ангарска Анатолий Кобенков отдыхал тогда в Доме творчества в Переделкино. И я туда к нему частенько навещался. Поболтать, отдохнуть в перерывах между экзаменами. И помню, что именно в Переделкино Толя дал мне на два дня почитать только что изданную кем-то толстенную книгу стихов Владимира Высоцкого «Нерв». Книга, а точнее стихи, в отрыве от необычного хриповатого голоса Высоцкого и без его же музыкального сопровождения, поскольку почти все они были песнями, мне не понравились. Разрушилось то магическое триединство — голоса, музыки и слов, которые были, когда сам Высоцкий пел свои песни, аккомпанируя себе на гитаре. Помню, что меня это открытие о том, что стихи в отдельности, в общем-то, не так уж и хороши, удивило, но не огорчило уж слишком...

И вот, в очередной раз приехав в Переделкино, вернул Толе книгу Высоцкого, и он познакомил меня с Диной Терещенко. А она потом привела к Арсению Тарковскому...

Дело в том, что из Переделкино мы вместе с ней отправились на электричке в Москву. Она — по каким-то своим неотложным издательским делам. А я — готовиться к очередному экзамену.

В вагоне электрички, во время недолгой, занявшей примерно полчаса, дороги мы с Диной, которая запретила мне называть её по имени-отчеству, непринуждённо впрочем, болтали о разных разностях...

А когда уже подъезжали к Киевскому вокзалу столицы, она спросила, не хочу ли я заскочить на полчаса к Арсению Тарковскому?

— У него недавно был юбилей, а я его ещё не поздравила. Укатила в Переделкино, — пояснила она. И продолжила, не дожидаясь моего ответа. — Купим где-нибудь по дороге тортик, и зайдём поздравить мэтра. Как тебе такая идея? — спросила она.

— Я — за. Если только это будет удобно, — всё-таки засомневался я.

— Удобно, удобно, — улыбнулась Дина. — Я тебя представлю своим кавалером, не возражаешь? И ты называй меня в гостях просто Диной.

Для меня это было, впрочем, не просто, хотя бы потому, что она была старше и меня и моего одногодка Толи почти в два раза, но я согласился.

Дине Терещенко в 1982 году было уже 67 лет, а мне тридцать четыре...

Впрочем, не очароваться Диной Терещенко было сложно. Несмотря на свой возраст, она была красива усталой осенней красотой. И чем-то необъяснимо неуловимым походила на Марлен Дитрих, любительницу Гёте и Рильке, прекрасную актрису и очень красивую женщину, в которую, в своё время, были влюблены и Хемингуэй, за несколько часов до смерти он звонил ей из Америки в Париж (их связь осталась платонической, а его письма к ней стали книгой), и Ремарк, который написал роман об их отношениях «Триумфальная арка», и Александр Вертинский...

А последним писателем, покоровшим её читательскую душу (Дитрих, как и я, считала писателей небожителями), стал наш советский писатель Георгий Константинович Паустовский (1892–1968), кстати, четырежды номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Более того, им удалось встретиться, о чём Дитрих мечтала много лет.

А произошло сие знаменательное событие так.

Марлен Дитрих в 1964 году приехала на гастроли в Советский Союз.

Ещё в аэропорту обступившие её журналисты спросили, что бы она хотела увидеть в Москве? Мавзолей, Большой театр, Кремль?..

И вдруг эта недоступная богиня тихим голосом отвечает:

— Я хотела бы увидеть Константина Паустовского. Это моя мечта уже много лет.

Все были озадачены её ответом, и стали разыскивать писателя, который лежал в это время в больнице с инфарктом, о чём Дитрих вскоре и сообщили.

13 июля 1964 года Марлен — певица и актриса — выступала в ЦДЛ (Центральный дом литераторов), и ей сообщили, что в зале присутствует Паустовский.

После концерта она попросила его подняться на сцену.

Паустовский вышел, а Марлен Дитрих опустилась перед ним на колени и, поцеловав его руку, залила её искренними, не киношными, слезами, и весь зал встал. А когда смолк гул аплодисментов, Марлен так объяснила свой поступок:

— Самым значительным событием своей жизни я считаю рассказ Паустовского «Телеграмма», который прочла случайно в переводе в каком-то немецком издании. С тех пор я чувствовала некий долг — поцеловать руку писателя, который это написал. И вот — сбылось! Я счастлива, что успела это сделать...

Через четыре года после этой встречи Паустовский умер от инфаркта.

А Марлен Дитрих в своих «Размышлениях» о своей жизни посвятила ему целую главу...

...Арсений Тарковский, насколько я помню, жил тогда, вроде бы, где-то в районе Курского вокзала. А Впрочем, может быть, я снова что-то перепутал, ведь я не настолько хорошо знаю Москву, как знала её Дина, с которой мы шли с Киевского вокзала по каким-то тихим переулочкам пешком.

От посещения Тарковского у меня осталось немного странноватое впечатление.

Сам он почти всё время молчал, изредка внимательно взглядывая на меня, и так же внимательно, не перебивая, слушал безостановочный щебет Дины Терещенко.

От его пронизательного взгляда мне отчего-то становилось зябко.

Он был высоким и сухим. Лицо было изборождено глубокими морщинами, но это абсолютно не портило его. Он казался, во всяком случае мне, по-своему красивым и, что особенно подкупало, ироничным, даже по отношению к себе.

Дина Терещенко, в числе прочего, поведала Арсению Тарковскому и о том, что

встретила в Доме творчества в Переделкино очень интересного поэта из Сибири Анатолия Кобенкова, и пообещала показать ему его стихи.

— А кто ещё из поэтов сейчас в Доме творчества? — спросил её Арсений Тарковский.

— Эдаурд Асадов, — немного сморщив лоб, ответила Терещенко, вызвав на сухом лице собеседника чуть заметную ироничную улыбку.

А я вспомнил, как Толя в столовой Дома творчества, куда мы зашли пообедать, когда я, в очередной раз сдав какой-то экзамен, позволил себе немного отдохнуть и приехал к нему, показал мне этого слепого поэта, кивнув в его сторону и сказав: «Вон, там, в углу, сидит Асадов».

Он обедал в дальнем углу столовой, со своей чёрной, кажется бархатной, повязкой на глазах...

— Вроде бы собирается приехать Межиров, — продолжала Дина Анатольевна (всё-таки, хотя бы в мыслях своих, я не мог называть её просто Диной, хотя в общем разговоре и старался выполнять её просьбу, называя только по имени).

Вспомнился и эпизод, связанный с Межировым.

Мы с Толей решили немного выпить и отправились в ресторан «Сетунь», насколько я помню, находившийся в Переделкино рядом с железнодорожной платформой. Там, в ресторане я и увидел Александра Межирова, которого знал только по фотографиям в литературных журналах, где печатались его стихи. В том числе и это: «...Молча пей и на судьбу не сетуй в ресторане подмосковном “Сетунь,,».

Мне на мою судьбу в то время сетовать не приходилось. Всё вертелось и крутилось, казалось, вокруг меня, словно в цветном калейдоскопе. Тот же Толя познакомил меня как-то со своим, случайно встреченным нами на платформе в Москве, бывшим однокурсником по Литинституту Георгием Остером, который учился в Литинституте целых двенадцать лет, с 1970 по 1982 год...

Впрочем, по продолжительности учёбы в сем почтенном заведении, чемпионом, несомненно, может считаться Евгений Евтушенко. Поступивший в Литературный институт после выхода своей первой поэтической книжки «Разведчики будущего» в двадцать лет, в 1952 году, и закончивший его только в 2001, уже при семнадцатом ректоре института Сергее Есине, подписавшем ему диплом по специальности «литературное творчество». «Проучившись», таким образом, в Литинституте почти полвека, а точнее 47 лет. Дело в том, что в 1957 году Евтушенко с четвёртого курса, из-за многочисленных академических задолженностей, был из института отчислен. И только в нулевые годы, погасив все свои задолженности, получил диплом. Произошло это за шестнадцать лет до кончины поэта, в 2017 году, в США. Впрочем, согласно его последней воле, похоронен он был в России, рядом с могилой Бориса Пастернака в Переделкино...

Но, вернёмся к Георгию Остеру, оставленному нами на платформе, где он поджидал электричку. Одет он был в кожаное, нараспашку, пальто. Негустые светлые волосы слегка вились и, кажется уже тогда, готовы были, судя по всему, покинуть умную голову. Глаза его выглядели грустными. И даже как-то не верилось, что именно этот человек пишет такие смешные, весёлые истории, известные к тому времени уже почти всем в нашей стране. В основном по мультипликационным фильмам, снятым по его произведениям. Таким, например, как «Бабушка удава», «Котёнок по имени Гав», «38 попугаев» и другим...

А в ЦДЛ, куда нам разрешалось ходить по студенческим билетам Литинститута, я (с Толей и уже другим его однокурсником — Николаем Коняевым, ставшим

впоследствии прекрасным прозаиком) имел возможность лицезреть выпивающего там в «Дубовом зале» Юрия Казакова, рассказы которого мне так нравились. И там же я познакомился с Игорем Шкляревским, любимым моим поэтом, которому наизусть прочёл несколько его стихотворений, правда, после уже не первой рюмки водки...

Одним словом и в Москве жизнь у меня была не менее интересная и насыщенная, чем в Питере. И мне ещё больше хотелось стать писателем, приобщившись к этим небожителям, властителям дум и чайний людских, как виделось мне тогда. И я даже сказал об этом Толе. На что он мне, как-то грустно, ответил:

— А я бы хотел упокоиться на кладбище в Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака...

Эта его мечта, кстати, сбылась, через три года после его переезда в Москву, в 2005 году.

После отпевания в церкви Косьмы и Дамиана он упокоился таки на этом кладбище. Где лежат и Чуковский, и Роберт Рождественский, и Евгений Евтушенко, и Борис Пастернак, и Арсений Тарковский тоже. У которого в гостях так и застряло во мне это неудобное ощущение своей неуместности здесь, среди этих известных людей. И чувство это ещё усилилось, когда Дина Терещенко и Тарковский стали вспоминать своих знакомых. Константина Симонова, Марину Цветаеву, Михаила Светлова...

Даже несмотря на то, что третья жена Арсения Тарковского Татьяна Алексеевна Озёрская прилежно поила меня хорошим крепким чаем и пыталась завязать со мной беседу, я продолжал чувствовать себя в их компании, как говорил Остап Бендер, лишним на этом празднике жизни. Ведь я был никому не известен, и, похоже, никому из этих людей не интересен, по большому-то счёту...

Что же касается титула небожителей, которым я наделял в начале своего творческого пути почти всех без исключения писателей, то и тут всё оказалось впоследствии гораздо прозаичнее. С годами я понял, что таковых, даже среди самых известных литераторов, совсем немного. Единицы. Тех, которые могли бы соответствовать той нравственной планке, которой они наделяли своих героев, но сами таковыми не являлись. И поначалу это страшно удивляло меня. «Как же так, — размышлял я, узнав какого-нибудь писателя поближе, книги которого читал, — разве может человек написать хорошо, если сам он не таков?» То есть мне хотелось совпадения творца и героя, создаваемого им. Но чаще герои оказывались гораздо выше своих создателей, по многим критериям. Честнее, справедливее, отважнее, нравственнее. И с этим мне примириться было трудно.

Именно тогда я и дал самому себе слово, что постараюсь и в жизни быть не хуже своих героев...

Пока мне это удавалось. Во всяком случае, мне хочется верить, что это именно так. Но больше всего, на мой взгляд, это удалось нашему земляку Валентину Распутину, который в жизни был даже более совестлив, чем его герои...

Это я всё к тому, чтобы наглядно показать, в какие жуткие для пишущего человека времена происходило моё вхождение в литературу. Как говорится: «Из огня, да в полымя...»

Что же касается невыплаты гонораров литераторам за их труд, то это с некоторых пор стало обыденной нормой...

Более того, писатели сейчас зачастую вынуждены сами искать спонсоров для издания своих книг. И, в лучшем случае, после выхода книги, автор получит

«гонорар» своими же произведениями, которые надо ведь ещё как-то продать. А творческие люди, как правило, делать этого не умеют.

Одним словом, нынешние времена для пишущего человека — времена чёрные, беспроглядные, безо всякой почти надежды на то, что что-то может измениться к лучшему.

Да и читателей уже почти не осталось...

Книги заменил телевизор и компьютер. А ведь ещё Зворыкин, изобретатель телевидения, на склоне лет своих пришёл к выводу и всем говорил об этом, что лучшая деталь у телевизора — это выключатель...

Ото всех этих реалий наших дней мне иногда становится невыносимо тоскливо. И я порою задумываюсь над тем, а правильный ли вектор судьбы я избрал? Может быть, мне было бы гораздо лучше заниматься наукой? Хотя, по большому-то счёту, не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас...

И для чего, и для кого я, собственно говоря, каждый день с утра до обеда сижу за письменным столом и работаю? Причём, почти без надежды на то, что это теперь хоть кому-то, в том числе и мне самому, в конечном-то итоге, нужно. И что это будет издано, и что это возможно кто-нибудь когда-нибудь прочтёт...

Безмолвие и ненужность писательского труда, вот ныне та бездонная пропасть, в которую мы все неизбежно падаем. Ибо люди, не читающие книг, очень быстро превращаются в дикарей, поскольку перестают самостоятельно мыслить...

И кто в конечном итоге выиграет эту битву за человека. Мудрость веков, величайших умов человечества, заключённая в книгах? Или телевизор — это пространство с меняющимися картинками абсолютно нереальной, придуманной жизни? А может быть, и липкая паучья сеть Интернета? Останется ли человек существом мыслящим, или окончательно превратится в потребительское животное, озабоченное только жратвой и удовольствиями?..

А ведь только при чтении книг человеческий мозг развивается. Поскольку читатель сопереживает или не сопереживает героям книги. Предполагает, как бы он сам поступил в той или иной ситуации, происходящей с героями книги. Мысленно спорит или верит автору. Пытается предугадать, чем всё закончится. Одним словом — мыслит...

Продолжит ли человечество и дальше питаться жвачкой телевизионных программ или ресурсами Интернета? Настойчиво, даже настырно моделируют человеческое сознание и поведение по своим лекалам, показывающим, как, якобы, человеку надо жить. Направляя его по явно ложному пути. Заменяя героев лидерами, любой ценой стремящимися на высшие ступени иерархической лестницы... Свободу подменяя вседозволенностью... Деньги возводя в непреложное божество... Пошлость и пороки превращая в норму жизни... А ведь основной закон жизни — это нравственный закон, данный нам Богом. А поскольку Бог, по милосердию и любви своей, не хочет человеку зла, следовательно, и его закон должен неизбежно вести нас к счастью. А вот последствия греха — всегда разрушительны, ибо Бог и грех вещи несовместимые...

Продолжит ли всё двигаться, как движется сейчас, я не знаю. Но знаю точно, что если так будет продолжаться и впредь, то человечество окончательно всеми нынешними посылами будет заведено в нравственный и мировоззренческий тупик...

Однако отвлечёмся от глобальных, пусть и весьма насущных и важных тем, и вернёмся к предназначению, в данном случае автора сего повествования, о котором он так часто в последнее время стал размышлять.

И тут мне на помощь пришла ещё одна папка, которая, в отличие от той, о которой мы так подробно уже поговорили, не пылилась на антресолях долгие годы, поскольку лежала у меня под рукой, в ящике письменного стола, и постоянно пополнялась. В основном, как это ни странно в наше не читающее время, отзывами читателей, со всех концов нашего необъятного отечества, начиная от Камчатки до Калининграда. То есть от Тихого океана до Балтики...

Да, именно такой разброс электронных писем хранится у меня в ней, начиная с нулевых годов закончившегося двадцатого века, до наших дней. То есть, с тех самых пор, когда довольно регулярно, сначала в Сибири, а потом и в других местах, стали выходить мои рассказы, повести, книги.

Причём отзывы в этой папке (которых, к моему удовольствию и удивлению, гораздо больше, чем разгромных рецензий восьмидесятых годов прошлого века) есть не только от читателей, но и от профессионалов. Таких, например, как Валентин Распутин, Глеб Пакулов, Евгений Суворов, Виктор Астафьев, Ким Балков, Геннадий Машкин, Валерий Хайрюзов, Александр Лаптев, Андрей Румянцев — однокурник и приятель двух наших современных классиков Валентина Распутина и Александра Вампилова, написавший о них книги в серии «Жизнь замечательных людей».

Всех этих писателей я люблю за их честное творчество, а мнением их дорожу. И рад тому, что подавляющее большинство их оценок, касающихся моего скромного труда, весьма лестны для меня!

Есть в этой папке и статьи известных в нашей стране критиков — Андрея Ростовцева, кажется, из Петербурга, и Вячеслава Лютого (это не псевдоним, хотя со всякой фальшью и пошлостью в русской литературе он борется именно люто), из Воронежа, редактора журнала «Подъём». А русская литература, кстати, по-прежнему, несмотря ни на что, остаётся бесспорным лидером в мировом литературном процессе.

Надеюсь, что я не только не мазохист, в чём уверен, но ещё и не Нарцисс, в чём уверен уже не так абсолютно, а оттого и не скрою, что мне было очень приятно, в отличие от папки с негативными отзывами о моём творчестве, просмотреть и папку с позитивом. Причём, не прочесть, поскольку отзывов в ней действительно много, а именно просмотреть, часто уже забытые комментарии, порой и от совершенно незнакомых мне людей, отправляющих свои отзывы по электронной почте автора, которую издательства печатают теперь в выходных данных книги. И отзывы критиков и двух — трёх профессионалов я тут, пожалуй, приведу, чтобы не быть голословным. А заодно, как бы уравновесив чаши весов, на одной из которых — негатив, а на другой — позитив.

Итак:

«11 января 2017 г.

Владимир, добрый день!

Прочитал Ваш рассказ «Морозный поцелуй», который показался мне лиричным и отражающим давнее время довольно точно. Все рассказы передал в отдел прозы...

Всего вам самого хорошего.

С уважением — Вячеслав Лютый».

Кстати, Валентину Григорьевичу Распутину этот рассказ тоже в своё время понравился больше других. И он даже оценил его как лучший из пяти рассказов, которые я, по его просьбе, дал ему прочесть.

А произошло это так.

Мы с Валентином Григорьевичем возвращались с импровизированного банкета в честь его шестидесятилетия, состоявшегося для десятка лиц в марте 1997 года в кабинете начальника областного управления сельского хозяйства Бердникова. Он и поставил передо мной, как перед пресс-секретарём управления, задачу пригласить Валентина Григорьевича для поздравления и вручения подарков от имени аграриев области.

Я позвонил Валентину Григорьевичу, поскольку мы были с ним давно знакомы (более того, я несколько раз брал у него интервью по просьбам различных областных и союзных изданий), изложил ему суть просьбы, и он согласился на часок, «не более», — добавил он, прийти в управление, поскольку к сельским труженикам всегда относился с уважением, добавив:

— А то, не ровён час, уволят тебя за невыполнение приказа начальника. А где сейчас работу найдёшь? На что семью кормить будешь? Кругом такая безработица, и такой раздрай в несчастном отечестве нашем...

Времена были действительно непростые. И до того, как устроиться в Главное областное сельхозуправление пресс-секретарём, я уже трижды (поскольку газеты, в которых я работал до того, одна за другой, в разные годы закрылись) побывал в шкуре безработного, когда полная безнадёга крепко держала меня за горло.

А потом, пока мы шли после этой встречи до его дома — я помогал Распутину нести вручённые ему подарки: берестяные туеса для продуктов, разных размеров, трёхлитровую банку мёда, что-то ещё в больших пакетах, — Валентин Григорьевич и сказал мне:

— Показал бы ты свои рассказы. А то столько лет уже знакомы. В борьбе за Байкал против БЦБК столько нервов с тобой истрепали по разным совещаниям, а я до сих пор не знаю, о чём ты пишешь, и, главное, как? Только статьи твои по экологии и читал в разных газетах. — И после небольшой паузы закончил, по-доброму улынувшись. — Принеси в наш Союз пяток рассказов. Я их прочту и позвоню тебе. Встретимся — поговорим...

При этом последовавшем вскоре разговоре он и назвал рассказ «Морозный поцелуй» лучшим из пяти рассказов, которые я оставил для него на вахте нашего Союза, на Степана Разина, 40. А потом ещё добавил:

— Честно говоря, даже не понимаю, как ты смог так хорошо и светло написать о первой любви в столь зрелом возрасте?..

Два из пяти рассказов Валентин Григорьевич отдал мне. Это были рассказы «За шторой с этой стороны», — сказав, что рассказ ему не понравился, хотя рассказ тоже был о юношеской любви, и «Три встречи»...

— Если хочешь, можем о них поговорить, — предложил он, но я отказался. Я точно знал, почему такому целомудренному человеку, как Распутин, не понравился рассказ «За шторой с этой стороны». В нём много натуралистических, не эстетичных сцен. Например, когда очень молодой человек — герой рассказа — блюёт в унитаз. Случайно оказавшись после ссоры со своей любимой девушкой в незнакомой ему компании, где он пытался алкоголем заглушить вселенскую для него трагедию расставания с ней. И как ему думается, уже навсегда. А навсегда и навечно — это ведь такие трагичные слова.

Однако я понимал и то, что безо всех этих приёмов, не очень эстетичных, но необходимых в данном рассказе, не получится правдивого описания тех существенных сдвигов в характере героя, произошедших с ним всего лишь за одну но-

вогоднюю ночь. Такую разную и бесконечно длинную. Более того, я не согласился мысленно с оценкой этого рассказа Валентином Григорьевичем, веря, а вернее зная о том, что рассказ хороший. Один из лучших моих рассказов. Не хуже «Морозного поцелуя». Просто он написан иначе, в иной манере. А к тому же, всё, о чём написано в рассказе, происходило на самом деле, много лет назад, в шестидесятых годах прошлого века, и не с кем-то посторонним, а со мной...

Второй рассказ, который вернул мне Распутин, положив остальные в свой портфель, был, как я уже сказал, «Три встречи». Рассказ этот был о фронтовике, живущем в нашем дворе...

Отдавая рассказ, Валентин Григорьевич сказал:

— Рассказ гладкий, ничего не скажешь. И вполне может быть опубликованным в любом литературном журнале. Но он как бы не твой. Ничей. Он общий. Такой рассказ, я думаю, может написать любой человек, обладающий достаточным литературным навыком.

И с этой оценкой данного рассказа я согласился полностью, потому что и сам был не очень высокого мнения о нём. Но поскольку редакторы различных журналов, в которых он уже был неоднократно напечатан, его хвалили, я и принёс его Распутину, доверяя больше профессионалам, чем самому себе и своей интуиции...

— А эти три рассказа: «Морозный поцелуй», «Загон» и «Ненаписанный рассказ» я возьму с собой, — объяснил мне Распутин исчезновение их в своём портфеле. — Через три дня я уезжаю в Москву. Постараюсь там что-нибудь из них пристроить. Охотничьи-то рассказы точно пойдут. Москвичи любят экзотику...

Стоит сказать, что, примерно через год после нашего разговора, я был принят в Союз писателей. Причём приняли меня, фактически, за один только, и именно охотничий рассказ, «Загон», поскольку издать полноценную книгу и предоставить её для приёма на общем собрании региональной писательской организации, как требовал устав, в девяностые годы было практически невозможно. Государственные издательства, трепыхаясь из последних сил, умирали одно за другим, а появляющимся во множестве частным издательствам нужны были только деньги, а не художественные тексты, не литература в высоком понимании этого слова.

Через три дня после нашей встречи Распутин поездом (самолётов он не любил) отправился в Москву. А вскоре в №5 за 1997 год, в журнале «Юность», действительно, да ещё с весьма лестным для меня предисловием самого Распутина, вышел мой «Ненаписанный рассказ»...

И, поскольку предисловие это небольшое, я приведу его здесь полностью. Ведь написал-то его не абы кто, а современный классик русской литературы — Валентин Григорьевич Распутин:

«Владимир Максимов (род. в 1948 году) — сибиряк, имеет одну родину с Александром Вампиловым — село Кутулик в Иркутской области.

Много учился — окончил охотоведческий факультет в Иркутске, аспирантуру Зоологического института в Ленинграде, Литературный институт в Москве. Много работал — буровым мастером, грузчиком, учителем, был сотрудником Лимнологического института на Байкале, принимал участие в экспедиции по изучению котиков в Тихом океане. Много путешествовал — бывал на Чукотке, Командорских островах, Сахалине, Камчатке, Сибирь объездил вдоль и поперёк. Когда грянули реформы, и ни на самолёт, ни на поезд сесть стало невозможно, сел на велосипед и проехал на нём всю Россию и пол-Европы. На велосипеде на-

шёл в Париже Владимира Емельяновича Максимова, своего знаменитого тёзку, и подружился с ним. Максимов-старший хорошо отзывался о рассказах Максимова-младшего.

Несмотря на трудные для литературы времена, много пишет.

Живёт в Иркутске.

Валентин Распутин»

Что же касается рассказа «За шторой с этой стороны», то он тоже не раз впоследствии публиковался в различных журналах. Например, в № 3, за 2007, он вышел в одном из ведущих журналов страны — «Наш Современник», тираж которого тогда, среди прочих толстых литературных журналов, был самым большим, более десяти тысяч экземпляров. Ибо миллионными тиражами, как это было в СССР, при государственной поддержке, когда наша страна, как писали о ней в газетах, и как это было на самом деле, была самой читающей страной мира, журналы уже не выходили...

О публикации этого рассказа в журнале «Наш Современник» я намерен, чуть позже, поговорить немного подробнее.

Этот же рассказ с очень тёплым отзывом от редактора А. Васильева, был опубликован и в № 1, за 2012 год, в журнале «Врата Сибири», Тюмень. А ещё раньше, в самом конце 1997 года у меня в издательстве журнала «Сибирь», тиражом в 500 экземпляров, вышла моя первая книжка, состоящая из трёх рассказов: «За шторой с этой стороны» (это название получила и книжка); «Последний понедельник» и «Любимая рубаха».

И помню, какие муки я испытывал, споря с редактором Александром Васильевичем Тепляшиным, когда он, сначала мягко, а потом и более жёстко, предложил мне некоторые неприемлемые, по его мнению, вещи из рассказа убрать...

Я отказывался, пытаюсь его переубедить. И объясняя, что новогодняя ночь — это всегда необычная ночь, превратившаяся для героя рассказа, фактически, в целую жизнь. Где в начале он окрылён своей любовью. Потом происходит нелепая, в общем-то, ссора, разрыв. Причём, в большей степени по вине героя, из-за его самолюбия, не позволяющего принижать себя даже ненароком, и даже любимой девушке. И разрыв этот для него — как крушение целого мира. Отчего он напивается в какой-то чужой компании, целуется с незнакомой девицей, от помады которой его начинает тошнить, и он бежит в туалет и блюёт там в унитаз. Чуть позже наступает как бы его частичное выздоровление, когда он видит за шторой с этой стороны, оказавшись один на улице, в окне первого этажа, уже другую девушку, подмигивающую ему и посылающую через стекло окна воздушный поцелуй. И как бы возрождая в нём надежду, что не всё ещё потеряно...

То есть получается всё, как в стихотворении Тютчева:

*Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса...*

Именно вера в это, в чудо, «чему бы жизнь нас не учила» — убеждал я Тепляшина, — и делает главного героя в хмурое утро первого дня года как бы уже другим, совсем не таким, каким мы видели его в начале рассказа. Не мечтательным романтиком. И не беспечным повесой. А человеком, за одну только ночь повзрослевшим на много лет...

И, несмотря на всю свою как бы выпотрошенность, гулкую внутреннюю пустоту, он продолжает верить, что всё у него ещё образуется. Что жизнь не кончается вместе с новогодней ночью...

— Поймите, Александр Васильевич, всё в этом рассказе сплошная неопределённость, хождение по грани, с двух сторон которой бездна. Одна из которых — бесконечное восхождение, а вторая — бесконечное же падение. И абсолютно неизвестно, куда выведет героя эта грань между безднами, на которой он балансирует, как канатоходец на канате. Ибо всё в конечном итоге будет зависеть от него самого, от его воли и самообладания, — убеждал я редактора. — Потому-то и жанр рассказа определён, как акварель. Где всё размыто, и до конца не ясно. Хотя очертания предметов на этой акварели уже угадываются, уже видны. Но они только предположительные...

— Если ты не уберёшь все эти сцены с пьянкой и рыганием, рассказ, и книжка, значит, не выйдут вообще, — на все мои доводы категорично отвечал редактор.

И я согласился. Ведь это была, по сути, моя самая первая претендующая на настоящую книга. До этого у меня вышло только две книжки-раскладушки в двух ангарских газетах. Первая — «Нечаянная встреча», была опубликована в газете «Вестник» в 1993 году. В ней было двадцать три стихотворения, но зато тираж её был две с половиной тысячи экземпляров! И вышла эта книжка-раскладушка совсем неожиданно для меня. Дело в том, что редактор газеты Людмила Россова, с которой мы были знакомы, просто собрала опубликованные ранее и понравившиеся ей в ангарских газетах мои стихотворения и выпустила книжку.

Вторую такую же книжку-раскладушку, в издательстве «Формат», в 1994 году выпустила тоже моя хорошая знакомая, редактор «Ангарской газеты» Зара Саркисовна Мамиконян, как приложение к данной газете. И которой, кроме моих статей, публикуемых у неё в газете, нравились ещё и мои рассказы. Книжка называлась «Три дня до осени», и в неё вошло три рассказа: «Загон», «Три дня до осени» и «Первый дождь». Тираж этой книжки тоже получился огромный по тем временам. Что-то около двух тысяч экземпляров.

Книга у Тепляшина в типографии «Восточно-Сибирского аэрогеодезического предприятия» (где, в основном, печатались секретные карты большого разрешения) вышла уже более скромным тиражом, в пятьсот экземпляров. И помню, как непросто мне далось это согласие на изъятие части текста из рассказа «За шторой с этой стороны».

У меня порою создавалось даже такое ощущение, что я сам без наркоза отпилил себе ножовкой руку. И долго ещё потом фантомные боли «отсутствующей руки», помню, мучили меня, поскольку я хорошо понимал, что убрал из рассказа правду — полынную горечь реальной жизни...

В данном случае здесь можно, в какой-то мере, разумеется, провести аналогию с рассказом Эрнеста Хемингуэя «Очень короткий рассказ», где автор даёт нарочито грубый, обнажённый эпилог:

«Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на своё письмо. А он вскоре после этого заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку».

За этот рассказ даже самые близкие люди — отец и мать — осудили Эрнеста, прикрывшись пуританской моралью, «не желая копаться в грязи, описываемой их сыном»...

А ведь такая концовка рассказа о любви, в общем-то, была нужна автору для того, чтобы показать, как в подлинной жизни сплетаются подчас высокое чувство

и низменные инстинкты. Ибо настоящая честная проза должна уметь рассказать обо всём, ничего не скрывая.

Так в своём рассказе поступил и я. И меня можно было бы даже заподозрить в том, что в какой-то мере я скопировал рассказ Хемингуэя. Если бы не одно «но». К тому времени, когда я написал свой рассказ «За шторой с этой стороны», именно этот — «Очень короткий рассказ» Хемингуэя, я ещё не читал. Это во-первых. А во-вторых, в концовке моего рассказа есть надежда, а в рассказе Хемингуэя надежды уже нет...

И когда через десять лет, уже в столичном журнале этот рассказ вышел, я, естественно, был этому рад, надеясь, что, наконец-то, он вышел полностью, без сокращений. Что, в принципе, и произошло. Правда, с небольшим добавлением одного предложения, что оказалось хуже любого сокращения. И, прочитав рассказ, я с горечью подумал: «Лучше бы он не выходил вообще...»

Заведующим в отделе прозы журнала «Наш Современник» в то время был Андрей Венедиктович Воронцов, родившийся в 1961 году. Прозаик. Критик. Публицист. И аромата времени начала шестидесятых годов двадцатого века он, по причине своего позднего (по сравнению со мной) рождения, уловить не смог. А потому и не сумел понять всех тонкостей рассказа, написанного о новогодней ночи с шестидесятого на шестьдесят первый год. Год перевёртыш, со своим неповторимым лицом, и всеми его значимыми приметами.

Кстати, и в Литературный институт с Воронцовым мы поступили в один год, в 1981. Только мне к тому времени было уже тридцать три года, а ему — двадцать. И карьеру в Москве Воронцов сумел себе выстроить блестящую...

Да, он ничего не убрал из моего рассказа, а лишь прибавил одно предложение. Вот оно: «Бета (главная героиня рассказа, одноклассница и любимая девушка героя) вышла замуж за морского лейтенанта из Владивостока, а я женился на её подруге Людмиле Годиной». И фразой этой он убил рассказ, поскольку в нём всё было ещё так неопределённо, предполагаемо, словно скрыто вуалью, окончательно размыв этим предложением всю его акварельность ненужной, неуместной, и сразу же меняющей всё конкретикой. Словно жирно запятнав только ещё угадываемые загадочные, едва проступающие формы и очертания акварели, толстыми мазками масляной краски...

Вот тогда-то я помнится впервые и задумался над тем, что совсем не публиковаться в литературных журналах, в иные моменты, пожалуй, даже лучше, поскольку испорченный чужой правкой рассказ для автора гораздо хуже вообще неопубликованного...

Помнится, я написал по этому поводу возмущённое письмо редактору журнала Станиславу Юрьевичу Куняеву. И даже, через какое-то время, получил из журнала ответ. Но не от редактора, а от заведующего отделом прозы Воронцова, попенявшего мне на то, что вместо благодарности за публикацию в таком солидном журнале, в котором «очередь, даже из ведущих прозаиков страны, измеряется километрами», автор выразил своё неудовольствие такой незначительной, состоящей из одного предложения, правкой...

Надо сказать, что в других журналах мои рассказы, к счастью, выходили большей частью без каких-либо кастраций или добавлений. Тот же «Загон» был опубликован впоследствии в журнале «Сибирские огни», Новосибирск, № 1 за 2000 год, именно таким, как я его написал...

Особо упоминаю об этом рассказе, потому что до мельчайших подробностей

помню детали своего приёма в Союз писателей России, на нашем общем региональном собрании в Доме литераторов, в Иркутске, связанные именно с этим рассказом.

Для приёма в Союз у меня было три рекомендации. От Кима Балкова, как и Андрей Румянцев, однокурсника Распутина и Вампилова по учёбе в Иркутском госуниверситете; Валерия Хайрюзова и Геннадия Машкина, ставшего в 1965 году, как говорится, в мгновение ока, знаменитым на всю страну, после публикации в журнале «Юность» его первой повести «Синее море, белый пароход». Собственно, эти люди и подтолкнули меня к столь ответственному шагу — попытаться стать членом Союза писателей России. Главным образом для того, чтобы иметь хоть какую-то надежду на издание собственной книги.

Для ознакомления с литературным уровнем, годным для приёма в столь крепкий, пожалуй, один из лучших в стране, Союз, меня попросили распечатать на машинке «пяток рассказов». Ибо тогда ещё не успела выйти даже моя самая первая книжка «За шторой с этой стороны». Хотя в выходных её данных значится (планировалось, что она появится в декабре, к Новому году), что она вышла в 1997 году. На самом же деле, по разным причинам, выход её отчего-то (не помню уж по каким причинам) застопорился, и она появилась только в марте 1998 года. А я к маю 1998 года уже получил членский билет Союза писателей из Москвы.

Как-то при встрече с Машкиным, когда он передавал мне свою рекомендацию, я спросил его, какие рассказы, по его мнению, мне лучше отпечатать?

— Ты этот вот рассказ «Загон», который мне давал читать Распутин, обязательно распечатай, — наставлял меня Машкин. — Тебя только за него можно в Союз принять. Ну и ещё два-три рассказа такого же уровня нужны. Надеюсь, что с пяток хороших рассказов у тебя наберётся? — подмигнув мне, подбодрил Геннадий Николаевич, созерцая мой удручённый и неуверенный вид. — Не трусь, всё будет хорошо! — обнадежил он. — Хотя, писатели народ вредный, — задумчиво продолжил он, — поскольку все гении! Недаром же Сергей Михалков говорил: «Попроси писателей рассчитаться на первый второй, ничего не получится. Вторых не будет. Все будут первыми...»

Разумеется, я распечатал на машинке, через копирку, какое-то количество своих рассказов, и их раздали литераторам незадолго до намеченного общего собрания...

Я, честно говоря, в успех сего мероприятия почти не верил. Слишком уж много в нашей писательской организации было величин всесоюзного и даже мирового уровней. Каким я себя не считал.

На собрании, произошедшем, вроде бы, в начале декабря 1997 года, критиком Павлом Забелиным, когда речь зашла о моём приёме в Союз, был поднят вопрос:

— Имеет ли право высокое собрание, вопреки своему уставу, ставить вопрос о голосовании по принятию в Союз писателей России Максимова, у которого нет ещё ни одной самостоятельной книги?

К моему удивлению, на сей, произнесённый, надо сказать, весьма пафосно, вопрос, причём, довольно резко, ответил прекрасный писатель и хороший человек Станислав Китайский, который любил напевать в дружеском застолье переделанную им на свой лад украинскую песню. Тянул он её закрыв глаза, очень серьёзно, даже трагично, хотя смешливые лучики морщинок, разбегающиеся от его глаз к вискам, говорили о том, что он просто шутит. А песня звучала так: «Чёму я ни сокол?... Чёму ни летаю?... Чёму я Китайский?... Чёму не в Китае?...».

Так вот, именно Станислав Борисович ответил Павлу Викторовичу Забелину буквально следующее:

— Паша, ты прочёл хоть один рассказ, предоставленный автором? — И, не дожидаясь ответа, на неопределённое пожатие плечами своего оппонента, продолжил, обращаясь уже ко всем. — В наше подлое время любой бездарный человек, имеющий деньги и мечтающий о литературной славе, может издать любую свою графоманию хоть в кожаном переплёте с золотым обрезом страниц. Но это не будет литературой. А вот рассказ Владимира Максимова «Загон» — это, несомненно, литература. И если мы являемся творческим союзом, мы просто обязаны принять его в наши ряды...

Состоявшееся впоследствии, после весьма бурных предварительных дебатов, закрытое голосование с перевесом в несколько голосов дало мне всё же шанс стать членом Союза писателей России. Для чего оставалось только дожидаться утверждения решения нашего регионального отделения Союза писателей в Москве. Что менее чем через полгода и произошло...

Кстати, насколько мне известно, это был единственный прецедент в нашей, да и не только в нашей, думаю, писательской организации, когда человека приняли в Союз писателей, фактически, за один рассказ. Правда, действительно, очень неплохой...

А сейчас мне ещё раз хочется вернуться к нашему разговору с Валентином Григорьевичем Распутиным, очень важному для меня. К его оценке моих рассказов и, особенно, к его добрым словам о трёх из них. Для меня это было неким неожиданным чудом, волшебством и «бальзамом на раны» моего самолюбия, поскольку ещё ни один писатель до Распутина не хвалил меня. И я хорошо помню, что нести Распутину рассказы я боялся...

А вот когда моё личное ощущение о них и его — о том, что именно те рассказы, которые и я считал достойными, совпали (кроме одного), я в какой-то мере успокоился, выдохнул, так сказать, внутренне скопившуюся за многие годы неуверенность в себе. Решив для себя окончательно, что не зря значит так долго не верил всевозможным так называемым критикам и рецензентам, по сути убеждающим меня в моей литературной непригодности. Причём, убеждающим, порою, если и не по-хамски, то уж не по-джентльменски точно. Я мог бы привести здесь какие-то фрагменты из рецензии, но не стану этого делать по этическим соображениям. Слишком уж злобна и субъективна была та рецензия. И когда я читал её, мне всё время казалось, что рецензент, будто бы, не просто намерен в пух и прах раздолбать повесть начинающего автора, но хочет ещё и сделать ему как можно больнее, унизив его самого, показав всю никчёмность и полную литературную непригодность. Выставив автора обычной бездарью...

А вот рассказы, в своё время отмеченные Распутиным, к моей радости, печатались потом во многих журналах страны...

Например, рассказ «Морозный поцелуй», больше всех понравившийся Валентину Григорьевичу, был напечатан, правда, много лет спустя, в № 2 за 2012 год, в очень солидном литературном журнале «Подъём», издающемся в Воронеже...

Более того, из редакции сего журнала мне пришла просьба прислать им что-нибудь ещё. И я, разумеется, выслал в журнал и другие мои рассказы. И вот какую оценку вскоре получил оттуда, после того как очередной мой рассказ был в журнале напечатан:

«11 мая 2021 г.

Здравствуйте, Владимир Павлович!

В номере третьем опубликован Ваш замечательный рассказ «Сияние снежных вершин». Уровень классики, честное слово!

Доброго здоровья и творческих успехов!

Зав. отделом прозы журнала «Подъём» — Сергей Пылёв».

И хотя журнал «Подъём» уже не платил, как это было прежде, весьма приличных гонораров, сопоставимых по размеру, разве что, с журналом «Врата Сибири» из Тюмени, я всё равно продолжаю сотрудничать с ними. Хотя бы потому, что именно в Воронеже 10 октября 1870 года родился выдающийся писатель земли русской, ставший в 1933 году (уже в эмиграции) первым русским нобелевским лауреатом в области литературы, Иван Алексеевич Бунин! И для меня быть хоть как-то причастным к этому городу, разумеется, почётно...

Удивительно ещё и то, что и Владимир Ильич Ульянов — Ленин, только несколькими месяцами ранее, тоже родился в том же 1870 году, правда, в другом городе — Симбирске...

Но какие же у этих людей, одногодков, разные векторы судеб.

Один с самого раннего возраста хотел посвятить себя Литературе. Написав в двадцатилетнем возрасте, после встречи с Львом Толстым в Москве, можно сказать, некий свой «манифест», так определяя свои устремления: «Служить людям земли и Богу вселенной — Богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает всё сущее».

Другой же, словно мстя всю жизнь за своего старшего брата Александра, казнённого в двадцать один год, в 1887 году, за попытку покушения на Александра III, делал всё, чтобы расшатать устои Российской империи и ненавистного ему царизма. Взяв для себя за образец, как икону, другой манифест — «Манифест коммунистической партии», написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в конце 1847 года и вышедший в Лондоне в феврале 1848 года...

И, посмотрите, каких ошеломляюще разительных результатов добились оба эти человека.

Бунин — стал признанным классиком великой русской литературы, признаваемой и почитаемой (то есть читаемой) во всём мире.

Ленин — стал великим разрушителем своей же страны и зачинщиком, вместе со своей партией большевиков, почти сплошь состоявшей из инородцев, братоубийственной гражданской войны...

Какие разные векторы судьбы!

Какие разные цели, задачи и результаты! Созидание в одном случае и разрушение, ради мифических целей, всего и вся, в другом...

Но не будем уж слишком углубляться в политические дебри, и продолжим наше повествование, вернувшись к его главному герою, то есть, к автору сего повествования. Тем более что мне уже не терпится озвучить, как теперь говорят, комментарий Андрея Ростовцева о моей повести «Портрет», напечатанной, к сожалению, из-за её большого объёма в журнале «Берега», Калининград, лишь частично.

Причём с повестью этой для меня всё произошло просто фантастично!

Часов в девять утра я отправил её из Иркутска по электронной почте, которую мне накануне из своей записной книжки на клочок бумаги переписал при нашей встрече в Союзе поэт Владимир Скиф. В Калининграде, значит, была ещё глубокая ночь. Ведь разница по времени с этим самым западным нашим анклавом

страны составляет пять часов. И, тем не менее, уже к обеду, по иркутскому времени, я получил от редактора журнала Лидии Довыденко ответ: «Повесть ваша мне понравилась. Будем ставить в ближайший номер. Спасибо...» Такого быстрого прочтения и ответа я никогда ещё не получал. Обычно рассказы томятся в редакционных портфелях различных журналов довольно долго. Иногда, годами. И, порою, о них потом забывают вообще. А тут всё произошло буквально в течение нескольких часов...

Следует отметить, что предыдущие два года — с 2018 по 2020, были для меня щедрой на публикации не только моих рассказов, но и стихов в ведущих, ещё сохранившихся, несмотря ни на что, литературных журналах страны, начиная от Балтики до Байкала. Вот эти журналы: «Берега», Калининград; «Подъём», Воронеж; «Наш Современник», Москва; «Урал», Екатеринбург; «Огни Кузбасса», Кемерово; «Енисей», Красноярск (Где главным редактором служит Михаил Тарковский. Не только очень хороший, своеобразный писатель, но ещё и племянник знаменитого кинорежиссёра Андрея Тарковского. И, следовательно, внук не менее знаменитого поэта Арсения Тарковского); «Байкал», Улан-Удэ, Бурятия, где у меня, в отличие от всех остальных перечисленных мною журналов, была опубликована не проза, а цикл стихотворений «Бурятские мотивы», о которых председатель Союза писателей России, бурятского отделения, Сергей Далаевич Доржиев написал следующее:

«16 октября 2021 г.

Сайн байна! (Здравствуй! В переводе с Бурятского)

Прозу твою получил, но ещё не прочёл — закрутили дела Союза. А стихи проглотил. Они хороши, легки, летучи, конкретны и мудры. Спасибо! Их сразу передал в «Байкал»...

«Вот это всё я забираю с собой! А плохое, которое тоже никуда не денешь, и которое всё равно остаётся, я хранить, в прямом смысле этого слова, больше не намерен. Потому что, когда вновь начинаешь перечитывать все эти старые «рецензии», это, всё-таки, не просто мазохизм, но ещё и расчёсывание, казалось бы, уже давно зажившей раны, которая снова начинает кровоточить...», — решил я.

А приняв решение, так и поступил. Решив со всеми этими бумагами из папки с антресолей разделаться радикальным образом. Пустив все эти бывшие весьма многочисленные отрицательные рецензии на черновики. Поскольку обратная сторона их, пролежавших без какого-либо движения столько долгих лет, была чиста, как бескрайнее белое снежное поле...

Как чисты и наивны во многом были когда-то мои мечты и мысли, чувства и представления о литературе. И вот, теперь пишу на обратной стороне этих давних рецензий (в том числе и это странное, в какой-то момент вышедшее из-под моего контроля повествование), и стараюсь, как бы, вытравить из себя весь тот негатив, который так старательно пытались во мне посеять многочисленные, так называемые, рецензенты. А я, несмотря на столь обильные «посевы» — сомнений, неуверенности и всего прочего, старался, всё-таки, упорно работать. Оставляя на других, чистых с обеих сторон, листах бумаги меты времени. Иероглифы судьбы. Чем, собственно говоря, и должен заниматься любой писатель. И, может быть, именно поэтому меня утешала мысль, высказанная Эрихом Марией Ремарком, очень хорошим писателем, говорившим, что пока человек не сдаётся — он сильнее своей судьбы...

А ведь получая и читая прежде все эти рецензии, хорошо это помню, я порою

чувствовал себя человеком, внезапно оказавшимся подо льдом, в холодной воде. У которого в запасе, в его лёгких, осталось совсем немного воздуха. А толстый и прозрачный, словно на Байкале, лёд (каким я не раз видел его с обратной стороны, погружаясь зимой с аквалангом), через который так хорошо, как сквозь толстое стекло, видно голубое небо, невозможно пробить головой. И нет уже ни времени, ни сил искать майну, через которую ты погрузился. А твоя «нить Ариадны» — страховый конец, способный вывести из этого безвыходного «лабиринта», куда-то пропал...

В таком положении большинство людей или начинают истерить, или впадают в депрессию. Я же всегда считал, и считаю до сих пор, что депрессию придумали слабаки для того, чтобы не решать кажущиеся им неподъёмными проблемы.

Впрочем, не все рецензии, даже из той (чёрной для меня) папки, я пустил на черновики. Некоторые, где были хотя бы какие-то намёки на то, что не всё так уж безнадежно, я оставил. Правда, их совсем немного. Буквально несколько штук. Но и за эти крохи надежды я благодарен неведомым мне прежним рецензентам.

Фрагменты одной из таких рецензий я, для наглядности, приведу.

Но вначале, небольшая предыстория к той, а точнее, тем рецензиям. Поскольку в одном ответе мне их оказалось две. От двух разных людей...

Так вот.

Как-то, по совету руководителя нашего семинара в Литературном институте — поэта Владимира Дмитриевича Цыбина (ведь творческий конкурс в институт я прошёл по стихам), посчитавшего, что вирши мои уже достаточно хороши, я отправил свою рукопись в библиотеку журнала «Молодая гвардия». В библиотеке этой издавались небольшие и по формату, и по страницам первые книжечки начинающих авторов. И многие мои однокурсники успели уже издать там свои сборники с предисловием, или без оно, руководителей своих семинаров.

Мне в своём небольшом предисловии Владимир Дмитриевич, взяв его из своей же оценки моего творчества за 1983 учебный год, написал о том, что считает главным в моих стихах:

«Стихи Владимира Максимова идут от жизни, от непосредственно пережитого. И то, что в них есть, говорит о ясном поэтическом виденье мира:

*Он умер. А в парке больничном кукушка
Кому-то так щедро считает года...*

Однако, одно из лучших качеств его стихов — искренность, какая-то доверчивая щедрая сила души, которая не боится тратить себя до конца, особенно она проявляется в стихах о любви, не терпящих фальши...»

И было процитировано целиком стихотворение, написанное мной на Белом море, и посвящённое Маргарите Керн — девушке из Ангарска, в которую я был влюблён, и которая доставила мне страданий, пожалуй, гораздо больше, чем восторгов и ощущения искренней любви от наших встреч, когда я бывал в родном городе...

А стихотворение таково:

М. К.

*Моя любимая, как долго
Твоё письмо меня искало.
Я терпелив был, но терпенье
Моё по капле иссякало...
А где-нибудь на полустанке*

*Твоё письмо меня искало...
Казалось, всё лишилось смысла.
Я жил ненужно и устало,
Всё потому, что долго-долго
Твоё письмо меня искало...*

И дальше Цыбин писал: «Он нетерпелив в исполнении замыслов, отсюда в его стихах бывают следы ничем не оправданной торопливости, стилевые «пятна». Но это всё, думаю, издержки роста.

18 апреля 1983 г.
Владимир Цыбин»

К этой своей прошлой оценке моего творчества Владимир Дмитриевич, изменив дату на более позднюю, приписал только ещё одну фразу:

«Надеюсь, что первая книга стихов Владимира Максимова вполне может состояться в «Библиотеке издательства «Молодая гвардия».

Спустя примерно полгода, а может быть, и больше, от заведующего отделом «Библиотека журнала «Молодая гвардия» Б. Рябухина, с которым я немного был знаком, поскольку один раз даже умудрился выступить с ним в какой-то из библиотек Москвы, я получил весьма сухой, сугубо бюрократический ответ. В нём говорилось:

«...Уровень рукописи невысок, многие стихотворения описательны, монотонны, малоинтересны. Подробнее недостатки рукописи названы в рецензии. И, поскольку законченных самобытных произведений в рукописи, к сожалению, нет, стихи возвращаем.

С уважением — Зав. отделом «Библиотека
журнала «Молодая гвардия»
Б. Рябухин. 18.02.86 г.»

К сему официальному ответу действительно была приложена ещё и рецензия некоего члена Союза писателей СССР, неведомого мне Л. Котюкова.

Рецензия, отпечатанная на машинке на трёх стандартных листах писчей бумаги, оказалась, в общем-то, вполне доброжелательной. Чувствовалось, что рецензент, во-первых, не хочет идти поперёк мнения прекрасного, известного поэта Владимира Цыбина. А во-вторых, не желает, в общем-то, зарубить выпуск сборника...

Вот некоторые выдержки из неё:

«...В лучших своих стихотворениях поэт умеет нестандартно мыслить художественными образами, владеет интонацией. Приведу для примера начало стихотворения «Утренний разбор почты»:

*Я ждал письма в улусе Зум-Булуг.
Оно не шло. Не шло. И вдруг
Приходит телеграмма:
«Скорее приезжай. Я жду...
Согласна я и — мама...»*

В скобках стоит отметить, что это стихотворение было посвящено уже другой девушке О. К., дочери дипломата из Москвы, с которой у нас, после мучительного для меня разрыва с Маргаритой Керн, опять возобновилась прежняя переписка, и снова завязалось что-то вроде необязательной, вялотекущей дружбы. Ибо роман был, в принципе, бесперспективен, поскольку я тогда, уже бросив аспирантуру, был простым буровиком. То есть, обычным работягой. Впрочем, очень хорошо

зарабатывающим. Но без каких-либо ясно видимых перспектив в будущем, а она, как ни крути, была дочерью дипломата, а брат её работал собкором газеты «Известия» в Лондоне.

Знакомство наше с Ольгой состоялось очень давно, ещё до Маргариты, в начале семидесятых годов прошлого века, в международном лагере «Верховина» в Закарпатье. И как-то незаметно переросло потом в дружбу, продолжающуюся много лет. Мы, довольно регулярно, переписывались. А время от времени и встречались, то в Москве, то у нас в Сибири, куда Ольга приезжала пару раз на Байкал и, как она, явно не без намёка, говорила: «Чтобы познакомиться с твоими родителями». Которые были, впрочем, весьма простыми людьми. Мама — медсестра, отец — по специальности, полученной в армии во время войны, повар...

Впрочем, ничего у нас с Ольгой, несмотря на её явные старания (видимо я всё-таки нравился ей), так и не сложилось. Скорее всего, оттого, что я не любил её по-настоящему, как следует. И как она того заслуживала...

Впоследствии я фактически сосватал её за своего давнишнего приятеля Андрея Данилова, который в то время работал в редакции журнала «Советский экран». И общался в основном с богемой — известными актёрами, режиссёрами, операторами, сценаристами...

Андрей был весел, умён, прекрасно образован. И, главное, он жил в Москве, а не на краю географии, как я ...

Ольга, в свою очередь, тоже познакомила меня со своей подругой Ириной Шалаевой...

Но вернёмся вновь к рецензии Л. Котюкова:

«К сожалению, в стихах поэта встречаются банальности. А от них костёр поэзии не вспыхнет! (Более напыщенно и банально, пожалуй, не скажешь.) А ведь молодой поэт умеет мыслить, владеет интонацией (далась же ему эта интонация). Я уже приводил его удачные строки в начале и подкреплю своё мнение ещё одним примером:

*Ах, обещанья, обещания
Легко даются на прощание.
Легко даются. Не сбываются.
— Прощай! — кричат. И... улыбаются.*

Просто, душевно, интересно. (Помню, что это стихотворение написалось у меня одномоментно, с натуры, на станции Чупа в Карелии, по дороге на биостанцию на Белом море, когда я видел уезжающих, и провожающих людей, из окна своего вагона на предвечернем перроне.) Хотелось бы пожелать В. Максимову побольше удач такого рода.

В одном из стихотворений он говорит:

*«Нет выхода»
Нет выхода!
Но он ведь должен быть!*

Хочется, чтобы эта надежда молодого способного поэта сбылась. У него для этого есть всё — молодость (не такая уж и молодость у меня была — за тридцать), задор (задора, вправду, несмотря ни на что, ещё хватало), лирический напор...»

В рецензии этой не хватало, на мой взгляд, только одной, вполне закономерной после всего сказанного, заключительной фразы, перед которой на полном ходу рецензент, как бы, вдруг резко затормозил. Оставив вместо неё троеточие.

А фраза могла быть такой: «Сборник, при соответствующей незначительной доработке, вполне может быть опубликован в «Библиотеке журнала «Молодая гвардия»...»

Но я-то, уже по первой рецензии от Рябухина, понимал, что не может. И что рецензия эта нужна, как отказная. Более того, если бы я знал заранее, что заведующим «Библиотекой журнала «Молодая гвардия» является Рябухин, я бы свои стихи туда не посылал. И вот почему.

Как я уже обмолвился раньше, мне довелось вместе с ним однажды выступать.

На встречу эту меня пригласила Ирина Шалаева. Она тогда работала редактором в издательстве «Московский рабочий». И в этом издательстве у неё, и у её шефа — Бориса Рябухина, возглавлявшего на тот момент сие издательство, незадолго до моего приезда в Москву на очередную сессию в Литинституте, как раз вышли поэтические книжки...

Прибыв фирменным поездом «Байкал» по маршруту «Иркутск — Москва», я, в приподнятом настроении, прямо с вокзала из телефонной будки, довольно рано, позвонил Ирине на домашний телефон...

Хочу сделать некоторое отступление, поскольку телефонные будки — это уже некая почти забытая архаика в нынешний век мобильных телефонов.

Так вот, чтобы позвонить из телефона-автомата на любой номер, тебе до 1961 года надо было опустить в специальную прорезь 15 копеек. После 1961 года, когда в СССР была проведена денежная реформа, и деньги как бы усохли в десять раз, нужно было опустить уже только 2 копейки, и говори затем сколько душе угодно. К началу 80-х двух копеек хватало только на три минуты разговора. А в перестроечные времена, то есть, с середины 80-х, уже только на одну минуту. Поэтому нужно было набрать много двухкопеечных монет, опуская их периодически в приёмник автомата, чтобы говорить подольше.

Я, за трое суток пути в поезде, сумел набрать достаточное количество таких монет. Поэтому говорить с Ириной мог не торопясь, ибо ещё в дороге решил позвонить ей сразу по приезде. Кстати, последний телефон-автомат был демонтирован в нашей стране в 2003 году...

— Ирина, привет! — начал я мажорно, после того, как она немного сонным голосом ответила на призывные гудки её домашнего телефона: «Алло, слушаю вас». — У меня для тебя есть две замечательные новости! — продолжил я, но не успел договорить...

— Вовка, ты что ли? — узнав меня, перебила Ирина. — Ты чего звонишь в такую рань? — проговорила она, кажется смачно зевнув.

— Во-первых, сударыня, не такая уж и рань, а прекрасное солнечное, вполне уже вызревшее майское утро! — сообщил я ей, опустив очередную двухкопеечную монету в приёмник телефона-автомата, когда первая, с каким-то бульканьем, исчезла в его чреве. — И к тому же, как известно, кто рано встаёт — тому Бог подаёт...

— Ладно, умник, выкладывай твои замечательные новости. Книжка что ли вышла? — предположила Ирина.

— Нет, не книжка, увы. А новости такие. Первая, я снова, как ты наверняка уже поняла, посетил Москву, а поскольку «в быту я, в общем-то, прост и доступен», очень хотел бы в ближайшее время увидиться с тобой. Не поверишь, соскучился по тебе страшно. И это вторая, надеюсь, как и мой приезд, замечательная новость. Более того, представляешь, я даже в поезде стих о тебе сочинил. Послу-

шай и оцени, — продолжал я дурачиться в каком-то приподнятом настроении, начав декламировать:

*Как хочется к груди твоей припасть!
Я понимаю — это только страсть.
Но что поделать мне с душой моей?
Люблю красивых женщин, хоть убей!*

— Ну, как тебе? — осведомился я.

— Шедеврально! — не скрывая иронии, проговорила Ирина. — Особенно если сделать акцент на второй части этого слова: «врально». И если не знать, что ты болтун, и тебе ничего не стоит выдать желаемое за действительное, то обе новости, в общем-то, действительно хороши. И, кстати, повод увидеться в ближайшее время у нас будет, — добавила она. — А что касается стихотворения, то тут просто явная параллель прослеживается между тобой и Пушкиным. Жаль только, что я не Елизавета Воронцова. Ибо именно о них и их гипотетических встречах в Одессе, когда Александр Сергеевич служил в канцелярии её супруга, и написал некий неведомый не то доброжелатель, не то подстрекатель, завидовавший поэту, например Раевский, тоже влюблённый в Воронцову...

Говорить по телефону с Ириной мы могли подолгу. И наш безобидный трёп, это чувствовалось, нас обоих никогда не тяготил.

— Ира, ты меня просто заинтриговала. О каком это стихотворении ты ведёшь речь? Не помнишь, случайно, наизусть? Интересно бы было послушать.

— Отчего же не помню, сударь, — в тон мне ответила Ирина. — Помню. — И она, своим так всегда волнующим меня, низким, будто бы чуть ленивым, голосом, прочла:

*Горит вдали закат пунцовый
И Пушкин у мятежных вод
Вновь на колени Воронцовой
Шальную голову кладёт.
Стихи читает по привычке —
Влюблённый, пылкий, молодой —
И на груди у католички
Целует крестик золотой.
Вздыхая, будто бы в печали,
Она корит его опять:
«Ах, matka боска! Обещали
Вы только крестик целовать»...*

— Ира, я рад, что мой стих действительно похож на этот. И в свою очередь, торжественно обещаю, что когда мы встретимся, я буду целовать только крестик на твоей груди, тем более что ты не католичка, как полячка по отцу пани Браницкая, она же Воронцова, — смиренно проговорил я.

— Так я тебе и поверила! — озорно и кокетливо отозвалась Ирина.

Ирина была красивая женщина. Выше среднего роста. Стройная, черноволосая, с зелёным омутом глаз. С чуть, будто бы, капризными губами, высокой грудью, и прекрасной атласной кожей. Правда, глаза у неё, даже когда она смеялась, оставались задумчивыми или печальными...

— Так вот, — уже по-деловому, прервав мои такие сладостные размышления, продолжила Ирина, — мы можем встретиться буквально завтра. И не только встретиться...

- Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, — перебил я её.
— Ты будешь дальше слушать или как? — строго спросила Ирина.
— Буду, — вновь покорно подчинился я.

— Так вот, завтра мы можем вместе выступить в библиотеке, которая находится совсем недалеко от моего дома. Только сразу предупреждаю, я там буду не одна (и хотя я понимал, что не имею на Ирину никаких прав, поскольку я не свободен, сердце моё в тот миг будто кто-то, довольно сильный, начал слегка сдавливать), а со своим шефом (давление на сердце ослабло). Мы там будем представлять свои книжки. Шеф же мой человек с большим гонором, не по таланту, впрочем, — с грустью добавила она, и сердце моё кто-то сильный уже перестал сдавливать вообще, а Ирина продолжила, — и он любит первенствовать и не поймёт, если я ему скажу, что пригласила на нашу встречу ещё кого-то, выступить вместе с нами. Поэтому мы сделаем так. Ты будешь смиреннько сидеть в зале, а я, как бы узнав тебя, «самобытного сибирского поэта», прямо во время своего выступления, или после него, попрошу у шефа позволения, чтобы и ты прочёл парочку стихотворений. Он на это кивнет. На сибиряка, на экзотику, хотя павлин он ещё тот. Поскольку глубоко уверен в том, что лучше него стихи писал разве только что Есенин. А остальные ему не ровня, и не конкуренты. Вот там, в библиотеке, вне зависимости от того, согласится он на твоё выступление или нет, мы и встретимся. — Ирина продиктовала мне адрес. И я убедился, что библиотека находится действительно совсем недалеко и от дома Ирины, и от Комсомольской площади у трёх вокзалов, откуда я ей и звонил. И частенько, только прикатив в Москву, и не отправившись даже ещё к Андрею Данилову, у которого всегда останавливался (тем более что с Ольгой они к тому времени развелись), я звонил Ирине. И если она была дома, бежал к ней, оставив свою дорожную спортивную сумку с вещами в автоматической камере хранения. А от неё, уже наговорившись и нацеловавшись вволю, ехал, предварительно забрав свои вещи, на метро на «Автозаводскую». К Андрею, его младшему брату Александру, работавшему оператором на телеканале НТВ, и их хлебосольной матери Марии Васильевне, всегда выделявшей мне маленькую угловую комнату в их четырёхкомнатной уютной, просторной квартире. Правда, за окном «моей» комнатки росло огромное дерево, почти совсем не пропускающее света. Отчего в ней даже днём бывало сумеречно...

— Ну, Ира, я прямо как Чацкий, с корабля на бал, — ответил я ей. — До встречи...

— До встречи, — эхом отозвалась она.

На следующий день в библиотеке всё произошло именно так, как и предполагала Ирина.

Почитав после Рябухина (прямо купающегося, словно в тёплом бассейне, в лучах своей славы и значительности) несколько своих очень хороших стихотворений и закончив выступление такой строфой, при этом очень выразительно, как мне показалось, посмотрев на меня:

*Ещё скажу, не покривив душой:
Ни словом, ни желанием единым
Я никому не буду — госпожой.
И мне — никто — не будет господином.*

Поклонившись на довольно дружные аплодисменты и подождав, пока они стихнут, Ирина сделала вид, что увидела во втором ряду, с краю, тоже усердно

хлопающего в ладоши, «нашего коллегу по перу, студента Литературного института, из Иркутска». После этой фразы, обернувшись, она вопросительно взглянула на Рябухина. На что тот снисходительно и прямо-таки царственно, обратившись ко мне, предложил:

— Может быть, и вы прочтёте парочку своих стихотворений?

Я, разумеется, не стал капризничать и, подойдя к столу, за которым он сидел с Ириной, и на котором были разложены для продажи их новые книги, тоже прочёл два своих стихотворения и тоже «сорвал аплодисмент», как говорят актёры. Чему, разумеется, был рад и благодарен Ирине за её затею. Ибо в Москве я ещё ни разу нигде не выступал.

После выступления, когда библиотекарьши угощали нас чаем и коньячком с бутербродами в какой-то дальней небольшой комнатке, Рябухин, выпив очередную рюмку сего божественного напитка: «За высокую поэзию!», обратившись ко мне, проговорил, снисходительно улыбнувшись:

— Кстати, парочку строк у тебя, старик, в твоих стихах я отметил. Они были неплохие, свежие... А всё остальное, уж извини за откровенность, просто рукоделие, кружева, а не поэзия...

Я тоже выпил уже рюмки три коньяка, и рукоделия и кружев, да ещё при Ирине, стерпеть не смог. И, с самым невинным видом, именно так, как ученик обращается к мэтру, наивно спросил Рябухина об одном его стихотворении, которое он читал весьма пафосно и эмоционально, полагая его, по-видимому, шедевром.

— Я тоже отметил у вас одну строку. И изумился тому, что вы совсем, оказывается, не чувствуете и не слышите слово. А ведь каждое слово имеет и свой вес, и свою окраску, и даже свой аромат, если хотите. А строка такая: «Когда знатьё б...» Я, как и вы, разумеется, тоже знаю это старинное слово знатьё, но в подобном сочетании оно звучит двусмысленно и неприлично, не находите?

Рябухин покраснел и напрягся, а Ирина, сидевшая за столом напротив меня, рядом с директором библиотеки, сделала мне большие глаза, пытаясь остановить.

Ну, я и остановился, не желая окончательно всё испортить, и даже предложил импровизированный тост: «За точность слов и выражений! И никаких чтоб сожалений!»

Выпили все, правда, молча. А я не стал дальше развивать тему точности слов, как хотел это сделать, вспомнив подобный казус с поэтессой Верой Инбер (1890, Одесса — 1972, Москва), урождённой Верой Моисеевной Шпенцер, двоюродной сестрой Льва Троцкого, кстати.

А казус с ней случился подобный же.

Она написала историческую поэму о Степане Разине и отослала её в Ленинград, для рецензии — Самуилу Яковлевичу Маршаку.

В ответном письме он сообщил ей, что поэма, в общем-то, неплохая, но есть в ней одна строка, которую надо бы заменить. И указал ей на эту строку. На что Вера Инбер ответила маэстро весьма заносчиво, что каждый судит по мере своей испорченности, и что ничего пошлого в её строке нет.

Более того, она решила прочесть свою поэму, кажется, в поэтическом кафе (задуманном Сергеем Есениным) «Стойло Пегаса», и как только прочла ту самую строку, на которую ей указал Маршак, в зале раздался прямо-таки гомерический хохот. Ведь там, всё-таки, собирались поэты, хоть и имажинисты, в основном, старающиеся публику эпатировать. Но даже им такой эпатаж показался чрезмерным. А Маяковский, под раскатистый смех зала, уточнил: «Так кому там голову отрубили?».

А строки, вызвавшие столь бурное веселье, были таковы:

*«Уж ты гой еси, царь батюшка!
Отруби лихую голову!»*

И впоследствии, то ли сам Маяковский, то ли Илья Сельвинский, влюблённый в Инбер, то ли Маршак (источники разнятся), написал на эти строки следующую пародию: «Ах, у Веры, ах, у Инбер, что за глазки, что за лоб! Век бы ею любовался! Любовался на неё б!..»

Кстати и у меня самого, особенно вначале, случались подобные казусы, когда я, как бы, только видел, но до конца не слышал слово.

И, пожалуй, первый серьёзный урок по этому поводу мне преподавал прекрасный стилист Глеб Пакулов, отчего-то всегда довольно хорошо относившийся ко мне и, время от времени, читающий мои рассказы и повести в рукописном варианте, то есть, нигде ещё не опубликованные.

Он мне, при очередной нашей встрече, как раз и сказал, прочитав одну из моих ранних вещей:

— Повесть у тебя, дружище, получилась славная. Можно даже сказать хорошая, искренняя, свежая. Только слово ты не всегда чувствуешь, не слышишь его. А для писателя музыка слова, уж поверь мне, первейшая вещь. А у тебя встречаются, братец ты мой, причём нередко, скажем, такие ляпы, как: «И быть...», «И было...» Это всё подчистить надо. Ибо не благозвучно и даже пошлово звучит...

Я очень хорошо запомнил этот урок прекрасного писателя, и очень благодарен ему за это. А на одной из своих книг, а именно на книге «Предчувствие чудес», вышедшей у издателя Геннадия Сапронова (а он в отборе текстов был весьма щепетилён, как сам говорил, отбирая произведения по Гамбургскому счёту), я написал Глебу Иосифовичу такие слова, которые потом вошли в его библиографический указатель: «Моему Высочайшему Правителю (от слова править) Глебу Пакулову, от благодарного автора. 22 декабря 2008 г.»

Не сразу осознал я и то, что любое слово — это, собственно говоря, и есть первооснова художественного текста, шифр времён, сам Божественный Логос, воплощённый в слове. И оно, кроме звучания и, несомненно, божественного своего происхождения, как сказано в Евангелии от Иоанна: «Вначале было слово. И слово было у Бога, И слово было Бог...», имеет ещё, как минимум, две оболочки. Понятие и образ.

Например, понятие слова «подснежник» таково — это цветок, семейства злаковых.

Образ слова — это уже некоторая внутренняя его сущность, кроющаяся в наших ощущениях и представлениях. Поскольку, произнося любое слово, каждый видит всё-таки что-то своё. В данном случае, скажем, проталинку в снегу. Ведь в слове зашифрован и *снег* и то, что *под* ним, под снегом, оттого и *подснежник*. А ещё, может представиться и что-то сопутствующее этому. Например, голубое небо, и яркое весеннее, жёлтое и пушистое, как цыплёнок, солнце...

Внешняя же форма слова — звук служит внутренней его сути. Вот отчего звуковое, можно даже сказать музыкальное, отображение текста должно быть не замутненным, а — светлым и чистым, как песня горного ручья...

Ведь слово — это есть сфера отражения сути и сущности явления, как написано об этом иркутским философом Евгением Мажолисом в его книге «Сказки разума».

Я также убеждён в том, что слово всегда и неизбежно отображает какое-то

явление. Без него оно просто не может появиться. И если есть, скажем, слово бессмертия, значит и явление это есть, поскольку, как я уже сказал, слово не может возникнуть на пустом месте...

И именно поэтому со словом надо быть очень аккуратным и осторожным. Но многие, увы, этого не понимают и не хотят понимать, множа горы графоманских текстов. Неких ритмических заклятий. Почти ничего не выражающих, кроме невнятного гула...

А ведь любое услышанное нами слово, кроме звуковой, в первую очередь воспринимается нами, как бы, вершины айсберга, имеет ещё и глубинное значение.

Например, такое слово, как со-весть — это ведь согласная с чем-то высшим весть. Или слово событие. Это не просто некие события жизни, которые, в конечном-то итоге, и описывает, собственно говоря, преобразая их, всякий литератор — хороший и не очень. Правда, у хорошего автора событие превращается в со-бытие. То есть, сопряжённое, опять же с чем-то высшим, бытие. А у посредственного — это просто обычное событие. Дневник настроений. И дневник этот вряд ли растрогает читателя до глубины души. Тем более (и творческие люди не должны никогда забывать об этом), что для писателя реально существует четыре измерения Времени. Прошлое. Настоящее. Будущее. И Вечность. Хотя, известный китайский мудрец Конфуций, живший более чем за пять веков до нашей эры, считал, что для обычного человека существует только одно время. О чём он писал так: «Прошлого — уже нет. Будущего — ещё нет. Есть только настоящее...» Но это справедливо именно для обыкновенного человека, а не для творца. Недаром же весёлый и очень талантливый писатель О. Генри, написавший 273 рассказа (и все они шедевры), говорил: «Я надеюсь, никто не станет сравнивать обычного человека и писателя. Это совершенно разные люди...» А о писательском искусстве он выражался ещё более парадоксально: «Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от читателей всё, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные, не относящиеся к делу предметы...»

Чем я сейчас, собственно говоря, и собираюсь заняться.

Изложением своих заветных взглядов, мыслей или сентенций, если хотите, касающихся различных вопросов, и философских, и политических, и житейских. Но, так и не ставших чем-то самостоятельным, оставшимся лишь некоторыми цветными лоскутками, мыслями на лету, фрагментами к ненаписанным рассказам. И которые мне интуитивно, ощущая их важность, хотелось бы довести до читателя, хотя они, вроде бы, и не связаны с общей канвой сего повествования. А ведь интуиция, как говорила о ней Агата Кристи, это странная вещь. И отмахнуться от неё нельзя, и объяснить её невозможно...

Вот и я не стану ничего объяснять, а сразу приступлю к делу, к своим размышлениям...

Итак: смерть — это распад Времени и Пространства, чему, собственно говоря, и противится любое живое существо и настоящее художественное произведение.

Вдохновение — это ни что иное, как повышенное мнение о себе.

Талант — верно выбранное направление.

Творчество, как таковое — это, прежде всего, одиночество, ибо в этом процессе у тебя нет, и не может быть помощников. Ты один на один с Вечностью.

Нынешняя Америка (конкретно США), и холопски подчиняющаяся ей Европа, со всеми своими, насквозь пропитанными ложью, так называемыми либеральными ценностями — это, на мой взгляд, нечто напоминающее смердение довольства

самими собой и своим образом жизни. Кажущимися европейцам единственно верными, а потому и навязываемыми повсеместно другим народам. А ведь именно энергия недовольства собой сохраняет разнообразие этносов. Ибо сытые народы, как правило, нежизнеспособны, они гибнут. И примеров исторических тому не счесть.

А вот этносы и народы, испытывающие постоянный пресс со стороны других (В наше время, по отношению к России, это и экономические санкции всей Европы и США. И информационная война, которая гораздо хуже войны настоящей, поскольку калечит в первую очередь душу. А душа, дух нации, этноса — его пассионарность — важнее, если можно так сказать, народного тела), обретают как правило ещё большую силу...

И ещё я убеждён, что Добро, в конечном итоге, всегда победит Зло. Ибо Зло разрушительно в самом себе, поскольку не ведёт, в конечном-то итоге, ни к чему, кроме самоистребления. Вот отчего злой человек, по мнению Иммануила Канта, не может быть счастливым. Ведь оставаясь наедине с собой, он остаётся наедине со злодеем.

И Свет всегда побеждает Тьму. «И светит свет, и тьма не объяла его...», как говорится в Евангелии от Иоанна.

Любая война — это неестественное явление. Поскольку на войне нет, и не может быть, жизни. Там есть только борьба со смертью. Что противоречит естественному состоянию любого человека...

И под конец, о житейских, но важных и, увы, порою неизбежных, своих ощущениях.

Как-то утром я проснулся, и ещё спросонок взглянув на внутреннюю часть своего локтевого изгиба, увидел сеточку мелких морщинок и некую дряблость кожи, которых никогда не замечал ранее. Именно такую кожу я видел очень давно, в детстве, на руках моей любимой бабушки Ксении Фёдоровны. И которая на мой недоумённый вопрос, почему у неё такая кожа, отвечала: «Так от старости-то, внучек, никуда не спрячешься...»

«Значит, и я уже дожил до старости, — не то чтобы уж слишком опечалившись, ибо жизнь не настолько длинна, чтобы предаваться ещё и печали, но всё же с некой горечью, подумал я. — И что же. Значит зря я каждое утро делаю зарядку и в свои семьдесят три года тридцать раз отжимаюсь от пола? Да нет, наверное, не зря. Ведь чувствую-то я себя в свои немалые годы хорошо. Так что Господь ко мне милостив. И многое ещё я планирую сделать. Например, написать, всё-таки, повесть «Последний зверь Хемингуэя», которую так давно вынашиваю в себе. И вот уже много лет собираю материал. Да и не чувствую я себя ещё старым, просто Господь посылает мне свои меты о том, что всё имеет свой предел... И как об этом, о конечном пункте на земле каждого живущего на ней, хорошо поётся на литургии, прося у Господа: «Христианской кончины живота моего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном суде твоём, Господи, просим...» Чтобы быть ни себе и никому не в тягость, и спокойно отойти в мир иной. И отчего-то вспомнилось, в связи с этим, как после смерти отца — писателя Юрия Германа, его сын — режиссёр, снявший по его произведению очень хороший фильм «Мой друг Иван Лапшин», Алексей Герман, нашёл у него в столе записку, написанную, по-видимому, во время тяжёлой и продолжительной болезни: «Как бы так умереть, не кокетничая...»

А что я могу передать своему сыну?.. — продолжил я свои размышления.

Дачу на Байкале, да десяток своих книг? Но то ли это, что надо ему?..

Могу, конечно, попросить его заранее молиться обо мне после моего ухода в мир иной, как это делаю я, уже многие годы, молясь обо всех наших близких, ушедших от нас в Неизведанное. Веря в то, что их душам это необходимо. И список усопших, близких мне родных и друзей, увы, с каждым годом становится длиннее, а список тех, о ком молюсь за здоровье, короче...

Уже много лет я молюсь не только о наших бабушках и дедушках, о наших родителях — своих и моей первой жены Наташи, о ней самой, её брате Александре, и о своей сестре Галине-Шуре, но ещё и о своих друзьях и близких мне писателях. И не могу никого убрать из этого длинного скорбного поминального списка, понимая, даже пожалуй, зная наверняка, насколько это необходимо их бессмертным душам в ином мире, как единственная надежда на спасение. А кто же, увидев тонущего человека, не протянет ему руку?..

И здесь, мне кажется, самое время поговорить о том, какая, в принципе, разница между верой и знанием.

Начать надо с того, что вера и знание — это две совершенно разных реальности.

И если знание базируется на проверке опытом, то вера, хоть и обретается тоже опытом (Например, так обрёл её Савл, книжник и мудрец, встретившийся по пути в Дамаск с Христом, и узнавший настоящую, а не книжную, истину, стал впоследствии апостолом Павлом), всё-таки, принадлежит к иной реальности. Как чудо, которое происходит, зачастую, вопреки всем физическим земным законам. На то оно и чудо. И как об этом хорошо написано в конце одного из стихотворений у той же Ирины Шалаевой, в её книге «Этюд со звездой», изданной в 1991 году в Твери, и подаренной мне в 1993, в Москве, когда я принимал участие в велопробеге «Пекин — Париж»:

*И думать: вот прибой и небеса,
Вот Божий дар — сосновые леса
И дюн загадочная облачная гряда.
И в их молчаньи слушать голоса.
И, в грубые не веря чудеса,
Вдруг осознать: Я есмь! И впредь пребуду!*

Оттого-то и Бога невозможно определить опытным путём, при помощи известных нам законов, некой математической формулой. Вспомните, как об этом в своём романе «Бесы», устами одного из героев, говорил Достоевский: «Если б кто математически доказал мне, что истина вне Христа, то мне бы хотелось остаться со Христом, нежели с истиной...» О том же, фактически, он размышлял и в своём романе «Братья Карамазовы», в «Легенде о Великом инквизиторе». Ясно понимая, что Христос, как он сам о себе говорил: «Я есмь путь и истина и жизнь...» Поскольку Бог выше всякой земной реальности. О чём наглядно говорит хотя бы чудо воскресения Христа, противоречащее всем законам мира сего. Так что Бога можно познать только духовным опытом. Очень непростым и тяжёлым, ибо: «Царствие божие трудом нудится...» А вот духовности-то, духовного опыта, у большинства ныне живущих на Земле, как раз и недостаёт...

Кстати, первым «учёным», если можно так сказать, проведшим черту между верой и знанием, был не кто иной, как обычный рыбак из Галилеи апостол Фома. Получивший прозвище неверующий, поскольку не поверил в воскресение Христа, пока сам, опытным путём, в этом не убедился...

А Эйнштейн, умевший заглянуть за привычные всем нам далёкие, можно даже сказать, беспредельные горизонты, был убеждён в том, и не раз об этом говорил, что наука без религии хрома...

А наш выдающийся физиолог, академик Императорской Санкт-Петербургской академии Иван Петрович Павлов (1849–1936), родившийся в Рязани, и ставший в 1904 году нобелевским лауреатом «за работу по физиологии пищеварения», и вообще считал, что между религией и наукой нет никакого противоречия. Объясняя это тем, что многие выдающиеся учёные были верующими людьми. И это факт. А значит, религия не противоречит науке. Ибо, против факта не попрёшь...

Да, ещё я могу завещать сыну свой золотой крестик, который мне подарили почти четверть века назад члены нашей «Банной партии», самой чистой, самой незапятнанной, пожалуй, партии России, которую создал наш «банный адмирал» Леонид Михайлович Юдин. Директор ТЭЦ-2, расположенной на берегу Ангары, в самом центре Иркутска. И где, в одном из помещений этого огромного предприятия, была устроена прекрасная просторная баня для работников ТЭЦ. И куда мы — поэты Василий Козлов, Геннадий Гайда, Владимир Скиф и я, во главе с Леонидом Михайловичем, многие годы ходили по понедельникам. Отчего понедельник, не знаю, как для кого, а для меня точно не был даже с утра, когда надо было просыпаться и идти на работу, таким уж ужасным. И я даже напевал про себя не общепринятое: «Понедельник — день тяжёлый», а: «Понедельник — день весёлый...» А по понедельникам мы ходили в баню оттого, что работники ТЭЦ начинали посещать её ближе к концу рабочей недели, со среды до воскресенья. Ну и ещё, чтобы Леонида Михайловича его сослуживцы не упрекали за то, что их начальник со своими приятелями, не работниками подведомственного ему предприятия, занимает баню после трудового дня. Ибо в понедельник желающих посетить баню не было. А какой у нас там был последний понедельник года! Когда мы позволяли себе пить не только травяные чаи, как во все другие наши банные понедельники, но и шампанское! И оно, отчего-то, было невероятно приятным и вкусным после жаркой парной и прочих банных процедур. И выпивали мы его в такой вечер, зачастую переходящий уже в глубокую ночь, надо сказать изрядно, расходясь по домам, порою, задолго после полуночи. Теперь уже до следующей встречи в следующем году, то есть до первого понедельника...

А в связи со всеми этими моими сумбурными мыслями, меня поразила ещё и связь судеб, их переплетение. Юрий Герман и Алексей Герман — отец и сын. Арсений Тарковский и Андрей Тарковский. Тоже отец и сын. Большой поэт и большой режиссёр, который использовал стихи отца в своих фильмах. Очень хорошие стихи. Недаром же говорил Иосиф Бродский: «Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна...» Думаю, что это высказывание Бродского справедливо и для прозы. Ритмы только у прозаического текста иные...

К слову сказать. Совсем недавно переизбранный в Сербии на второй президентский срок, 3 апреля 2022 года, Александр Вучич, выступая перед своими сторонниками и, как бы, отвечая на то безумие «коллективного Запада», когда русофобия во многих европейских странах, из-за конфликта России с неонацистским режимом на Украине, сейчас прямо-таки идёт девятым валом, заявил:

— Мы не будем запрещать русскую литературу (В некоторых странах Европы это, впрочем, уже произошло. Правда, книги ещё не сжигают в кострах на площадях. Как это делали нацисты в Германии в тридцатых годах прошлого века), по-

сколькx тот же Достоевский выше всех европейских писателей вместе взятых. Не будем запрещать и музыкx Чайковского (Как это тоже имеет место быть, в некоторых, так называемых, цивилизованных странах). Не будем по-новому называть картины. (Как это сделали в одном из музеев Европы, переименовав картину Дега, написанную в девятнадцатом веке, и названную им «Русские танцовщицы», в танцовщиц украинских.) Хотя бы потому, что когда картина была написана, никакого украинского государства вообще ещё не было. Была Малороссия, входившая, как и прочие губернии, в состав Российской империи...

Пора, пожалуй, и заканчивать моё повествование. Которое, как думалось вначале, будет составлено из отдельных мозаичных фрагментов, из судеб знакомых мне людей, так или иначе причастных к этому таинственному процессу, именуемому творчеством. И эти отдельные мозаики должны были создать общую картину времени. Нашего времени. И стать неким объяснением такого феномена, как предназначение...

Ибо, героем этой незамысловатой вещицы выступает, всё-таки, не сам автор, а именно время, в которое он жил и о котором старался рассказать. Однако по мере продвижения вперёд понял, что мозаики, с какого-то момента, стали превращаться, как бы, в разноцветные нити, волокна времени из собственной судьбы и судеб тех, кого автор знал. Образуя впоследствии некий прочный канат...

А, как это ни банально, лучшим канатом, выживающим прошлое, и сохраняющим его в настоящем, является память. Недаром же говорится: «Где память есть — там смерти нет...» В связи с чем, я хочу, уж извини меня дорогой мой читатель, привести довольно пространную цитату из книги академика Дмитрия Лихачёва (1906–1999, Санкт-Петербург) «Письма о добром и прекрасном», поскольку сам так хорошо сказать не сумею.

Итак:

«Память — одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого... При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс: именно процесс и именно творческий. Запоминается то, что нужно; путём памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты... Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно.

Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединённым с прошедшим. Память — преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти.

Совесть — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершённого. Но если совершённое не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной...»

И разве не о том же говорил Пушкин:

*Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.*

Так что, не забывайте ни о чём хорошем, что делает нас людьми.

И о нас тоже не забывайте — о ныне живущих и тех, кто уже отошёл в мир иной...
Всего тебе доброго, мой дорогой гипотетический читатель.

Буду счастлив, если, к какому бы возрасту ты ни принадлежал, найдёшь в моих записках хотя бы часть того, с чем сможешь согласиться.

И ещё. Так сказать, «вишенка на торте».

Я всегда хотел жить так, чтобы жизнь моя не казалась, а именно была неким удивительным приключением...

И, кажется, мне это удалось.

Я объездил полсвета...

Бывал на Камчатке, Сахалине, Курильских и Командорских островах. Бороздил воды многих морей: Белого, Чёрного, Каспийского, Охотского, Японского и Тихого океана. Бывал в Закарпатье и Предгорьях Сихотэ-Алиня. Проехал на велосипеде почти всю Европу. Встречался с интереснейшими людьми современности. Брал в Париже интервью у великолепного французского актёра Алена Делона и у своего двойного тёзки Владимира Емельяновича Максимова, очень хорошего русского писателя...

Много раз влюблялся!..

Всего, пожалуй, и не перечислишь...

И многое из всего этого я помню...

И о многом уже написал...

А теперь вот написал ещё и о предназначении, как я его понимаю.

Причём, посылком к сему повествованию послужила старая запылённая папка, выуженная мною с антресолей, в конце прошлого 2021 года. С многочисленными отрицательными рецензиями о моих первых литературных опытах, из-за которых я всё же рук не опустил и не поверил многочисленным литературным подельщикам, упорно двигаясь в направлении избранного мною вектора судьбы. А сегодня даже подумал о том, что если тебе плюют в спину (а ведь на самом деле так оно и случилось у меня в начале моей литературной карьеры) — значит, ты идёшь впереди...

Куда я пришёл, судить уже не мне, а тебе, мой дорогой предполагаемый читатель.

Одно могу сказать, я старался написать интересно. Затратив на шестьдесят семь страниц текста более семи месяцев.

Так долго (по десять страниц в месяц) я, пожалуй, ещё никогда не писал...

А окончательно завершить своё повествование я хочу ещё одной фразой Иосифа Бродского, первым эпитафией которого сие повествование и началось.

Мысль его проста, но, на мой взгляд, абсолютно безупречна, и состоит в том, что: «Человек есть то, что он читает...» Ибо, читая, человек самостоятельно мыслит. А не это ли есть главная функция *homo sapiens* — человека разумного.

Так что читайте, мои дорогие, хорошие книги и не печальтесь о том, что вот и ещё один день нашей жизни минул. А, напротив, радуйтесь каждому новому дню, дарованному нам Вечностью, поскольку «истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду».

Вот и второй эпитаф у меня закольцевался.

А кольцо, как известно, это не только символ верности, но ещё и (поскольку оно не имеет ни начала, ни конца) бесконечности и вечности...

Один на один с Вечностью и Бесконечностью я вас и оставляю, мои гипотетические читатели.

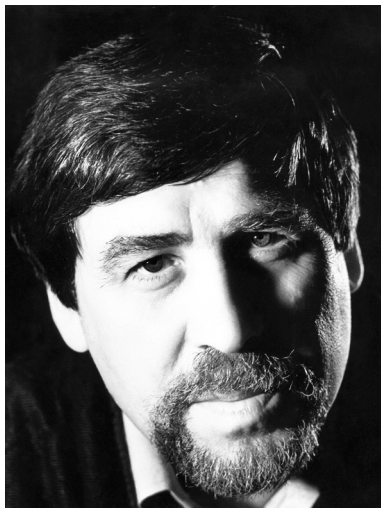
А дальше уже каждый из вас пусть сам распорядится этими бесценными дарами...

25 ноября 2021 г. — 20 июня, 3–7 октября 2022 г., Иркутск

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР СКИФ



«В наших сердцах мы заставы воздвигли...»

* * *

Двери не заперты. Выйду из дома.
Брошусь, как в воду, в траву.
Свет из земли польхнёт незнакомый.
Кто там? — в тиши позову.

Кто там? Быть может, далёкие предки
Светят величьем своим.
Райская птица воспрянет на ветке,
В небо — и пламя, и дым.

СКИФ Владимир Петрович родился 17 февраля 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 32 книг и собрания сочинений в семи томах. Владимир Скиф — член Союза писателей СССР, Член СП России. Секретарь Правления Союза писателей России. Член Приёмной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъём» (Воронеж), член редколлегии ежемесячника «Литературный Крым», зав. отделом поэзии журнала «Сибирь». Советник Губернатора Иркутской области по культуре. В.П. Скиф — лауреат многих Международных и Всероссийских литературных премий. Лауреат Большой литературной премии России. Четырежды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2011, 2012, 2015, 2019). Академик Российской Академии поэзии. Печатался в Америке, Аргентине, Канаде. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгарский языки. Живёт в Иркутске.

Жив Севастополь и жив Мариуполь! Дрогнут враги и раскрутится пламя,
Сколько вбивается в небо ракет, В чёрных долинах, как будто в аду.
Будто иглой зашивается купол И боевое раскроется знамя,
Алых небес и встаёт Пересвет. Как над Рейхстагом в победном году!

Пробужденье

Я час назад проснулся. Замер. Я жду победы, жду успеха...
И, словно сам себе чужой, Я крикнул, кажется, в зенит.
Лежу с открытыми глазами, Но тишина в ответ, лишь эхо
Лежу с распахнутой душой. Над спящей Родиной звенит.

Пытаюсь мир вернуть из боли, Рассвета порванное знамя
Пытаюсь эту боль постичь. Сгорело над страной большой...
Из боли, будто из неволи, Лежу с открытыми глазами,
Я боевой бросаю клич. Лежу с обугленной душой.

Господа офицеры

Господа офицеры, да что же такое стряслось?
Господа офицеры, да как же такое случилось?
Нашу Родину шпагой пробила Вселенская ось,
Или сил сатанинских несметная рать ополчилась.

Господа офицеры, не надо стреляться во рву!
Господа офицеры, сумейте сберечь револьверы!
Я судьбу, как ромашку, горячею пулей сорву,
Но в себя не пальну. Надо жить, господа офицеры.

Господа офицеры, сходитесь на доблестный круг.
Господа офицеры, есть имя святое — Россия!
Снова танки — навывлет — пробили российскую грудь,
Снова русскую кровью родные поля оросили.

Господа офицеры, не бойтесь опальных знамён.
Господа офицеры, последнею веет войною.
Снова делят Россию — Россия стоит у икон
Со своею судьбой, со своею бедой и виною.

Господа офицеры, вас помнит победная Русь!
Господа офицеры, в вас верит святая Отчизна!
Позовите меня! Я на клич боевой отзовусь.
Никого не предам! Буду верным и в смерти, и в жизни!

* * *

Моя земля — она едина, Неразделима на куски. Моя земля — песок и глина, Источник веры и тоски.	Я для моей России верным Всегда останусь на земле.
Моя земля — она живая, В ней теплота материка. Деревьев крепь сторожевая Восходит прямо в облака.	Моя земля покрыта прахом И вдовьей горькою золой. Летит душа орлиным взмахом Над потрясённую землёй.
Я в этом мире многомерном, Как будто ветка на стволе.	Ей в горе жить невыносимо, Ей тяжело стонать во мгле... Моя любовь невыразима К моей истерзанной земле!

Господний свет

И этот свет издалека, невыносимый, бьющий в душу,
Я обнаружу в час ночной, в холодный, лютый час.
Кто светит мне? Кто там во тьме ещё доселе не потушен?
Кто светит мне, чтоб я во тьме навеки не погас?

Мы с этим призрачным лучом неотделимы друг от друга.
Кто светит мне? Убитый царь? Церковный ли звонарь?
А может, там, в крошечной мгле, где серой рысью скачет вьюга,
Горит небесным фитилём пред Господом фонарь?

Я оторвусь, как пёс цепной, от приковавшей сердце будки,
Возьму, что будет под рукой: клюку или костыль,
Чтоб не разбиться в темноте, чтоб оказаться через сутки
В краю, где злее темнота, зловоннее бутыль...

Свет отдалялся и, увы! — он оказался светом дальним,
Он заманил меня туда, где смрадная река...
Но я очистил этот смрад, прижился в доме привокзальном,
А свет по-прежнему сиял, манил издалека.

Я дальше к свету не пошёл. Одна из истин непреложна:
Пойдёшь на свет, найдёшь извет и исполнишь завет!
И понял я в тиши ночной, что это просто невозможно,
Дойти до Бога, но узнал, что есть Господний Свет.

* * *

Сердце доброе, скажи — веришь почему
Злому гению — тому, кто в обман поверг
Эту землю? Этот мир окунул во тьму,
Чтоб библейский белый день над землёй померк?

Сердце русское, скажи — стонешь почему?
Отчего твоя тоска расцвела окрест?
Может, ведомо тебе — или — никому:
Отчего скорбит народ и влачит свой крест?

Вот и снова на земле грянула война...
Снова взрывами, дымясь, задохнулся век.
Русь великая моя, ты стоишь одна,
В дýши сыплется с небес порох или снег.

Над Отчизной, что грустит в пепле и золе,
Раскатился, разметал крылья чёрный вран.
Но орёл к нему летит с радугой в крыле:
И врага на части рвёт, и повержен враг.

Как по травушке мороз, по морозу след.
Так и в мире, и в душе отстоится день.
И над Родиной моей возгорится свет,
Возгорится и затмит Мировую тень!

* * *

Снова томится и душу мне застит
Край мой угрюмый, слепая тоска.
Поле родное, открытое настезь,
Нет на селе твоего мужика.

Срубы замшелые смотрят убого,
Сердце деревни сгорело дотла.

И проступает, как вена, дорога
На пустыре у больного села.

Рухнули слёзы на старую школу,
На зерносклад, от разора пустой,
Где одинокий скрывается голубь,
Вставший, как Ангел, в селе на постой.

* * *

Сегодня долгий, беспросветный день
Крошил снежок из облачного sklepa.
И постепенно вынимала тень
Любую малость светлую из неба.

Нет, не убраться тревоги из меня
И не исторгнуть ни вытья, ни крика.
Скончалось небо на исходе дня,
И день из ночи не поднимет лика.

И ты не удостоила меня
Сердечным взглядом, ветреной улыбкой.
Я тоже рухнул на исходе дня
Между тобой и темнотою зыбкой.

А если так, то что было вчера?
Мы в жизнь спешили по январской стыни,
Нам показалось — с самого утра
Сошла на землю вечная пустыня.

И вот она уже разбила день
И ввергла нас в воронку расставанья.
Нас пожирала медленная тень...
Спасём ли мы земное бытованье?

Спасёмся ли, отнимем ли опять
Себя у ночи и у безобразья —
Молчать внутри себя и погибать
На тёмных берегах однообразья?

Молитва

Спаси меня, Господи, неотторжимый
От сердца России, от русской души.
Какие бы нас ни глушили режимы,
Какие б ни путали нас миражи,

Мы молим единого Господа Бога
О нашем народе, чтоб выстоял он.
Верши свою проповедь,
Господи, строго.
Тебе мы несём за поклоном поклон.

Спаси меня, Господи, верный и правый,
От зла, от болезней, от смуты в душе.
Не надо мне злата и ветреной славы,
А надо Всевышнего чуда уже.

Палица

Время зыбкое в небе провалится,
И оттуда, из тёмных высот,
Древнерусская вылетит палица
И гулять по России пойдёт.

Уж она-то пойдёт, позабавится,
Потревожит Великий Устюг,

И в Москву воровскую направится,
Приголубит воров и бандюг.

Пусть побитые — Богу пожалятся,
Если кто-то из них оживёт...
Бог простит, может быть, ну а палица
Самых подлых искать поплывёт.

Всех приветит и всем им отвалится
По заслугам. И дай-то Господь,
Чтоб являлась железная палица
Бесноватых и злых прополоть.

* * *

Обомлеть и остаться надолго, навеки
Подле мокрого солнца и чёрной воды.
Я себя не узнаю в обличье калеки,
Я себя не возьму до ближайшей звезды.

Утром холод стоит, и целуются флоксы,
Чтобы ночью себя от мороза спасти.
Осень падает навзничь, и некая плоскость
Порывается в космос её унести.

Неужели навек там останется осень,
Её тёмный багрец упадёт на звезду.
Неужели меня моя стылица¹ бросит,
На свидание к ней я уже не приду.

Загремит астероид в небесном отсеке,
Упадёт стрекоза или с неба скала...
Я себя не узнаю в обличье калеки,
Потому что из осени — осень ушла.

На угасшей звезде

И тихо, и звёздно, и как-то неловко
Бродить по угасшей звезде.
Ни Евы, ни яблока... Веет низовка,
Да стынет змея, да еврей-полукровка
Мечтает о пресной воде.

Здесь всё уже стало пустым и не вечным:
Дорога, пристанище, речь.

¹Стылица — синоним осени, авторское слово.

И только в Пути нависающем Млечном,
Как будто в плавильне веков быстротечной,
Вселенская видится течь.

Качается время, скрывает пустыня
Пропавших и павших землян.
Их всех почему-то кресты закрестили
И в полночь к угасшей звезде пропустили,
Где лопнул небесный стакан.

В терновнике голом заухала совка,
И в горле песок запершил.
В лесу закровавилась божья коровка,
Заплакал в пустыне еврей-полукровка,
А может, Иуда ожил.

Последнее мы проиграли сраженье
С самими собой, смертный холод унёс
Земное случайное наше рожденье,
И вряд ли Земле принесёт Возрожденье
Уставший от крови Христос?!

Крылья

Сегодня ночью вдруг открыл я,	Пытался только лишь взлететь я
Что я, как птица, я — крылат.	И крылья вовсе не скрывал,
Мне ночь выкручивает крылья,	А сатана — мой враг-свидетель —
А я ни в чём не виноват.	Их тёмной ночью оторвал.

Мясник

В его руках — топор тяжёлый...	Среди гремучего базара
Он к туше ласково приник	Топор значенье обретал,
И хряснул так, что у монголов	И звук свистящего удара
В степях летучий смерч возник.	До континентов долетал.
Орда проснулась Золотая,	Топор вздымался на полсвета,
Залопотала вдалеке,	На небе пряталась луна,
В иных веках, не забывая	И Вашингтону мнилось — это
О грузном русском мяснике.	Летит ракета «Сатана»!



ВЛАДИМИР КИРЕЕВ



Серебристые листья полыни

РАССКАЗЫ

Два дня измены

Еще не уставшее за короткий зимний день солнце уходило на отдых за грядущими крутыми прибайкальскими горами. В его последних лучах голубизной светился край неба, переходя в вечернюю темноту.

Алексей лопатой вычистил весь снег, что обильно навалил за два дня.

Уставший и взмокший от пота, он стоял возле крыльца своего дома, любясь на закат. Над поселком висела зимняя тишина.

КИРЕЕВ Владимир Васильевич, прозаик, публицист. Родился 3 февраля 1956 г. в пос. Кордон Чебулинского района Кемеровской области. Окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Работал на должности директора мясокомбината в г. Тулун. В 1991 г. окончил аспирантуру Московского государственного университета прикладной биотехнологии и защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 г. был избран членом-корреспондентом Международной академии холода. В 2006 году защитил докторскую диссертацию. Избирался депутатом Законодательного Собрания Иркутской области от ЛДПР. Член Союза писателей России с 2009 г. Рассказы и очерки публиковались в журнале «Сибирь». Автор книг: Возвращение к себе (Иркутск, 1999); Вот и управилась к празднику (Иркутск, 2006); Журавли над полем (Иркутск, 2011); Жить и работать для людей (Иркутск, 2013); К лучшей жизни (Иркутск, 2015); Здесь начинаются рассветы (Иркутск, 2017), а также многочисленных публикаций в областных и центральных изданиях. Живет в Иркутске.

По улице, шумно хрустя снегом, шел человек. Он остановился напротив дома, как будто хотел войти в ограду. Но входить не надо было, Алексей сам открыл калитку.

— Добрый вечер! — Поздоровался высокий, худощавый сосед Игорь и протянул руку. Он жил через два дома по этой же улице.

— Доброго здоровья! — приветливо ответил Алексей.

— Слушай, тут такое дело, — заговорщицким голосом начал он.

«Неужели выпить предложит?» — с радостью подумал Алексей.

— Можно я у тебя машину в гараже поставлю?

— Там же «уазик» у меня стоит.

— А две не войдут?

— Нет.

— Ну тогда разреши в ограде оставлю. Через два дня у жены день рождения, хочу ей «Джимни» подарить. Сегодня позвонили из Судзуки центра, нужно срочно забирать, а оставить негде. Хочется приятный сюрприз сделать.

— Да не вопрос. — Ответил Алексей. — Помочь соседу всегда рады.

— Только ты никому... Понял?

— Конечно, могила, — обещающе засмеялся Алексей.

— У тебя в гараже что-нибудь есть? — ненавязчиво спросил Игорь.

— Обижает, — ухмыльнулся Алексей.

Они присели у верстака, Алексей открыл початую бутылку самогона, настоящего на ягодах брусники.

— Только по одной, — сразу предупредил Алексей. — Я еще поработать хотел.

— По одной, так по одной, — согласился Игорь. — Только я перекурю по-быстрому.

На следующий день, ближе к полудню, приехал Игорь на блистающей свежей краской машине. Ее загнали в ограду, накрыли сверху синим тентом. Сосед протянул Алексею ключи.

— Да зачем, не надо, — смутился Алексей. — Тут всего-то два дня.

— Нет, у меня такой принцип, если оставляю машину, ключи всегда отдаю хозяину стоянки. Мало ли что, вдруг пожар.

— Да сплунь ты! — Перебил Алексей. — Давай ключи.

Сосед попрощался и ушел.

Алексей вошел в дом, повесил ключи в ящик у входной двери. Жена сидела в кресле, смотрела телевизор и по-семейному, с доброй улыбкой ждала хозяина. Так она встречала его после работы и пять, и десять, и тридцать лет назад. Разница была только в том, что с годами на ее лице появлялось все больше морщин. Но Алексей не замечал ничего, что старило жену, для него она была такой же, как и тридцать лет назад.

— Что за машина у тебя? — Недоуменно спросила жена за обедом.

— Да вот купил, — ожидая похвалы, заулыбался Алексей.

— Не обманывай!

— Да вон ключи перед дверью в ключнице висят. Проверь, если не веришь.

Она лютыми глазами посмотрела на мужа.

— Зачем?

— В лес за грибами будем ездить. — Радостно заулыбался Алексей. Вдруг он заметил, как лицо жены покрылось багрянцем, не то от досады, не то от злости.

— До сих пор за грибами ездили на «уазике». Это что за новости?!

— Теперь будем ездить на «Джимни», — пытаюсь сохранять спокойствие, твердым голосом сказал Алексей.

Жена в этот миг преобразилась и стала похожей на упругую струну. В ее голосе появилась решительность и твердость, словно была уверена в своей правоте и уже никто не сможет ей перечить и возражать:

— А ты почему со мной не посоветовался? Я тебе кто, жена или домработница, что ты мне даже слова не сказал. Машину видите ли он купил. Когда только успел? Старый дурень.

И если до сих пор она была мягкой и доброй, то сейчас была готова перейти в рукопашную за свою правоту.

Алексей быстро похватал обед, сказал спасибо и вышел на улицу.

Немного погодя позвонил старший сын Александр:

— Пап, ты что, машину взял?

— Да! А ты откуда знаешь?

— Мама сказала. А зачем она тебе?

— Захотел вот и купил, — с раздражением сказал Алексей, — маму хотел порадовать.

— Мама не особо рада твоему приобретению, — с ехидцей в голосе произнес Саша.

— Конечно, — встряла в разговор жена. — Лучше бы детям помог, денег дал.

И чтобы услышал сын, громко сказала:

— Приезжайте на выходные к нам и забирайте машину. Что она тут под окнами торчать будет.

— Да никому я ее не отдам, — возмутился Алексей.

— Пир во время чумы устроил. — Заплакала от безысходности, навзрыд жена. Я шубу хотела купить, а он машину. Вот гад какой.

— Да купим тебе шубу. — Уже не на шутку испугавшись, пытался успокоить ее Алексей.

Вечером позвонил младший сын:

— Пап, а какой комплектации «Джимни»?

Алексей опешил от вопроса, но даже не стал спрашивать, откуда он знает про машину. К тому же он и не знал, что сказать про комплектацию, но быстро сообразил:

— Последняя люксовая, — выпалил он и, немного подумав, добавил. — Хорошая машина.

— Да я видел ее, у моего друга такая. Только она же маленькая.

— Как маленькая, такая же как наша «Нива», только японская.

— А «уазика» своего что, продавать будешь?

— Да нет, не буду, две машины будет. Одна по городу, другая в лес ездить.

— Да на такой и по городу не стыдно проехать.

— Конечно, — согласился Алексей.

Жена, недовольная разговором, психанула и ушла в детскую. Алексей лежал и думал: «Что-то пошло не так. Все же было хорошо до появления машины. А тут вскрылась вся сущность родных». Он даже и не мог подумать об этом. Больше всего нас ранят самые близкие, потому что наши души открыты для них.

Утром пришел сосед Николай, он еще вчера согласился помочь Алексею поставить навес под дрова.

— Это что у тебя?

— Пошли покажу, — приветливо, с видимым хвастовством ответил Алексей.

Он поднял с боковой стороны тент, и автомобиль засиял в солнечных лучах новенькой перламутровой краской.

— Ого! Это чей?

— Мой!

— Зачем он тебе, у тебя же новый «уазик»?

— В лес буду ездить.

— С жиру бесишься, — недобро пробурчал Николай.

— Я что, не могу себе позволить машину купить?

— Да, пожалуйста, покупай, кто ж против.

— Ладно, — опуская на место тент, добродушно проговорил Алексей. — Пойдем лучше навес городить. Ну ее, эту машину, одни только неприятности от нее.

— Нет! — Категорично заявил Николай. — Мне надо баню идти топить.

— Зачем? У нас же в субботу банный день.

— У меня там вода перемерзла.

— Как же так, вроде и морозов нет, — недоумевал Алексей. — Давай хотя бы два бруса поставим, а там я один справлюсь.

— Не, не, мне некогда, я пошел. — И Николай, что-то бормоча себе под нос, вышел из ограды.

— Да что ты будешь делать! — досадовал Алексей. — Я думал, только от врага можно ждать самого худшего, а от соседа и друга только хорошего, но каждый наш сосед или друг — простой человек, у которого есть свои слабости и желания, и человеческая природа всегда берет верх. Ох уж этот «Джимни»!

Вечером пришла жена Игоря. Невысокая, с тонкой талией женщина. Из-под вязаной шапки выбивались обесцвеченные волосы и свисали на худые плечи. Ее губы были накрашены в тон ярко-красной куртки, которая плотно облегалась телу.

— А мой дурень-то машину купил. — В расстроенных чувствах проговорила жена, встречая соседку.

— Ой, какая красивая! — Восхищалась Дарья, округлив свои зеленые глаза из-под наклеенных черных ресниц. Она осторожно приподняла край тента. — Везет же тебе.

— Не спросил, не посоветовался, — не унималась жена, — на тебе, пригнал, в ограде стоит, полюбуйте на нее.

Дарья недоуменно смотрела на соседку.

— Ты что, не рада? — Я давно о такой мечтала.

Жена бросила на нее недобрый взгляд, полный упреков, но потом поняла, что Дарья-то тут ни при чем. Она ласково улыбнулась, выпрямила сгорбленные плечи:

— Пожалуй, пойду я картошку жарить.

— Я тоже пойду, — промолвила Дарья.

— Да! — усмехнулся, почесав затылок всей пятерней, Алексей, который до этого все молча слушал и наблюдал.

Жена злыми глазами глянула на мужа, ее рука потянулась к машине, потом она ее резко отдернула, будто вот-вот коснется раскаленного железа.

— Я что-то не пойму, у нас что, кто-то заболел или умер в семье, что ты так сокрушаешься. Мне все равно, что ты купишь, что я, лишь бы в семье все было хорошо и спокойно, лишь бы дети были здоровы. — Как шашкой рубил Алексей, стараясь положить этому хоть какой-нибудь конец.

После чего, все молча разошлись.

Над поселком висела утренняя тишина, тяжелая, словно свинец. Крупными хлопьями пробрасывал снег. Начинаясь новый хмурый, ненастный день. Алексей смотрел на заснеженные хребты далеких гор и слышал, как тяжело стучит его ра-

ненное сердце, как кровь ударяет в виски и какая-то внутренняя тревога раскаленным железом жжет грудь. Он почувствовал, как устали ноги, и хотел зайти в дом, но слышались чьи-то шаги, скрипнула калитка. Алексей обернулся.

— Привет! — Раздался радостный голос соседа. Он был в распахнутой настежь куртке, в костюме, в светлой рубашке. Его лицо светилось от счастья.

— Как видишь, я уже готов ко дню рождения. Дело только за малым, пришел за подарком.

— Неужели! — С облегчением выдохнул Алексей, и вся тревога мгновенно ушла из его груди. — Я уже, честно говоря, и не знал, переживу ли я все это?

— Что такое?

— Второй день на измене все сидят. И родные и соседи. А если бы я его и вправду купил, что бы тогда было? Даже представить страшно.

— Да не обращай внимания, пошли лучше в гараж, я тут с собой принес кое-что.

Когда машина, урча мотором, выехала из ограды, Алексей с хорошим настроением вошел в дом.

Жена отпрянула от окна и села на диван. Она хотела закричать, разрыдаться, но только покорно и кротко произнесла:

— Это ж надо было меня так обмануть!

Серебристые листья полыни

Еду в родной город, внутри трепетно бьется сердце, знакомое каждому чувство, когда возвращаешься домой. За окном поезда мелькают знакомые станции: «Итат», «Суслово», «Предметкино». Хочу увидеть мать, сестер, родственников. И вот поезд остановился, и жарким июльским днем я ступил на перрон станции Мариинск.

Здесь в родительском доме уже больше месяца в гостях у матери жил старший брат Александр. Управлялся с огородом, ремонтировал деревянные постройки, помогал по хозяйству. Вечером мы вдвоем отправились в гости к материному брату дяде Лене и его жене тете Зине.

Сидя за столом за чашкой чая, дядя с радостной ноткой в голосе предложил нам с братом:

— Ну что, племяннички мои дорогие, есть ли у вас желание съездить в деревню на могилы своих дедов? Что-то давно я там не был.

— Почему бы и нет? — поддержал его брат, — мы там с вами были года три назад и после этого не ездили.

— А почему? — строго взглянул на него дядя Леня.

— А вы что, забыли, какое в прошлом году дождливое лето было, — пытался оправдаться брат, — я вам больше скажу, и сейчас туда проехать проблематично, оттуда еще, наверное, лес возят на машинах. Скорее всего, за лето дорогу разбили, а ремонтом, как всегда, никто не занимается.

— Да! Да! — Спыхватился Дядька. — А я уже забыл, точно же дожди лили и в то, и в другое лето. Совсем памяти нет.

Я молча слушал их диалог, невольно осознавая, что я, к своему стыду, более двадцати лет там не был. В Америке был, в Австрии и Франции, в Китае, а вот на могилы предков как-то не получалось съездить.

Дядя Леня повернул голову к окну и глянул на небо:

— Тучи ходят, но небольшие.

— Как бы дождя не нанесло, — забеспокоилась тетя Зина, — боюсь, что грязная дорога будет, после дождей.

— Ну, дождь последний два дня назад был, — спокойно возразил ей дядька, — а завтра, будем надеяться, погода будет хорошая.

Глаза его заблестели, словно засветились изнутри. Немного помолчав, он обратился к брату с сомнением:

— Слышь, Сань, а мы на твоей «девятке» проедем к дедам?

— Попробуем, дядь Леня, — успокоил его брат.

— Ну, смотри, смотри.

На том и порешили, стали расходиться.

Прошли те времена, когда наши деды и бабушки вешали сумку через плечо и отправлялись в дорогу пешком, не смущаясь расстоянием. Сегодня давно заросли пути-дорожки, тропинки-стежки между деревнями, которые умерли и обезлюдели.

Мы с братом понимали, что дорога туда идет полевая, и лесовозы несомненно оставили там свой след, поэтому, возвратившись домой, сняли передние шоссейные колеса с девятки, а вместо них поставили грязевую резину с глубокими грунтозацепами. На всякий случай, положили в багажник длинную веревку, бензопилу, топор, лопату.

Рано утром мы заехали на заправку, залили полный бак бензина и поехали за дядькой. Того было не узнать, кряхтя и держась рукой за поясницу, он еле вышел из дома.

— Что случилось? — с беспокойством спросил я.

— Что-то у меня спину прихватило. В молодости бывало, в стужу шибко мерз, да не простывал! Все было нипочем, а нынче вот хилый стал какой-то. Радикулит прихватил.

— Так не ехал бы, дома отлежался, — заворчала тетя Зина, — вечно тебя куда-то несет.

Дядька остановился, закричал, повернулся к тетке и, с трудом выпрямляя спину, с укором сказал:

— Если сейчас не поеду, кто меня потом свозит?

Тетка недовольно полыхнула глазами, но ничего не сказала.

Кряхтя и охая, дядька залез в машину на переднее сиденье, и мы тронулись в путь. На асфальте резина передних колес вдруг шумно загудела. Чем выше нарастала скорость, тем больше становился гул. Брат сбросил скорость до 60 километров. Шум стих. Торопиться было некуда, и мы спокойно на этой скорости поехали дальше.

Было прохладное летнее утро. По левую сторону от меня простирались поля, вперемежку с лесными массивами, по правую — леса, вперемежку с полями. Двадцать километров до Верх-Чебулы мы преодолели почти незаметно для себя.

Раннее утро. Верх-Чебула — районный центр. Поселок еще спит, только где-то слева, там, где маленькие домики скрылись в зелени деревьев, всюду голосят петухи. Ночной дождь слегка прибил пыль, которой здесь, как и в любом русском райцентре, предостаточно. Восходящее солнце посеребрило росу на заборах и траве. День обещал быть жарким, но пока, в эти рассветные часы на улице было прохладно, а в машине тепло и уютно.

— Смотри-ка! — удивился дядька, — здесь еще дождик ночью прошел.

— Да! — Забеспокоился брат. — Лишь бы больше не было.

— Если мы поехали к дедам, то и погода должна быть хорошей, — радостно сказал дядька и повернулся ко мне. — Правильно я говорю, Володя?

Я кивнул головой:

— Правильно, дядь Лень.

Доехав до деревни Усманка, мы свернули влево и по укатанной гравийной дороге доехали до поселка Боровое. Скорее всего, до того, что от него осталось. Он больше напоминал крестьянско-фермерское хозяйство. На краю большого поля, возле леса, стоял большой кирпичный дом, рядом несколько брусовых двухквартирных домов. Возле кирпичного стояли трактора, комбайны, сеялки, плуги.

— Где-то здесь мой друг Фомин живет. — Зорко оглядывая дом, проговорил дядя Лень. — Сын его ферму содержит, а он ему помогает. Ему тоже уже больше 80. Мы в молодости с ним дружили, а потом жизнь разбросала нас. Я с Черемушки в Мариинск уехал, а он в Верх-Чебулу. Но под старость лет вернулся поближе к Родине, а я вот нет.

Недалеко от дома — огороженная забором ферма, вокруг зеленеющие поля с посевами. После поселка гравийная дорога закончилась и началась полевая.

Доехали до первой низины, по ней бежал ключ, а вместо дороги была глубокая лесовозная колея, залитая водой. В этом месте когда-то стояла деревня Ново-Троицк. Я даже помнил это поселение, когда много лет назад, еще в детстве, мы с матерью и дядькой ездили в деревню Алексеевку. Тогда в Новотроицке еще десятка полтора домов стояло.

Деревни Черемушки тогда уже не было, а вот Алексеевка доживала свой век. Даже не век, а всего 70 лет прожила деревня. В ней жил моей бабушки Ирины родной брат Иван Павлович, соответственно моей матери дядя. Как сейчас помню, мы приехали летом, он ходил в светлой холщевой рубашке, черных сатиновых шароварах и в хромовых сапогах. Это было в конце 70-х годов. Тогда еще у жителей деревень теплилась надежда на выживание. Но увы, безуспешно. Ивана Павловича забрали к себе дети в поселок Промышленное, это под Кемерово.

Я достал из багажника машины топор и стал рубить заросли тальника, которые росли тут же на обочине, устилая ветками дорогу. Брат рубил тальник с другой стороны дороги, дядька присел на лежащее неподалеку бревно и стал переобуваться в резиновые сапоги. Это было нелегко, радикулит давал знать о себе. Было слышно, как с каждым вздохом он громко кряхтел. Когда работа была закончена и гать готова, я, весь мокрый от пота, присел рядом с дядькой на бревно, брат отошел немного в сторону в низину и, раздвигая высокую траву, крикнул:

— Да тут объезд есть. В траве следы от колес легковой машины и выходят на ту сторону ключа.

Я предложил ему проехать по вновь построенной дороге.

На что он возразил:

— Там сухо, как мы эту дорожку сразу не увидели?

Вытирая рукавом рубахи пот со лба, я посмотрел на дядьку:

— Зря что ли гать мостили?

— Пусть там едет! — Махнул рукой дядя Лень.

Брат, потихоньку сминая траву, поехал по обнаруженному пути, и вскоре машина выехала на дорогу по ту сторону ручья. Мы с дядькой, напряженно наблюдая за происходящим, облегченно вздохнули и пошли к машине, но ехать пришлось недолго, впереди вновь заблестели большие лужи. Мы вышли из машины,

освобождая ее от лишнего груза, и пошли пешком. Брат налегке объезжал препятствия, стараясь не угодить в глубокую колею. У него это получалось. Мы поняли, что дорога на этом закончилась, видно было только направление, по которому мы двигались в сторону деревни. Грязи и рытвинам не было видать конца, и наступил момент, когда брат уже хотел повернуть назад.

Но дядька забесновался:

— Как назад? Ёш твою. Мы уже почти подъехали к Черемушке, — тут пешком недалеко. Придумал тоже обратно возвращаться!

Впереди у машины что-то застучало. Брат вышел из нее и, стараясь не наступать кроссовками в грязь, стал осматривать. Оторвался внутренний пластмассовый подкрылок правого колеса. Поставили машину на обочину, так, чтобы она не мешала проезду. Переобулись в сапоги. Собрали небольшой рюкзачок с провизией, брат забросил его за плечи, и мы тронулись в путь.

Шли по улице некогда стоявшей здесь деревни. Ландшафт на месте мёртвых деревень всегда очень контрастен. Слева пригорок, справа заросший бурьяном лог, внизу которого бежит речка Иня.

Вдоль дороги заросли полыни. Ее серебристые горько пахнущие листья мне напоминали о трагическом прошлом этой деревни. Стояла она когда-то на большой поляне, которая до сих пор не заросла лесом только потому, что её продолжают косить люди из соседних деревень. А бугры — это оплывшие валы от изб.

Прошли десятилетия, а в мертвых деревьях до сих пор живет трава, которая сопутствует человеку, и особенным разнообразием не отличается. Вокруг дороги и на поляне росли полынь, крапива, лопух, лебеда, конопля. Их семена всегда разносились скотиной и на человеческих ногах и одежде. Семена полыни и крапивы налипают на мокрую и грязную одежду и обувь и, конечно, на шерсть животных, и так переносятся по путям человека и домашней скотины. А конопля, к которой, понятно, сегодня бытует весьма нездоровое отношение, раньше специально разводилась как масличная культура и сырьё для витяя верёвок и плетения рогож. Для многих крестьянских хозяйств это был основной источник дохода. По краям поляны выросли осины и берёзы, а посреди них развесили свои ветви черёмухи и рябины. Такая картина характерна для брошенных поселений.

Много воды утекло с тех пор. Нет давно дедушки и бабушки, и других дорогих и близких сердцу людей, что жили здесь. Для меня, впервые осознанно приехавшего сюда, все новое, но у дяди Лени в памяти осталось все так, как будто было вчера.

Он остановился, снял кепку, вытер ею со лба пот, тяжело вздохнул и сказал:

— В 57 году к матери пришел председатель сельсовета и сказал, что бы переселялись в Верх-Чебулу.

Но мать возразила ему:

— Некуда мне ехать. У меня сын в армии служит. Вот дождусь его и тогда решим куда переселяться.

— Ну правда, больше к ней не приставали, дождалась меня мать, я вернулся из армии. Представляете, уходил — вся деревня нетронутая была, а вернулся — три двора осталось. Всех разогнали. Забрал я мать и уехали мы с ней в поселок Тяжин. Там прожили три года, а потом переехали в Мариинск.

Правильно говорят, что кладбища живут намного дольше, чем деревни. Родственники приезжают и много лет спустя, и конечно, хоть немного, но наведут порядок на могилах у своих родных и у соседей. Вот и дядя Леня, уехав в город,

всю свою жизнь возвращался сюда, в Черемушку. Он ухаживал за могилой отца и деда, поставил отцу металлический памятник.

Ну и ещё, пожалуй, любой заброшенной деревне, хутору или заимке всегда сопутствует своеобразная эмоциональная атмосфера. Я уж не знаю как, но там как будто чувствуешь ностальгию людей, которые возвращаются в своих воспоминаниях к родным местам, где они родились, где прошло их детство. Это одни из самых глубоких человеческих переживаний, поэтому и ощущаются сильно.

Вот и сейчас, как только ступил на родную землю, дядя Леня мгновенно преобразился. Куда девались радикалит, вялость и медлительность. Шёл быстро и уверенно, резко бросая по сторонам взгляды. В одной руке матерчатая сумка, в которой бутылка воды, литр самогонки и кое-что перекусить, в другой подвернутая сушинка с обломками сучьев, чтобы удобней было идти. Я едва поспевал за ним. Брат сначала отставал от нас, потом вообще потерялся.

Это преобразование и уверенность нам навредили.

Мы долго бродили по лесу, но так и не нашли старый погост. Увидели впереди просвет, пошли к нему. Вышли на так называемую «центральную дорогу», которая вела в деревню Алексеевка. Остановились, поняв, что Черемушку уже прошли. Я окрикнул брата, тот отозвался далеко в лесу, но вскоре вышел к нам на дорогу.

— Вы куда пошли? — недоумевал брат, — левее надо было идти, а вы вправо упорали.

— Саня, — переводя дух, виновато оправдывался дядька, — там норы барсучьи должны быть.

— А я вам про что говорю, мы же с вами прошлый раз так же блудили. Потом затески топором на деревьях сделали.

— Точно! Надо было по ним и ориентироваться, — спохватился дядька.

— Так я по ним и пошел, смотрю, а вас нет.

Дядька хлопнул брата по плечу, громко засмеялся:

— Пошлите обратно в деревню.

Через минуту его дыхание восстановилось и стало ровным. Мы вернулись по дороге к тому месту, где сворачивали в лес.

Брат посмотрел на часы:

— Почти час ходили.

— Давайте передохнем, — предложил дядька, — а то устал я что-то от пустой беготни.

Прилегли на траву, прямо возле дороги. Дядька молчал, лежа на спине с широко разбросанными ногами и слабым движением головы отмахивался от комаров. Но усталости на его мокром от пота пасмурном лице видно не было. Он прихлёбывал водичку из пластиковой бутылки, жмурился и молчал.

Находившись по лесу и изрядно пропотев, я как бы очистился от городской суеты и теперь стал привыкать к здоровому дыханию тайги.

На придорожном ольховом кусте рядом с нами села трясогузка. Маленькая птичка наклонила головку, внимательно разглядывая нас умненькими глазками. Дядя Леня, блаженно вздохнув, поздоровался с ней, она что-то чивикнула и перелетела на другой куст.

— Птички здесь, наверное, до людей еще жили, — с сожалением в голосе сказал дядька, — и сейчас живут, никто их не выгоняет отсюда.

Трясогузка вспорхнула и исчезла из вида.

Дядя Леня встал, припадая на затекшие ноги, осмотрелся:

— Ну что? Вон там стоял наш дом, там был сельсовет, вот дорога на кладбище. По этой дороге я еще пацаном до армии на лошади воду возил на поля.

— Дядь Леня, — перебил его брат, — я вам еще раз говорю, мы в прошлый раз с вами левее шли, а сегодня вы стали вправо забирать, поэтому мы и ушли далеко за деревню.

— Я это понял. Могилки должны быть недалеко от барсучьих нор, — рассудил дядька.

— Я знаю, — согласился брат, — я их нашел.

— Да! — удивился тот, — тогда, ребята, что мы лежим, пошлите к дедам.

— Только давайте не будем расходиться, — предложил я.

Мы снова вошли в густой лес, заросший пихтой, березой, осиной. Ароматный запах пихты наполнял сырой таежный воздух. Дышалось легко и приятно. Теперь шли не торопясь, внимательно оглядывая окружающий лес.

Дядька остановился у большой, высокой осины, показал на оплывший затёс метрах в трёх от земли:

— Метка тропу кажет. Во-о-о-н там могилки должны быть.

Брат показал среди высоких деревьев еще одну затеску, потом еще. Эти затески рубил сам же дядька, только это было давно, со временем деревья выросли, и затески поднялись выше человеческого роста.

Мы шли по зарослям ольхи, вокруг которой росла высокая трава, и вскоре наткнулись на норы.

— Вот они! — воскликнул дядька. — Значит мы уже на кладбище. Я эти норы с детства помню.

Дядька с братом пошли левее, а я повернул вправо. Вдруг впереди увидел серый металлический памятник. Раздвигая кусты и траву, я подошел к нему вплотную. На маленькой алюминиевой пластинке была надпись: «Комлев В.Ю.». Я окрикнул своих родственников.

— Что, нашел? — спросил брат.

— Да! — ответил я, вытирая лицо ладонью, смахивая налипшую паутину.

— Я же говорил, что где-то здесь, — громким голосом сказал подошедший дядька.

Подойдя к могилам, он поздоровался с предками.

— А я смотрю, вы там ходите, думаю, дай отойду немного в сторонку. Иду и наткнулся на памятник. Понял, что попал по адресу, крикнул вас.

А про себя я подумал, это наверное Богу было угодно, чтобы именно внук и правнук, который два десятка лет здесь не был, первым нашел могилы своих дедов.

У дядьки засветилось от радости лицо:

— Ой, спасибо вам, племяннички мои, что приехали сюда, что наконец-то проведаем наших дедов.

— Дядь Леня, мы же три года назад с вами здесь были, — сказал брат, — а смотрите, как все изменилось, деревья стали выше, вокруг них все заросло кустарником и травой.

— Да, природа, она берет свое. Никуда от этого не денешься. Разве скажешь, что когда-то здесь деревенское кладбище было? Все заросло и сравнялось с землей.

И вправду, на кладбищенском острове среди высоких елей и пихт уже росли мелкие деревья — березки, осинки, пара тощих сосенок. Кусты ольхи, высокая трава. Рядом рябина одна стояла, высокая, кривая, но крепкая, грозди свисающих ягод уже начинали краснеть.

Сильные деревья вырвались к свету, оставили остальные в тени. Природа не добрей нас, просто все идет по своим правилам, и ничего не делается со зла, как мы любим говорить.

Мы стали вырывать руками траву, мелкие деревца и кустарники, расчистили все могилки.

— Вот здесь мой отец Василий похоронен, здесь дед Юда и его жена, дальше мои сестра и брат, которые умерли при рождении, а здесь, в ногах у отца, могила Любочки, моей сестренки, что умерла, когда ей было 6 лет.

Дядя Леня оглянулся по сторонам, пожал плечами:

— Я только не пойму одного, почему ее не похоронили рядом в одном ряду со всеми.

Я открыл бутылку самогонки, плеснул на дне кружки себе и дядьке.

— Царство небесное вам, — глядя на памятник, с грустью в глазах сказал дядька, — пусть эта земля пухом станет, пусть дети ваши, внуки и правнуки в здравии живут.

Он отхлебнул глоток и закусил отломанной краюхой хлеба со свежим огурцом.

— Здесь покой и тишина, а мы так громко кричим, разговариваем, — обеспокоенно сказал я.

— Ничего страшного, Володя, в этом нет. Хоть когда-то надо тишину нарушить и покричать, вспомнить дедов. Уедем отсюда, и опять вечный покой у них будет, — весело улыбнувшись, успокоил меня дядька.

— Дядь Леня, — обратился к нему брат, — это мы сюда ездим, пока вы живы и здоровы.

— Да, ребята, пока мы живы, и вы будете сюда ездить, теперь понимание, где могилки, у вас есть. Может без меня когда приедете?

— Да! Зарастает все вокруг, опять тайга в свои права здесь входит, — рассудил я.

— Я же, Володя, пока живу, я содержу в порядке могилки. Я же песок на них таскал от этих нор, что барсуки нарыли. Ведрами его таскал сюда.

Я обратил внимание на деревянный крест, который стоял рядом с дедовой могилой, спросил об этом дядьку.

— А это могила Корбана. Он жил по соседству с нами. Всю жизнь он почему-то тяте завидовал. А чему завидовать, работали от зари до зари без выходных. А он-то не очень землей занимался, все пчелами, да шкуры выделывал. Помню, дал отец ему овчинные шкуры на выделку, чтобы шубы нам, деткам сшить, а он их взял, проквасил и отцу не вернул. Сказал, что они не выходные были и испортились. Еще отца и застыдил. Поругались они тогда, обиделся отец на него, а оно видишь, как получилось, теперь рядом лежат бок о бок. Да я еще и за могилой его ухаживаю, земли подсыпал, крест поправил.

— Из всех захоронений только могилы Комлевых да Корбана и остались? — спросил я.

— Да. А больше никто, кроме меня, сюда не ездит, ведь почти 60 лет прошло, как деревня умерла.

— И кладбище тоже умерло, — с тоской в голосе сказал брат.

Мы стояли в тени деревьев, подняв голову, я смотрел на осиновые листья — мелкие, воздушно-пластинчатые, которые даже в безветрии зыбко трепетали и порывались куда-то. Смотрел на крепкий и прямой ствол — бледно-зеленый сверху и черно-морщинистый у корня, и мне вдруг показалось, что в дереве этом и вправду есть нечто тревожное, мученическое, если верить народным поверьям.

Прибрав за собой мусор в пакет, мы попрощались с дедами, и пошли обратно.

По скошенному полю подошли к Инюше. Пересохла речка, заросла, обмелела без людей, превратилась в ручей, чуть бежит по камням прозрачная струйка воды. А вдоль нее заросли пихты, да рябины. Умерла вместе с деревней и река. Вдоль берега, по глубоким тропам, звериные следы, круглые окатыши помёта сохатых и изюбрей. Здесь же косо вмят свежий отпечаток медвежьей лапы.

Подошли к тому месту, где когда-то стоял родительский дом. Заросли полыни и крапивы, кусты черемухи, белоствольные березы с раскидистыми ветками разрослись и вширь, и в высоту. Дядька подошел, обнял березку, припал ухом к стволу, как бы слушая её нутро. Его ладонь тихо оглаживала белую кору с черными пятнами от вывалившихся сучьев, лицо менялось, губы что-то шептали. Он говорил с ней и слушал безмолвие прошлого. Хмурил лоб, побитый морщинами, такой же, как и кора дерева.

И были они слитны с березкой, потому что вышли из одной земли и одного ростка, разбежались и опять сошлись вместе.

Далекие, детские и юношеские годы! Заповедник дядькиной души. Старое доброе время. Так уж устроен человек, что без ностальгии не может никак: прошлое ему всегда милей, вино слаще, женщины краше, и счастлив он был там в нем, только по недомыслию не понимал, не ценил. А сегодня он тем более искренне считает, что радостей в жизни было больше в прошлом.

— Видишь, Володя, вот это поле? Я еще был пацаном, пас в колхозе овец.

Наступил август месяц, пора сеять рожь, а дожди льют каждый день. Грязь непролазная. Пришли бабы с сумками наперевес, посеяли рожь.

Надо бы после этого заборонить семена в землю, а в поле не зайти, не заехать. Лошадь не идет, проваливается. Я часто гонял овец мимо этого поля, и мне пришла в голову мысль, а не прогнать бы по полю овец. Они копытами затопчут семена в землю.

Рано утром я пришел в сельсовет.

— Ну, чего прибежал, сорванец? — спросил председатель. — Натворил чего или мать отравила?

— Нет, я сам. — Я рассказал ему про свою идею и спросил разрешения. Председатель разрешил. Недельку я прогонял овец по этому полю, по пути на пастбище, они копытами втоптали семена в грязь. А на следующий год, когда пришла весна, зазеленело все поле всходами, и уродилась такая хорошая рожь, такие колосья большие были у нее, что председатель меня даже похвалил. Сейчас скажи кому про это, не поверят, скажут у него с головой того, — и дядька покрутил пальцем у виска.

Дядя Леня прокашлялся, прилег на траву, показал рукой на заросшее травой поле и севшим голосом сказал:

— Вот смотрите, была деревня и нет ее. Расселились люди по городам да весям, по ветру развеялись, многие умерли, никто сюда уже не вернется. А я бы жил здесь, хозяйство вел, никуда не уезжал бы.

Глядя на него, я понимал, что он прав. Человека, родившегося на этой земле и выросшего на ней, разменявшего девятый десяток, тяжело обмануть. Ведь населявшие Черемушку крестьяне, как и все крестьяне, поселившиеся в округе, были уникальны. Их традиции и обычаи формировались веками, там, на западе нашей страны, в Малороссии, Белоруссии и Украине. Им казалось, что они укоренились на сибирской земле столь глубоко, что выкорчевать их невозможно. Но так только

казалось. За несколько десятилетий была уничтожена крестьянская цивилизация. Результаты этого безумия стояли перед нашими глазами.

Дядька поднялся с земли и, глядя куда-то вдаль, спросил у меня:

— Вот скажи, Володя, если сделать сюда дорогу, провести электричество, воду, заживет снова деревня?

— Наверное нет. Кто сегодня возьмет на себя эти угодья, кто будет работать на них? И людей тех нет, и нет уверенности, что государство даст возможность спокойно жить землевладельцу. Да и то сказать: по нашим временам разве можно свети концы с концами, работая в сельском хозяйстве! Когда заплатишь все налоги, возвратишь все ссуды, кредиты, растратишься на непредвиденные и незаконные поборы, что останется в твоём кармане? Государство себя не обижает никогда, чиновники — тоже. Дешево ли обойдется нынешнему труженику крестьянская жизнь, пойдет ли она ему в радость и на пользу? Вот то-то и оно.

Ничего не ответил мне дядя Лёня, только согласно закивал головой.

Слушая наш разговор, брат молчал, но потом не выдержал и возмутился:

— Какой вздор вы несете? Кто тут работать будет? Сейчас хотят получать пособия, а не сельским хозяйством заниматься.

— И то верно, — засмеялся дядька.

На обратном пути решили захватить в Боровое, к Фомину.

— Эй, хозяин! — Дядька забарабанил кулаком в крепкую дверь кирпичного дома. — Неужто помер?

За дверью что-то зашевелилось, к нам вышла пожилая женщина в светло-синем платье. Голова была покрыта серым платком. Она сказала, что Фомин уехал с сыном в город.

— Значит живой еще друг мой, — обрадовался дядя Лёня.

— А что ему будет? — удивилась женщина. — В больницу повез сын его. Что-то нога заболела.

— Ну и ладно, передавайте привет ему от Комлева Алексея.

Вечером у ворот дядькиного дома нас встречала тетя Зина.

Дядя Лёня браво вышел из машины и, молодецкато выпятив грудь, пригласил нас к себе. Мы отказались, сославшись на позднее время и усталость.

— У тебя что, спина уже не болит? — с издевкой спросила тетка.

— Да вот как-то прошла, — оправдывался дядя Лёня.

— Наверное, придурился утром?

— Да нет, как на Родине побывал, так и забыл про все боли.

ПОЭЗИЯ



ПАВЕЛ ВЕЛИКЖАНИН



«Солдату в рай теперь дорога...»

* * *

Меня не ссылали в Сибирь —
В Сибири родился и рос:
Штакетника серый горбыль,
Пакеты на кустиках роз,

Оковы тяжелых одежд,
Мороз, что трещит у виска,
Забывтый кругляш-Будапешт,
Открытый на дне сундука,

И Вечный огонь раз в году,
Райгазом включаемый в счет...
Куда же от вас я уйду,
Что б ни было в жизни еще?

ВЕЛИКЖАНИН Павел Александрович — юрист и поэт. Родился в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область), жил в зауральском городке Петухово (Курганская область), Волгограде, Волжском, Москве. Лауреат Южно-Уральской литературной премии, премии «В поисках правды и справедливости», премии «Российский писатель», премии им. Блока. Публиковался в журналах «Наш Современник», «Роман-Газета», «Москва», «День и ночь» и др.

* * *

В подвалах добра не копили,
Не гнали чужих за порог,
Крапивою нас окропили,
Крестили распутием дорог.

Как звездочки, шишки сбивали,
Порою — так прямо на лбы.
Последний сухарь не ховали
В кармане от общей судьбы.

Нам были малы все морозы,
Трещали сугробы по швам,
Когда на визжащих полозьях
Влетали мы в ужасы мам.

Морошкой дожди моросили
На вольное наше житьё...
Сибирь — три четвертых России
И полностью — сердце моё.

Стремительные спицы

Я помню: лето, Зауралье,
Райцентр, трёхэтажный дом.
На сером велике гоняли
По очереди всем двором.

Катилось солнце катафотом
По безмятежным небесам,
Но все менялось, словно кто-то
Гвоздей повсюду набросал.

...Гремит, распугивая куриц,
Двумя «восьмерками» «Салют».
Щербатые ухмылки улиц
В неведомое нас ведут.

Росла скрипучая усталость
Закованных цепями звезд ...
И по земле мы рассыпались,
Как спицы сломанных колес.

Один в седле — ватага следом
Бежит со всех ребячьих ног...
Дозваться из окна к обеду
Нас никогда никто не мог.

Теперь с трамвайного маршрута
Мне никуда не повернуть.
Вот только сердцу почему-то
Тесна порой бывает грудь,

Но шина старая латалась
Так часто, что, секрет губя,
В грязи жирнящей оставалась
Одна такая колея —

И по ночам все чаще снится
Игра ветров на струнах арф,
Когда стремительные спицы
Плетут из пыли длинный шарф.

Не перепутать! И нередко
По ней в безбожно поздний час
Отцов суровая разведка
В лесу разыскивала нас...

Как будто вновь рулем крылатым
Велосипед мой воздух рвет
И мчит вдоль памяти куда-то,
Где начинался мой полет.

Папье-маше

Бывает, что проснешься липкой ночью:
Ворочается что-то на душе,
И все вокруг фальшиво и непрочно,
Как слепленное из папье-маше.

И может рухнуть от ударов сердца
Весь мир, в котором я привычно жил.
Чуть хлопнет где-то хлипенькая дверца —
Душа сорвется с лески тонких жил.

Над городом, богатым и проклятым,
Кровавым серебром в тиши звеня,
Идет луна, суровый прокуратор,
Чтоб на кресте окна распять меня...

В обрывках сна запутавшись, как в тине,
Хватаю воздух ртом, но не могу
Я вспомнить, что же было на картине,
Растаявшей сейчас в моем мозгу.

Как будто брызги окатили градом,
Но не узнать, что было в чаше той...
Как будто чья-то смерть скользнула рядом,
Едва задев холодной чешуей.

Горбы дороги

Считая в темноте горбы дороги,
Которую вычерчивал сам черт,
Дрожали холодеющие дроги,
А в них солдат был навзничь распростерт.

Возница с матом понукал и тпрукал,
Боец от тряски будто оживал,
Баюкал забинтованную руку,
Как дочку в довоенных кружевах.

Девчушка, оглянувшись у порога,
Всё ждет... Они друг друга там найдут:
Солдату — только в рай теперь дорога,
Поскольку побывал уже в аду...

Чай ночи

Заварил закат кипящий
Крепкий чай в стаканах окон,
Месяц ломтиком кислящим
Ночь напитывает соком.

Льется свет, лимонно-бледен,
Отступает летаргия...

До заутрень и обеден —
Тишина... Как литургия.

Лёг узор чайнок звёздных
Над остывшей круговертью.
Пьем с тобой полночный воздух,
Словно нет на свете смерти.

Легенда о Петухово и строительстве Транссиба

Звенюм к звену срасталась сталь,
Как поезда, шли дни и ночи,
Росла Транссиба магистраль —
Страны огромной позвоночник...

И, среди прочих, инженер
В село приехал Петухово.
Там каждый первый — старовер,
Не доверявший жизни новой:

«Зачем железка, дескать, нам?
Подохнут курицы от дыма,
Смутит скотину шум и гам.
Давай-ка рельсы двигай мимо!»

А мужики-то все — кремень!
Упрешься — не было бы бунта:
Они ж привычны целый день
Ворочать многопудье грунта.

Поворотили в этот раз
И городского инженера.
А в папке у него приказ
И план масштабного размера.

Ему толкуют: «Выход прост.
С бумагой спорить, братец, глупо.
Но так ли, сяк десяток верст —
Начальство ж ведь не смотрит в лупу...»

И магистраль вдали легла
От староверов с хитрым словом,
А станция (не близ села!)
Осталась в картах Петуховом...

По транссибирскому пути
Неслись, кипя, года прогресса.
И стала станция расти
Со звонкой скоростью экспресса.

При станции поселок рос,
И в дни войны, покинув лоно,
Стал городом под стук колес
На фронт идущих эшелонов.

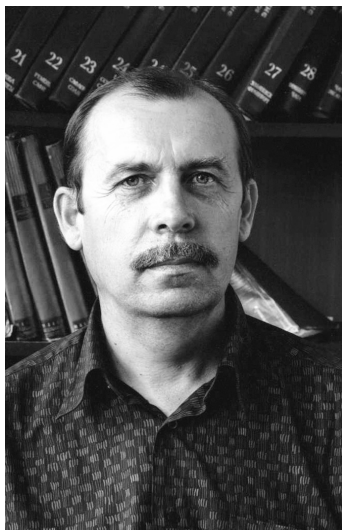
Указ Президиума дал
Ему название Петухово.
Родился город, возмужал,
Годиной закалён суровой.

И стало как-то не с руки,
Чтоб то село звалось как город:
Из Петухово в Петушки
Его переназвали скоро...

По рельсам песнь летит гудком,
Стучат сердца в колесных сплавах,
А город крепким позвонком
Стоит в хребте стальном державы.



ДМИТРИЙ ВОРОНИН



На Берлин!

РАССКАЗ

1

Шестилетний Андрейка сидел на склоне холма и заворожённо смотрел вниз на дорогу, по которой вот уже второй день нескончаемым потоком шли и шли солдаты в сторону солнечного заката. Андрейка был не один. Рядом с ним примостился его закадычный дружок Вовка, который, как и он, с восторгом и страхом наблюдал за перемещением мощной техники. Танки, самоходки, тягачи с пушками, грузовики со снарядами, минами и патронами — всё это двигалось с ужасающим рёвом, лязгом и грохотом, отчего пацанятам заложило уши, и они теснее прижимались друг к другу. Благоговейный трепет охватывал мальчишек, когда над ними на низкой высоте проносились эскадрильи истребителей с красными звёздами на крыльях. Но, несмотря на непрекращающийся грозный шум, ребятам иногда удавалось перебраться между собой отдельными фразами.

— Андрейка, глянь, глянь, танка какая! — в полном восторге кричал в ухо другу Вовка, — Ух, силища, ну и силища, скажи, Андрейка!

ВОРОНИН Дмитрий Павлович. Родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трех сборников рассказов. Участник двадцати пяти альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Германии, Беларуси. Публиковался в журналах: «Алтай», «Балтика», «Берега», «Бийский Вестник», «Наш Современник», в «Литературной газете» и др. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей по литературе. Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины. Живет в п. Тишино Калининградской области.

— Ага, силища! — орал в ответ Андрейка.

— И куда их стоко, а?

— Туда, — кивнул Андрейка в сторону садящегося за горизонт солнца.

— Спросить бы, а?

— Спроси.

— Не, я боюсь, ты храбрее меня будешь.

— Ладно, — важно согласился Андрейка и, поднявшись с травы, закричал во всё горло в сторону проходящей колонны. — Дядьки, вы куда это шлёпаете, так много вас?

— На Берлин шлёпаем, пацанва, на Берлин! — засмеялись в колонне. — Супостата Гитлера идём ловить, что вам и не снился. Вот поймаем чудище да к вам привезём в клетке, покажем, и другой зоопарк вместе с ним прихватим.

— А и не страшно вам?

— Не, пацанва, не страшно уже. Теперь ему, чудищу, страшно, вона как драпает от нас, только пятки сверкают.

— Где драпает, где сверкают? — заозирались по сторонам мальчишки.

— Далеко впереди, не видать уж отсюда, — вновь раздался взрыв хохота.

— А далеко ли до Берлина этого ещё шлёпать?

— Кому как, вам далеко, а нам уже близко, — прозвучало в отдалении.

— На Берлин они идут, слышал? — обернулся Андрейка к другу. — За чудищем Хитлиром.

— Слышал, — кивнул Вовка, — на Берлин за Хитлиром.

2

Колхозный «газик» остановился у ворот председателя дома.

— Утром в шесть тридцать чтоб тут уже стоял. Нам завтра в район опоздать никак нельзя, в восемь надо быть на месте, кровь из носу. Важная встреча там с московскими гостями, нужно кое-что обсудить до совещания, — обратился к шофёру председатель колхоза, вылезая из машины.

— Буду, как штык, вовремя, Андрей Степанович. Не волнуйтесь, успеем к восьми, да ещё с запасом. Вы ж меня знаете.

— Ладно уж, езжай домой спать.

Председатель подошёл к калитке и в задумчивости остановился. Постояв так несколько минут, он достал из кармана рубашки пачку сигарет «Друг» и закурил.

— Что домой не спешишь, Андрей? Всё в заботах, в думах об урожае да о выполнении-перевыполнении, — прозвучал из темноты насмешливый голос.

— Вовка, ты? — повернул голову в сторону соседского дома Андрей Степанович. — Подойди сюда, дело есть.

— Ну что там за дело может быть у председателя к простому колхознику, — ощерился Вовка, подойдя к другу детства, — Не было ничего, а тут дело. Прямо заинтриговал.

— Да понимаешь, Вовка, мысль одна уже несколько лет покоя не даёт. Вот, хочу посоветоваться, — сделал последнюю затяжку Андрей Степанович и приотпал окурок.

— Несколько лет, говоришь? Это серьёзно, видать. Давай, выкладывай, что там тебя гложет столько времени? — присел Вовка на лавочку у председателевых ворот.

Рядом пристроился и Андрей Степанович.

— Помнишь, Вовка, те несколько летних дней, когда мимо нашего села солдаты на фронт шли и техника двигалась нескончаемо? А мы с тобой сидели на взгорке и всё высчитывали, сколько её мимо нас проезжало. Да постоянно сбивались, счёта нашего для этого не хватало, в школу-то только по осени мне идти предстояло, а тебе так и вовсе через год.

— Помню, как не помнить, — улыбнулся Вовка. — Такое не забудешь, силища какая!

— Ну и я про то.

— Про танки?

— Про память.

— А что память? Помним же, сам видишь. Или забывать что стал? — покоился на друга Вовка.

— Я нет, а вот другие... — вновь вытащил из кармана сигарету Андрей Степанович.

— И мне дай, — протянул руку за куревом Вовка. — Так что, другие? Другие вроде тоже не забывают.

— Это сегодня не забывают. А завтра, а послезавтра, когда никого уже из тех, кто видел войну, не останется? И даже нас, что тогда несмышлёными мальцами были.

— Ну, так фильмы, книги, музеи, памятники. Это-то никуда не денется, — пожал плечами Вовка.

— Да понятно, что никуда не денется. Но я про память тутошнюю, про нашу с тобой память, память наших с тобой потомков, внуков, правнуков.

— Не пойму я что-то тебя, Андрей. К чему ты клонишь?

— А вот к чему, — положил руку на плечо друга Андрей Степанович. — Ты же знаешь, что у нас в Ермаково памятника героям войны нет и не предвидится. Боёв тут активных не было, всех, кто рядом тогда погиб, в райцентре схоронили в братской могиле. Там и памятник воздвигли. А у нас нет. И если бы мы даже и захотели, денег под это дело тоже нет. Колхоз-то, сам знаешь, от урожая к урожаю. Лишняя копейка на жильё, да на школу с садиком, плюс клуб, плюс библиотека, плюс развитие, свет там провести по улицам, и прочее разное. А памятник — дело дорогое, тут и скульптор, тут и материалы, и работы особые. Такое потянуть не каждому крепкому хозяйству по силам, а нам тем более.

— Ну и что ты предлагаешь? — Вовка ощутил внутри себя неожиданно разливающийся жар.

— А что, если самим поставить, без всяких там скульпторов и разрешений.

— Как? Где? — оживился Вовка.

— Где? А там, на нашем перекрёстке, который за селом в сторону бывшего кулацкого хутора выводит. Там, где мы с тобой мальцами на пригорке солдат на Берлин провожали. Вот посреди него и установим. Дорога в этом месте закругление делает, и внутри как бы островок неезженный образовался, вот на том месте и поставим.

— Так денег же нет, сам говорил.

— А денег и не надо, так если, на материалы чуток. Мы поставим простой памятник, даже скорее памятный знак, что-то в видеobelиска. Из кирпича сложим высотой метра на три, отштукатурим, побелим, посреди копию ордена Отечественной войны прикрепим и надпись напишем, придумать вот только надо.

— Да что тут придумывать, — от волнения Вовка даже привстал, — «На Берлин!» И всё понятно, ясно всё.

— Точно, Вовка, «На Берлин!».

— А кто орден сделает?

— Петьке-кузнецу накажем, он мастер классный, откуёт, что настоящий, а может, и получше даже.

— Андрей, а ты не боишься?

— Кого?

— Начальства своего. Они и по шапке надавать могут. И не одобрить.

— Могут, — согласился Андрей Степанович, — но мы им об этом и не скажем. Сами всё за день-два сделаем, не велика хитрость. А потом пусть попробуют сломать. У кого на памятник Победе рука поднимется? Не самоубийцы же. Да и место там такое, не особо начальство и ездит по той дороге, угол-то медвежий.

— Ну, доброты-то найдутся, чтоб донести, сам знаешь.

— А и пусть, главное — поставить, а там пусть доносят, — улыбнулся Андрей Степанович.

— Здорово, Андрюха, правильная затея!

— Да, Вовка, правильная. И подарок нашим односельчанам к тридцатилетию Победы. Будет куда матерям да вдовам цветы положить, а нашим правнукам где голову склонить.

3

На школьной линейке, посвящённой вхождению Крыма в состав России, завуч по воспитательной части торжественно вещала в микрофон.

— Но кроме Крыма, как вы, надеюсь, знаете, наша страна в очередной раз отмечает в этом году и другие славные праздники. Это такие героические страницы нашей истории, как освобождение блокадного Ленинграда из долгого девяти-сотдневного голодного плена. Нам не дано понять, как люди выжили, получая сто двадцать пять граммов хлеба в сутки. Некоторым из вас не мешало бы испытать такое на себе, а то никакой памяти не сохраняете. Даже на линейке постоять тихо десять минут некоторые не могут, что тут говорить о подвиге. Но есть и другие великие даты в этом году. Это освобождение от фашистских захватчиков Вены и Праги, Будапешта и Варшавы, Софии и Берлина.

— Виктория Альбертовна. Берлин — немецкий город, столица Германии, его брали, а не освобождали, — раздался голос из кучки девятиклассников.

— Киреев, самый умный что ли? — тут же среагировала завуч на замечание в свой адрес. — После линейки со мной к директору. Там ум свой покажешь и расскажешь, кто тебя научил старших перебивать и срывать важные мероприятия.

— Вот, Юлия Владимировна, полюбуйтесь на этого субчика, — отпустила запястье провинившегося ученика завуч, войдя в директорскую. — Все нервы мои измотал, я с ним инфаркт скоро получу. Чуть не сорвал торжественную линейку сейчас. Перебивает меня, слова не даёт сказать. Ну куда это годится? Совсем уважение к старшим потеряли. Надо срочно принимать какие-то меры, пока окончательно на голову нам не сел. И пример другим каков, а?

— Что опять, Киреев? — упёрлась тяжёлым взглядом в ученика тучная директриса, медленно и грозно поднимаясь из-за стола.

— А чего Виктория Альбертовна путает? Говорит, что Берлин освободили, а его не освободили, а взяли штурмом на...

— Молчать! — побагровев, рывкнула директорша. — Мал ещё, сопляк, старшим указывать, чего там взяли, чего освободили. Сначала дорасти до возраста Виктории Альбертовны, а потом рот свой открывай.

— Вот видите, — негодуяюще встряла завуч, — как с таким можно разговаривать? Привыкли всей семьёй командовать. Прадед у него, вишь ли, герой-председатель. Кончились давно те времена, когда он в авторитетах был, как и колхоз его кончился. Теперь-то он кто? Да никто. Пенсионёрша простой, пшик, да и только. Ан нет, гонор-то свой весь по наследству передал, вот и получаем теперь результаты налицо.

— Ничего, мы ему этот его гонор наследственный мигом пообломаем. Характеристику такую оформим, в тюрьму не возьмут. Слышишь ты, чучело? Вика, вызывай инспектора по делам несовершеннолетних, пусть на учёт ставят.

4

Свинокомплекс решили построить рядом с кулацким хутором. Инвестор долго выбирал среди разных вариантов и остановился на участке земли рядом с Ермаково. Место подошло практически по всем параметрам. Областной центр в ста километрах, свиней возить не накладно. До райцентра не близко, вонь с комплекса до чиновников не дойдёт. Речка рядом, экономия на очистных сооружениях. Газопровод проведён, электромощности в достатке, местная рабсила по дешёвке. Ну и главное, дороги есть. Всё хорошо, всё ладно. Только один недостаток — перекрёсток. Вернее не сам перекрёсток, а странный знак по его центру с прикреплённым орденом Отечественной войны и надписью «На Берлин!». Уж больно этот знак движению мешал, большегрузные самосвалы еле разворачивались в этом месте. Но пока шло строительство объекта, с несуразным памятником ещё как-то мирились. Однако стройка закончилась, и оказалось, что проблема с движением стала и вовсе неразрешимой. Длинные фуры разворачиваться на этом участке не смогли.

— Аркадич, а с этим что делать будем? — кивнул в сторону памятника хозяин свинокомплекса, обращаясь к главе района. — Мешается тут на дороге, ни проехать, ни пройти.

— Да ломай его к чёртовой матери, и дело с концом! — отмахнулся Баталов. — Не шедевр, самопал кирпичный, никакой исторической ценности.

— А народ возбуждать не станет? Нам лишний шум сейчас не нужен совсем — открытие через неделю. Уже всё крутится — заказы, поставщики, пороят через пару дней завозить начнут. Любой сбой — колоссальные убытки. Нам они нужны? Ручаешься за спокойствие?

— Ломай, я сказал, — уверенно повторил Баталов, — народ — моя забота. Успокоим, если что. Кого водкой, кого баблом, кого мордой о стол. Нам не впервой, опыт большой за плечами. Я не через одни выборы прошёл, всяких технологий набрался, больше тридцати лет у власти, так что мои гарантии железные. Ломай.

— Уважуха, Аркадич, — пожал бизнесмен руку Баталова, — мы с тобой сработаемся, я сразу это просёк, как только познакомили нас. Ты деловой человек, без всяких там муси-пуси. Уважуха.

— Только снесите ночью, чтоб утром и следа не было.

— Замётано, — улыбнулся хозяин свиней, — нам тоже не впервой. И не такое ради дела сносили.

— Дед Андрей, дед Андрей! — как ураган ворвался в дом правнук Андрюшка. — Там такое, такое!

— Ну что там ещё такое? — прокряхтел старик, доставая из буфета банку с вареньем. — Война, что ли?

— Хуже! — перевёл дыхание Андрюшка. — Там памятник снесли.

Сердце старика куда-то нырнуло, и всё тело моментально покрылось липким потом.

— Какой памятник?

— Наш памятник — «На Берлин!». На перекрёстке...

Осколки от банки разлетелись по всей кухне, а варенье обрызгало буфет, штаны старика и растеклось по полу.

Собравшиеся у перекрёстка сельчане громко негодовали и заседали со всех сторон на главу района.

— Ну как же так, Валентин Аркадьевич, что же это такое происходит? Они же наш памятник снесли, память нашу порушили!

— Успокойтесь, граждане, успокойтесь, — выставял ладошки навстречу возмущённой толпе стриженный под ёжик, небольшого росточка, щекастый начальник. — Всё под контролем, ничего страшного не произошло. Всё в нормальном процессе.

— В каком ещё процессе? Под каким контролем? Как это, ничего страшного? Да вы соображаете, что говорите?! Они памятник наш снесли, а вы — ничего страшного! И снесли-то как! Ночью, тайком, будто воры.

— Ну это вы уже палку-то совсем перегнули. Какие ещё воры? Всё по плану. Работы идут в авральном режиме, сами знаете, открытие через несколько дней. Губернатор приедет, гостей из Москвы ждём, обещает министр сельского хозяйства прилететь, а тут такое.

— Что — такое?

— Ну, памятник этот ваш. Он же дорогу напрочь блокирует, ни одна фура не пройдёт.

— А сейчас пройдёт? А на-ка, выкуси! — перед носом Баталова появилось сразу несколько фиг. — Мы сейчас дорогу и вовсе перегордим, ляжем тут, и чёрта с два вы нас отсюда отколупаете. Ну если только бульдозером.

— Мужики, бабы, ну чего вы ерепенитесь! Вам же как лучше делают. Работы у вас не было, теперь будет. Свет по посёлку проведут, магазины откроют, у школы стадион обновят, детскую площадку...

— Чего ты нам тут заливаешь про радости жизни, не врубаешься совсем, они ж памятник завалили! Всё, бастуем, мужики!

— Ну вот что, граждане, — перешёл на крик и Баталов, — хватит уже! Что вы тут угрозы строите, на неприятности нарываетесь! Вон, видите, там автобус в стороне с тонированными стёклами стоит. Росгвардии с дубцами вам не хватает? Сейчас устроим. Сказано вам — порешаем проблему, нечего тут митинги устраивать, людей будоражить.

Ермаковцы, прослышав о Росгвардии, чуть поутихли и с опаской стали оглядываться на пятнистый автобус, одиноко стоявший на обочине. Почувствовав перемену настроения митингующих, Баталов уже уверенным голосом продолжил:

— И памятник ваш никуда не денется. Вернём вам его в прежнем виде. Вот только стоять он будет не на середине дороги, а вон там, на взгорке. И видно хорошо, и транспорту не помеха.

— Когда поставите? — Толпа успокоилась.

— В течение месяца, обещаю.

7

На открытие свинокомплекса с утра съехалось всё районное начальство, к обеду через перекрёсток промчался кортеж губернатора вместе с прибывшим из Москвы министром сельского хозяйства.

— Да, круто, — дивились такому количеству гостей сельские мужики, — при советской власти такое случалось, когда атомную электростанцию запускали. А теперь свиноферму открывает министр. Чудеса.

8

Через два месяца Андрей Степанович собрал у себя в доме родню.

— Не будут они памятник восстанавливать. Все обещанные сроки прошли, а никто палец о палец не ударил. Самим надо.

— А как самим? Не дадут, полицию нагонят. Что мы против дубинок? Да и не поднять уже народ. Перегорели. Кого споили, кого купили за это время.

— А и не надо народ, сами управимся, своими силами, по-семейному.

— Это как? — уставились на Андрея Степановича сыновья и внуки.

— Ночью, по-тихому, в выходной, пока движения нет. Завезём кирпич, я со своей пенсии отложенной деньги вам выделю, намешаем раствора и по-быстрому поставим. Место там безлюдное, никто нас за работой не увидит. Справимся.

— Что, прямо среди перекрёстка на дороге и поставим?

— Именно так, прямо посреди перекрёстка, как раньше стоял.

— Так снесут же утром.

— Не снесут, не посмеют. Что они, самоубийцы, что ли?

— Эх, дед, — тихо вздохнул кто-то из внуков.

9

Утром проезд большегрузов и фур был напрочь заблокирован. Свежесложенный памятный знак из белого кирпича чуть возвышался на широкой отбетонированной площадке, которая делала перекрёсток совершенно непроезжим. На самом памятнике, как и раньше, чёрной краской было жирно написано: «На Берлин!!!» — и добавлено: «Победа будет за нами!». Возле монумента на табуретке, опираясь на трость, сидел старик, а рядом с ним, положив деду руку на плечо, стоял шустрый подросток, плотно сжавший губы. Стариковская куртка была расстёгнута, и на пиджаке красовались звезда Героя Труда, ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, а также разные государственные медали за трудовые свершения прежних времён.

10

В обед в сельпо бабы судачили полушёпотом:

— Слыхали, деда-то, Андрея Степаныча, утром у перекрёстка полицаи скру-

тили, и Андрюшку малого вместе с ним, в воронок запихнули и в район увезли. Андрюшка деда защищать пытался, так ему дубинкой по спине. Много ли малому надо, вроде потом из отделения в больницу отправили, а может, так болтают. А у Андрея Степаныча ещё и медали из пиджака выдрали, говорят, и в землю втоптали. Пацаны, дружки Андрюшкины, потом из грязи их вынули и домой к деду снесли. Надо же, ночью вдвоём памятник заново поставили!

— И чего теперь с ими будет?

— Ну чего-чего? Ничего. Подержут для острастки денёк-другой да домой отпустят. А что с них взять? Одному больше восьмидесяти, другому только пятнадцать стукнуло. Не сажать же их. Штраф выпишут деду, и хорош, хоть и орал глава района на них во всё горло, когда к перекрёстку приехал на своём джипе, что посадит обоих за экстремизм и терроризм, срока возраста там нет. Но скорее пугал от злости, что памятник, не спросясь у него, заново поставили. Да и памятник сразу почти разобрали, он ещё застыть-то как следует не успел.

11

У директора школы зазвонил мобильник. Юлия Владимировна посмотрела на экран телефона и внутренне сжалась от нехорошего предчувствия.

— Ну что, Юлечка, плохи твои дела, — раздался из динамика ехидный голос руководителя образования района, — фигово ты там у себя молодёжь воспитываешь, вернее сказать, вообще не воспитываешь. Судя по всему, что такое патриотизм, в твоей школе не знают. А вот что такое «пятая колонна» ведают и всячески способствуют её существованию. Ты знаешь, что твой Киреев тут учудил? Мало того, что со своим полоумным дедом чуть не провёл экономическую диверсию в районе, так ещё при всём честном народе Валентина Аркадьевича фашистом обозвал, сравнил его с Гитлером, а начальника ОВД полковника Хромова с предателем Власовым в один ряд поставил, назвав его главным прихвостнем и полицаем. Вот так-то вот.

— Татьяна Михайловна, — срывающимся голосом ответила Юлия Владимировна, — я-то тут причём? Я ж не мать этому уроду. Была б матерью, он бы у меня и в мыслях...

— Мать, не мать, а ответ тебе держать, — перебила директора начальница. — Развели у нас под носом Болотную площадь, ну так и отвечайте по всей строгости. Жди, скоро приедем.

— Сегодня? — побледнела директриса.

В ответ последовали короткие гудки.

12

Заканчивая предпраздничное совещание, Баталов посмотрел на Татьяну Михайловну.

— А тебе, Татьяна, особое задание. Проконтролируй лично завтра Ермаковскую администрацию, и про школу не забудь. Посмотри там, как они на «Бессмертный полк» выйдут, в каком виде, в каком составе. Их не предупреждай, что приедешь. Надо, чтоб всё по-честному было, без подтасовок. А то прикидываются патриотами, а на деле — сплошные экстремисты. Несанкционированные митинги, забастовки, оскорбление властей, сопротивление полиции, строительство незаконных объектов, попытки срыва госзаказа. Какое-то осиное гнездо, надо с ним кончать и не нянькаться.

— Валентин Аркадьевич, ну почему во всенародный праздник я должна ехать к этим извращенцам, а не быть рядом со своими друзьями, коллегами и соратниками! За что мне такое наказание? Это несправедливо.

— Татьяна, не переживай, сгоняешь в Ермаково на полчаса, помотришь, посчитаешь — и назад. Мы без тебя за стол не сядем, слово даю, дождемся, — улынулся Баталов расстроенной женщине и повернулся к остальным своим мамам. — Итак, завтра жду всех у администрации в назначенное время. Прийти с семьями, шарами, цветами и портретами своих героев. Пройдем, так сказать, по главной улице с оркестром, почтим память своих предков. Память — это главное. Без памяти нет будущего.

13

В ночь на девятое мая на дороге, убегаящей от ермаковского перекрестка прямо на восток, появилась огромная надпись, сделанная белой краской: «На Москву!».

14

Дед Андрей сидел на склоне холма и заворожённо смотрел вниз на дорогу, по которой нескончаемым потоком шли и шли солдаты в сторону восхода солнца. Сердце старика потеряло привычный ритм, утратило скорость движения и вот-вот собиралось остановиться.

— Андрейка, Андрейка, — теребил дедову штанину его закадычный дружок Вовка, — куда-то они?

— Туда, — тяжело вздохнул Андрей Степанович, наблюдая за чеканным шагом пехотинцев.

— А ты спроси их, спроси, интересно ж, кого воевать идут?

— Сынки, — с большим трудом поднялся с земли дед Андрей, — куда путь держите?

— На восток идём, отец, на восток.

— Почему на восток?

— Своих супостатов из Отечества изгонять, всех тех, кто повылазили из всяких щелей, пока нас не было, и теперь над Родиной изгаляются.

— С Богом, сынки, с Богом! — перекрестил воинов Андрей Степанович. — Возвращайтесь с победой!

— Спасибо, отец! Вернёмся!



НАТАЛЬЯ КАМЫШОВА



«По житейскому морю плыву...»

* * *

Ни по одной из тех дорог
Мне больше не пройти,
Хотя ещё не вышел срок,
И надо бы идти.

Я шла и к храму, и к любви,
Уже — рукой подать,
Я сбила ноги до крови
И повернула вспять.

Теперь пути мои круты,
Они уведут в ночь.
Бог отвернулся, как и ты...
Моя дорога — прочь.

Я разлюблю тебя всего!
На сердце ляжет мрак.
И не прошу я ничего.
Дай сил на первый шаг...

КАМЫШОВА Наталья Александровна родилась и живёт в Иркутске. Получила высшее педагогическое образование, работала в православной школе. В настоящее время трудится в сфере «Человек — Человек». Лауреат областной конференции «Молодость, творчество, современность» (2004 г.). Одна из победителей регионального поэтического конкурса им. Юрия Кузнецова (2005 г.). Автор поэтических сборников «Шаги за дверью» и «На светлой половине». Публиковалась в журналах и альманахах «Сибирь», «Созвездие дружбы», «Иркутский кремль», «Огни Кузбасса», в сборнике «Антология Русской Сибирской поэзии. XX век». Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

* * *

Я тебе улыбаться не стану,
Сдвину губы в подобье усмешки.
Снова в омуте памяти канут
Две слезы, обронённые в спешке.

Не нужна мне горячка волнений —
Знаю: выйдет себе лишь дороже!
У меня не осталось сомнений.
Да и раньше их не было тоже...

* * *

Пусть прошлое станет прошлым,
Забудется, отболит.
Свет белый над миром пошлым
Небесной рекой разлит.

Но прошлое змием мудрым
Железные путы вьёт.

Проснёшься однажды утром,
Покажется — даль поёт,

Я стала тебе чужою,
Как будто мимо прошла.
Знаешь, до встречи с тобою
Я тоже как-то жила...

* * *

Плыл корабль между скал, топких мелей,
Ветер смело терзал паруса,
А матросы молились и пели,
Обречённо глядя в небеса.

Небеса ничего не сулили —
Отражались в холодной воде,
И бывалые грубо шутили:
«Между морем и небом — нигде!»

Что теперь с кораблём и командой?
Все погибли иль всё на плаву?
Вслед за ними над бездною жадной
По житейскому морю плыву...

* * *

Да, этот мир несовершенен.
Но был ли совершенным он,
Когда могучим мановеньем
Был вдохновенно сотворён?

И тьма веков легла пластами,
Прессуя вечность в первый слой...
Господь устал висеть над нами.
Но заслужил ли Он покой?

* * *

Это дружба, но не братство —
Света нет, но не темно.
Нелюбовь — не святотатство —
Так решили мы давно.

Нет креста над изголовьем,
Не дарил ты мне кольцо.
Но, спасаясь нелюбовью,
Как смотреть любви в лицо?

* * *

Мне бы, битой, ровнее дышать, Не глотать алкоголь и таблетки, Только вновь замирает душа От касанья берёзовой ветки.	Собираюсь я в новый полёт. Пробудитесь, уснувшие силы! Как ни странно, но солнце встаёт И по-прежнему плачутся ивы...
---	--

* * *

1

Светлый мой, легко с тобой По коре шагать земной, Ощущая под ногами Твердь, покрытую травой.	Ты пройди по ней босой, Не с портфелем, а с косой — Ляжет ровными рядами Сено, бывшее травой.
---	--

2

Под корой клокочет лава, Страстно гейзеры кипят, Только снега тонкий саван Укрывает мир до пят.	Но весна опять случится, Ты увидишь — я права: Сквозь асфальт трава сочится, Безмятежная трава!
--	--

* * *

Пред несказанным словом стою, Словно перед клыкастым забором. В изобильном речистом краю Я слыву недотёпой и вором.	Иль крадётся чужой стороной, Иль голубкою верной воркует? Солнце вновь оседлало зенит, Не боюсь я ни чёрта, ни сглаза! От словесного тока мутит, Но в заборе — ни щели, ни лаза.
--	---

* * *

Где назначить нам новую встречу И скрестить обречённо пути? Я судьбе-верхоглядке перечу, Повелевшей нам розно идти.	И нужна ли нам новая встреча? Ведь никто больше чуда не ждёт. Но она, как безглавый Предтеча, По пустыне остывшей грядёт...
--	--

* * *

Разве дома мне мало занятий? Разве скучно мне стало одной? Но я помню тепло тех объятий, Задуманность беседы былой.	Нет, слова твои были простые, Их елеем на сердце пролил. В мыслях нет ни беды, ни победы. Поливаю поникший росток. И я еду, я всё-таки еду Встретить солнце — на Дальний Восток!
--	---

* * *

Неистошима только синева...

А. Ахматова

Не нужно столько синевы!
Мне хватит с форточку клочка —
И в нём толпятся облака,
Своею правдою правы.

Они торопятся туда,
Где станут снегом и дождём.
У форточки мы лета ждём,
Чтоб так прожить, как никогда.

* * *

Надо встать, занавесить окно —	Надо думать, и завтра взойдёт,
Злое солнце над нами смеётся,	Вновь прольются лучи золотые.
Видит всё, и видит давно,	Не печалься, и это пройдёт.
И однажды за всё воздаётся.	А сегодня мы просто живые.

* * *

Белый храм и небо голубое,	Сколько грязи льётся здесь, в долине,
Нового Завета старый том —	Что вершинам девственным видна!
Предвкушенье вечного покоя...	
Что душе приблудной толку в том?	Но, коптя, душа не погасает
	В твёрдом знанье: жизнь моя — мой крест.
Обещала не грешить отныне —	Почему Христос не воскресает
Снова опустилась ниже дна.	В этом сердце, если Он воскрес?

Антипасха, 2018 г.

* * *

Памяти бабушки

Ничего-то сказать мне не хочется.
Так вот! Смолк говорливый родник.
И зияет провал одиночества
В раскалённые добела дни.

А бывало — и пелось, и верилось
В то, что край где-то там, далёко.
Всё добротную вечностью мерилось,
Ты с постели вставала легко...

Встанешь ты на алеющем полюшке
Возле леса кривой городьбы —
Станет доля моя скромной долюшкой,
Горькой долькой семейной судьбы.

* * *

Памяти брата

Ты святым себя не считал.
Среди нас тоже нет святых.
По земле не ходил — летал,
И теперь ты в даях иных.

Богатырь был, кремень, кулак —
Не измерить мерой простой.
Но стенаю я: как же так?! —
Ты в гробу лежишь неживой.

Ты, как светоч, для нас горел,
В одночасье вспыхнув, погас...

Ты ворочал громадой дел
И оставил её на нас.

Ну, а что мы? Больны, слабы,
Не впервой нам горе хлебать.
Мы — живые Божьи рабы,
Значит, есть, кого распинать.

Ты же крылья не смей сложить —
Небосвод тебе станет дном!
Дай нам сил тебя пережить,
Хороня тебя, как зерно.

* * *

Восклицательный знак депрессивного рода,
На обломках пространства дрейфуешь во льдах.
Над тобою крыла простирает свобода,
Вкус малины и желчи на узких губах.

Кто вкусил бытия, тот по смерти тоскует.
Кто однажды хмелел, никогда уж не трезв.
И берёза в простор тычет ветку сухую,
Только времени конь необъезжен и резв.

Я ползу муравьём каждый вечер до дома,
Чтоб укрыться надёжно от правды и лжи,
И стелю, и стелю пред собою солому,
И точку, и точку — до мозолей — ножи.

Ты теперь отдыхаешь от скучного мира,
Омывает тебя дождевая вода,
Тихо плачет моя безутешная лира.
Ты теперь в том краю, где хотел быть всегда.

* * *

Смотри же: вот рябины куст,
А тут — опрятные деляны,
И дом стоит, ничуть не пуст,
Хозяин солнечной поляны.

Ты по бревну его собрал
И под венец подвёл когда-то,

И он надежды оправдал,
Тебе теперь он вместо брата.

Ты не чурался ни пещни,
Ни топора и ни зубила,
К руке прилажены они...
Когда-то жизнь ключом здесь была!

И мать с отцом рядком лежат Ты выйди, полю поклонись,
Недалеко — там, за лесочком. И дереву, и дому — в пояс.
Ты обратись — благословят В нём бабочкой порхает жизнь,
Неугомонного сыночка. И шмель гудит, не успокоясь...

* * *

Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?

А.С. Пушкин

Стареет пушкинская «младость»,
Буксуем мы на вираже,
И лишь нечаянная радость
Лампадкой теплится в душе

Наперекор вражде, сомненьям,
Беззвёздной ночи вопреки,
Дымком витает вдохновенье
На расстоянии руки.

Раскрасив мир тремя словами,
Скажу, а ты не прекословь:
Есть кто-то третий между нами.
Он именуется Любовь.



МАКСИМ ЖИВЕТЬЕВ



Памятник

РАССКАЗ

...причина того, что мы сегодня открываем памятник — это особая благодарность этому животному. Мы можем с помощью него изучать человека, создавать лекарства.... мы ...с момента создания института работаем с мышами и крысами...

*Директор Института цитологии и генетики СО РАН Николай Колчанов,
1 июля 2013 г. на открытии памятника лабораторной мыши в новосибирском Академгородке*

ЖИВЕТЬЕВ Максим Аркадьевич — прозаик. Родился 18 мая 1983 г. в Иркутске. Окончил биолого-почвенный факультет ИГУ (2008) и Институт высоких технологий ИРНИТУ (2018). Кандидат биологических наук. Рассказы публиковались в газетах: «Копейка», «Русская беседа», «Родная земля», «Лесная газета» (Москва), в альманахе «Первоцвет», журналах «Главная тема» (Иркутск–Москва), «Пролог» (Москва), «Веретен» (Калининград), «Сибирь». Стипендиат Министерства культуры Российской Федерации по литературе за рассказы последних лет. В 2018 г. занял второе место в номинации «Проза» в Областной литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность». Член Союза писателей России с 2019 г. В 2018 г. М. Живетьев вошел в список ста лучших авторов конкурса научной фантастики «Будущее время» за повесть «Смайлик, или Записки из будущего». С 2020 г. работает главным редактором литературного журнала для молодежи «Азь-Арт». Является лауреатом литературной премии «Иду на грозу» журнала «Сибирские огни» за рассказ «Памятник» (Новосибирск, 2021). Живет в Иркутске.

Максим переступил порог научной лаборатории в самый разгар третьего курса биофака, хотя полагалось по программе чуть раньше. Ему хотелось чего-то поближе к медицине, поэтому он долгие месяцы мучительно выбирал куда пойти.

И вот утром он пришел по нужному адресу. Встретил улыбчивый моложавый дядечка, представился Борисом Кузьмичом и сказал:

— Работать будете у меня, а руководить дипломом будет моя выпускница Анна Сергевна. Она у меня уже кандидатскую защитила. Теперь твоя очередь, если не сбежишь, — и повел показывать бункер, выкрашенный типовой голубой краской: — Тут у нас новый виварий для экспериментов над животными, — пахнуло сырными опилками. — Со старого пришлось сбежать, пока нас не накрыли «зеленые», что поделаешь, — Борис Кузьмич задорно рассмеялся собственной шутке. — Здесь содержатся наши экспериментальные крысы. Вот эти, — он показал на ряды клеток слева, — контрольная группа. А тех, что справа, мы будем «лечить». Ну, как лечить... — Борис Кузьмич решил сразу не договаривать. — Ну и собственно «операционная».

Они вошли в выложенную белым кафелем комнату с большим высоким белым столом с навесом из прожекторов. На столиках вдоль стены ровными рядами выстроились подносы со скальпелями и пинцетами, шприцами и системами.

— Тут мы будем оперировать крыс. — Борис Кузьмич осторожно добавил: — Крови не боишься?

— Нет.

— Вот и славно. Каждой крысе, что ты видел, мы уже вкололи в крупный сосуд хвоста дозу четыреххлористого углерода. Чтоб ты знал, печеночный токсин и по совместительству боевое отравляющее вещество — его еще фашисты использовали. Из тех крыс, что выжили, часть держим в качестве контроля и смотрим, как они себя чувствуют, а экспериментальным колем стволовые клетки. И следим, как они восстанавливаются после «лечения». Собственно сюда раз в три дня по три крысы из каждой группы будем брать и «оперировать». Главная цель — извлечь из каждой печень и сердце на лабораторные анализы. Сам понимаешь, все «операции» заведомо с летальным исходом. А теперь пошли пить чай, пока остальные не подошли.

Пока они удобно располагались вокруг журнального столика, Максим спросил:

— Борис Кузьмич, а откуда вы берете стволовые клетки?

— Перемалываем ткани новорожденных крольчат. Частично действуют сами клетки, а частично — вещества из поврежденных клеток. Сейчас у нас прикидочный эксперимент. Оценим перспективу, а потом закупим новую большую партию животных и сделаем все по-человечески.

— Понятно.

— Да, сейчас придет Рома, он раньше в морге работал. Он тебе столько баек расскажет, что держись. У них там без юмора и цинизма вообще нельзя.

Когда вернулись в операционную, Борис Кузьмич скомандовал надеть всем медицинские перчатки и стал рассказывать главное:

— Максим, теперь в левую руку берем крысу: большим и указательным пальцем придерживаешь ее под передние лапы, иначе она тебя укусит, а остальной кистью придерживаешь задние, а то она тебя поцарапает. А когти у них немаленькие. Вот так. Правой рукой берем портновские ножницы и производим декапитацию. Я на первой покажу, а дальше ты сам.

Белый зверек пытался вырваться, потом присмирел и стал доверчиво нюхать воздух. Поднесенные к его шее большие портновские ножницы были в новинку и вызывали скорее любопытство, чем страх.

— Очень важно, чтоб смерть наступила мгновенно, — объяснял Борис Кузьмич, — иначе могут наступить изменения в биохимии, и результаты окажутся неточными.

Лезвия ножниц сомкнулись, голова крысы упала в белый эмалированный поднос и остервенело залязгала зубами. Обезглавленное тело тем временем неистово перебирало задними лапками, пытаясь бежать. Когда все затихло, Борис Кузьмич положил его на кухонную разделочную доску и скальпелем стал разрезать грудную клетку.

— Максим, бери следующую, отрезай голову и передавай мне, — сказал он, вынимая маленькое сердце, — две лобных с левой стороны коридора и три с правой.

Роман принимал извлеченные органы, отмывал их наскоро в гипарине, вставляя иглу со шприцем в крупные сосуды, потом разрезал на кусочки, которые Анна Сергевна фасовала, аккуратно подписывала и помещала в дюар с жидким азотом. Все это превращалось в конвейер по переработке крыс во благо здоровья человечества.

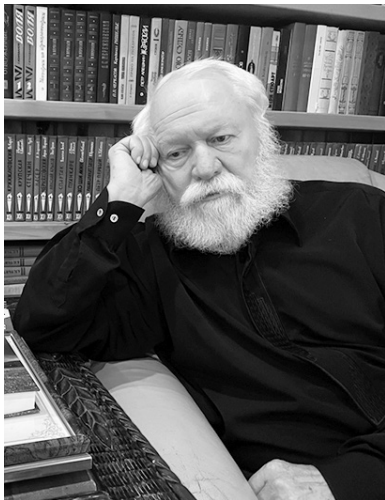
С первой крысой Максим разделался быстро, будто всегда только этим и занимался, и пошел за следующей, оттирая перчатки проспиртованной ватой. На этот раз ему подвернулась самая маленькая из всех. Ее он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Пока нес к столу, разглядел белые ушки, почему-то не розовые как у остальных, а густо покрытые белой щетиной. И озорной испуганный взгляд. Пока нес, прижал к белому халату и погладил. И только над столами с инструментами завел руку под брюхо, чтобы взять поудобнее для убийства. Осторожно и не спеша, отчего крыса успела выскользнуть на стол. Нет, она не побежала. Она попятилась, жалобно утыкаясь мордочкой в столешницу и боясь поднять глаза. Она предвкушала боль, но послушание и доверие не позволяли ей дать стрекача. На краю столешницы, когда пятиться ей было некуда — только прыгать на пол — Максим снова взял ее в левую руку, как учил его Борис Кузьмич, и понес на операционный стол. Это была единственная крыса, которая даже зажатая в руке продолжала жалобно попискивать плачущим писком. Ее не отвлекли даже большие портновские ножницы рядом с ее горлом — нет, она смотрела большими розовыми глазами куда-то в закрашенное белой краской окно и сдержанно просительно плакала кротким крысиным голосом. Максим помедлил, и ножницы сомкнулись.

После обеда пили растворимый кофе с белым кусковым сахаром. Роман, нависнув над новичком, с высокого кресла рассказывал байки из морга: про череп без мозгов, отсутствие которых обнаружили во время вскрытия, и прочую «веселуху». Максим делал вид, что внимательно слушает, а на него откуда-то с потолка во все большие розовые глаза смотрел сегодняшний крысеныш, внимательно и пристально заглядывая в душу, да что там в душу — в самое сердце, и молчаливо прислушивался к его биоритмам, не отводя спокойного и необычайно равнодушного взгляда, полного преданности и доверия.

ПОЭЗИЯ



ВАСИЛИЙ СКРОБОТ



«И Новый год, и Старый — всё со мной...»

И вам добра

Сейчас совсем другие времена,
Просторы в Рождество похолодали.
И век другой, да и другие дали,
К тому ж, другая нынче и страна.

И пусть на Рождество идут снега,
Иль оттепель природу отогреет.
А я Россию сделаю добрее
И как поэт, и как её слуга.

Меня природа радует и кров,
Беречь стараюсь совесть непременно.

И что теперь грустить о переменах?
Хвала Творцу, что жив я, и здоров.

И вам, друзья, здоровья и добра,
Надеюсь, что вас скверна не разрушит.
Пусть Рождество согреет ваши души,
Пусть снег идет, и мечутся ветра,

А я на Рождество зажгу свечу,
И помолюсь, чтобы исчезли беды,
И, воинам желающий Победы,
За Ангелом незримо полечу!

СКРОБОТ Василий Александрович родился в октябре 1941 года в дер. Андрюшино, Куйтунского р-на, Иркутской обл. Окончил Селецкую среднюю школу в Брестской области в 1958 году и уехал на строительство Братской ГЭС. Затем, после окончания Иркутского авиатехучилища, жил и работал на Крайнем Севере в Норильске. Первые стихи были опубликованы в газете «Огни Ангары» в Братске. В 1971 году вернулся в Братск, работал в БратскГЭСстрое и в Объединении Сибтепломаш. Организовал и руководил литературным объединением «Истоки» при Братской городской газете «Красное знамя». Стихи опубликованы в газетах, журналах и коллективных сборниках. Изданы книги «Повиниться хочу...», «Горечь», «Исповедь», «Совесть» и др. Член Союза журналистов СССР и Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Маме

Мама смотрит на меня устало С фотографий давних на стене... И явилось, и затрепетало Отраженье мамино в окне.	С мамой мы давно уже в разлуке, И вернуться к ней никак нельзя.
Мама мне желает доброй ночи, Я утрами вижу её взор. Её жизнь уже моей короче, И в душе я чувствую укор.	В горы я взлетал, срывался в ямы, Было всё — и радости, и зло. Но я помню, что хотела мама, Чтобы мне на свете повезло.
До сих пор её сжимаю руки, Вглядываюсь в ясные глаза.	Мне везло — и я шагал упрямо, Мне сияла мамина звезда... Я сегодня старше своей мамы, А она всё так же молода!

Вернусь в село

Нет, вернусь я, все-таки, в село, Или, если повезет, на хутор. Где прозрачны дали, как стекло, И дурманит красотой утро.	В сельсовете выправить печать, Чтобы здесь хозяйничать веками.
Север свой попробую забыть И звезду Полярную зашторить. Пастухом, коль повезет, побыть, Иноходца вольного пришпорить.	Старенький достать велосипед, Пробежать после дождя по лужам. Попросить, чтоб вечером сосед Разделил со мной крестьянский ужин.
С земляками сесть, поговорить, От веселья не стоять в сторонке. Столик разносолами накрыть, Выпить деревенской самогонки.	А потом уйти на сеновал, В запах разнотравья окунуться. Скошенный, как будто наповал, Я забуду про тайгу в Иркутске.
Поплясать, а с кем-то помолчать, У плетня курнуть со стариками.	И останусь навсегда в селе, Медведей и соболей забуду. Провожая стаи журавлей, Сельской жизни радоваться буду.

Сберегу

Я бродил и блуждал, но всегда выходил на дорогу,
Спотыкался и падал, в слезах поднимался с земли.
Но доволен я тем, что больных и убогих не трогал,
Да и мне — сбережёнными мной — помогли.

Я не раз говорил и рассказывал людям про это,
Не скрывал недостатков, пороки свои бичевал.
Зимовал в Заполярье, заглядывал в южное лето,
Жил в домах и в тайге, под Полярной звездой ночевал.

И готов ко всему, к доброте и хуле, к пересудам,
Я прощеньем живу, помогаю стране, чем могу.
А погрязну в грехах, пусть народ и Всевышний осудят,
Но вот совесть, добро до конца своих дней сберегу.

Это я и себе, и друзьям, и врагам обещаю,
Ну, а если солгу, пусть Господь покарает меня.
С каждым годом и днём я дорогу свою сокращаю,
И уносится тройка, последнею рифмой звеня.

Память

Восьмой десяток на исходе, Годов расходятся круги... На пешеходном переходе, Всё замедляются шаги.	У мамы было нас тринадцать, Росли как в поле лебеда. И чтобы как-нибудь подняться, Мы разлетались кто куда.
---	--

Какие к черту перспективы, Такой не нужен мне прогресс. Когда теряется учтивость, И меркнет к слову интерес.	С годами всё редела стая, Да и родители ушли. И попрощавшись, улетали, Как улетают журавли.
---	--

Я помню годы с нищетою, Своё село, родную мать, Она крапивой, лебедою Нам помогала выживать.	Без них грустнее и беднее, Звонки всё реже, меньше встреч. Похоже, Господу виднее, Как человечество беречь.
---	--

А снег идёт

Зима прошла, а снег на голове, На память мне, наверное, остался. Я от него избавиться пытался, Чтоб он исчез, как иней на траве.	И молодость давно исчезла где-то, А снег, как в песне, всё идёт, идёт.
Я думал, это временно, пройдет, Но вот за летом проходило лето.	И я смирился, перестал грустить, Ведь всё не зря меняется в природе. Скрипят мои суставы к непогоде, И я намерен тоже их простить.

За Старый год

Посвящаю ровесникам

Подшитые ботинки берегу, Поношенные вещи сберегаю. К фальшивым идеалам не бегу, И шумных мракобесий избегаю.	Когда же разволнуется душа, Когда хандра, как ворон, прилетает. Тогда сижу, в былое не спеша, Мудрёные писания читаю.
---	--

Вот и теперь, встречая Старый год,
Я вспоминаю беспокойных предков.
Пытаюсь отрешиться от невзгод,
И встретить ярких снегирей на ветках.

И Новый год, и Старый, — всё со мной,
Для них мои надежды и участие.
Они как я, проходят путь земной,
И дарят нам не призрачное счастье!

Надену задремавшее пальто,
Оно живое, хоть и полиняло,
Что воротник из кролика. Зато
Мне много лет оно не изменяло.

Поэтому не стану унывать,
Налью в бокал чего-нибудь покрепче.
Ровесники, не будем горевать!
За Старый год! Авось нам станет легче.

Держусь

И я когда-то не хотел стареть,
И о годах мелькающих не думал.
Готов был вечным пламенем гореть,
Но как-то незаметно передумал.

И, в зеркало однажды поглядев,
Глаза в глаза, как часто вдруг глядится,
Увидел седину, как старый лев,
Но я не перестал собой гордиться.

И разум в утешенье шепчет мне,
Мол, — это человеческая доля.
Да, я согласен, и к тому ж, вдвойне
Для наших судеб есть Господня воля.

Мелькали дни, менялись города,
И жизнь моя кружилась по спирали.
Мои года без всякого стыда,
Наотмашь мою молодость стирали.

Хотел понять, что означает жизнь?
И сам себе я задавал вопросы.
Зеркальный лев мне прорычал: — Держись!
Ведь помнишь ты и росы и покосы!

И я держусь, пока хватает сил,
Пока хожу, пока могу держаться.
Жить ближе к небу Ангел пригласил,
И грех мне на кого-то обижаться.

Очерк и публицистика



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

Дар любовью освященный

О ПРОЗЕ АЛЬБЕРТА ГУРУЛЕВА

Очарованный устным крестьянским словом, любомудрым и украсным, постигая и письменное древлеправославное, каюсь, бегло читал и смутно знал я творчество иркутских писателей, кои годились мне в старшие братья, а то и в отцы, хотя с иными и дружбу водил, и винцо пил, ну, да... лицом к лицу, лица не увидать...; преклонялся перед суровой и мудрой красотой распутинской прозы, любил неприхотливое крестьянское и солдатское слово Алексея Зверева, а в молодые романтические лета с усладою читал и лирические повести Евгения Суворова. И лишь на крутом перевале веков открылась мне и талантливая проза Глеба Пакулова в ее вершинном историческом романе «Гарь», и произведения Альберта Гурулева — роман «Росстань», повествования в рассказах, которые любовью к родному народу и родной природе, живописью и певучестью слова, думаю, не уступят прозе сверстных мне, *избранных* писателей, даже и звонко повеличенных, набивших извилистые тропы в сибирские и столичные издательства.

Пишущий с природной неспешностью, мужичьей основательностью, с долгой раскачкой, не мельтешащий в литературно-издательском мире, Альберт Гурулев не похвалится тьмою книг, и, тем не менее, в сопоставлении с нынешними, литературно омертвелыми временами, произведения сибирского писателя в благоую литературную пору печатались сказочными тиражами и обрели читателя и почитателя уже в те азартные творческие лета, когда в прозе крепко сбилась «иркутская писательская стенка». Молодая, даровитая, хмельная и задорная «стенка» ополчилась на обветшавшую сибирскую литературу и пробила в ней бреши. Но... ничто не ново в подлунном мире, все суета сует и томление духа; «шли годы, бурь порыв мятежный развеял прежние мечты...», обветшала и «литературная стенка» — постарели, отшумели вчерашние юнцы, вчерашние новоявленные витии; и с летами писательская судьба, что ветреная дева, иных обласкала, иных осмеяла, иных осыпала наградами крестами — жухлыми осенними листьями, иных... словом, кому ордена и кресты, а кому и буйной головушкой в кусты. Творчество иных сподобилось державного и мирового звучания — Валентин Распутин, Александр Вампилов, иные же, по молодости сверкнув по столицам, пошумев у «стенки», к двадцать первому веку, не обретя мудрости и любви, раструсили на тряском писательском проселке былое словесное дарование, и, ленивые невежи, зарылись, словно караси в густую тину, в «свирепую графомань»; иные же, *избранные*, не избалованные мирской славой, не шумя и не пыля на литературных путях и перепутьях, тихо и сокровенно осмысливали прошлое — дальнее и ближнее, гадали над нынешним, пытались прозреть душевными очами, что сулит народу день грядущий; и благословенно трудились над словом, поучаясь у великой по духу и красе народной речи, дабы их письменное слово не унизило народного духа.

Быть среди помянутых *избранных* посчастливилось и писателю Альберту Гурулеву, а посему и не случайно, что его роман «Росстань», повести и рассказы, собранные в книгу «Русское Устье», издательство «Иркутский писатель», где я начальствовал, узрели свет в книжной серии «*Избранная* проза и поэзия Байкальской Сибири» в череде с Алексеем Зверевым, Глебом Пакуловым, Михаилом Трофимовым, Анатолием Горбуновым.

Нынешние российские времена согласно печальным вздохам Алексея — героя повести Альберта Гурулева «Выбор цветных снов», — уворованные глумливой нерусью, съезжились в корчах чужебесия, приуныли в густом тумане фарисейской набожности, но и сквозь мглу светит изыбным окошком отраднй русский огонек, золотятся на закатах кресты и маковки сельских церквей, слышатся сквозь ведьмовский визг с «лысой горы» певучие и тихие русские голоса. Вопреки злорадному лицедейскому смеху, вопреки зауспокойным речам жива русская *народная* литература, полна маловедомых народу творческих сил, чтобы являть миру произведения, достойные прошлых литературных веков. Горе лишь в том, что царящие на Руси хриstopродавцы да их русскоязычное холопые, ухитившие всю полноту российской власти на кровавой заре и на смутном закате прошлого века, заперли *русскую народную природную* литературу от *русского народа* в зарешеченной темнице. Но... будем надеяться... надежда умирает последней... будем верить, не все коту масленица, придет и пост, прижмет хвост.

Всякому, кто может величаться писателем, судьба, что в руце Божией, ссудила разную меру дарования, и всякий дар в радость, ежели дар не от князя тьмы, но от любви к ближнему, что уже есть любовь к Вышнему. Вот и дар писателя Альберта Гурулева — освященный восхитительной и сострадательной любовью к брату и сестре во Господе, к родимой природе — Творению Божиему, к России, изножью Христова Престола и пристанищу Царицы Небесной. Хотя, может быть, эти духовные начала писателем и не осознавались вполне, поскольку основные произведения, вошедшие в книгу, рождались в лета, когда власть приваживала народ русский жить по моральному кодексу строителя коммунизма — «Раньше думай о Родине, а потом о себе...» — кодекса, в нравственном смысле созвучного евангельским заповедям, но заради «земного» рая, без Бога и Царствия Небесного.

И все же роман «Росстань», открывающий книгу, создавался в добрые времена, когда, в отличие от нынешних продажных и халтурных, крепок был нравственный и художественный уровень всего отечественного искусства, в том числе и литературы. Хотя и, что греха таить, уживались и в тогдашней литературе бойкая конъюнктура, газетной скороговоркой «воспевающая» гигантов индустрии, и нахрапистая графомания, снующая с баргузинскими соболями по столичным издательствам, кою выпихнешь в дверь, она и в окно пролезет. Но эта жалкая пена, не успев замутить воду, таяла бесследно в полноводной литературной реке. Ныне же, увы, увы, заперли реку плотиной каменной, бурлит и омутно кружит ядовитый кроваво-пенистый поток «чернухи» с «порнухой», и лишь по окраинам Руси чудом обереглись, не высохли родники испоконного и поклонного русского слова.

* * *

«Росстань» — роман Альберта Гурулева о гражданской войне в казачьем Забайкалье — произведение, что по любовному и сострадательному знанию русской народной души и народной жизни, по художественному слову можно поставить

вровень с лучшими произведениями сибирских писателей, в коих запечатлелась трагедия братоубийственной русской смуты.

Созданная при Советской власти, с верой в Советы рабочих, крестьян и беднейшего казачества, с верой, что «пролетарии всех стран соединятся», «Росстань» — в идейном смысле, конечно же, роман *красный*. Шалой кобылешкой, что шарахается вправо и влево, то дуrom прет, то куста страшится, русская образованщина, оторванная от корневого народного духа, в прошлом веке кидалась из крайности в крайность: то, матеря белогвардейщину, воспевала красных — воспевала искренно, безудержно и безмерно, возводя «комиссаров в пыльных шлемах» на державные пьедесталы, то, своротив «комиссаров» в грязь, воспевала белую гвардию — белых лебедей, растерзанных красными стервятниками. В *красной* сибирской литературе, породившей немало талантливых, истинно *народных* произведений, густо и *правдиво* прописаны зверства обреченных на поражение, озлобленных колчаковцев в сибирских деревнях и селах, отчего миролюбивые, с Богом и царем в голове, вольные сибиряки, даже и не осознавая глубинного и дьявольского большевистского замысла, закинули за плечо берданы и ушли в партизаны, чтобы *не волю добывать, как среднерусское крестьянство, — воли в Сибири вдоволь*, но вместе с Красной армией громить Колчака и Семенова. Ныне столь же ярко и столь же *правдиво* пишется и о трагическом величии колчаковского и семеновского сопротивления «антихристовой власти», о зверствах Красной армии, где, как в самом Кремле, сплошь и рядом верховодили революционные евреи, презиравшие исконную Русь, где воевали наемные мадьяры, китайцы и латыши, кои в отличии от русских — и белых, и красных — жалости к русским не ведали. Вчера мы пели аллилуйю красным полководцам Чапаеву, Фрунзе, Щорсу и Лазо, ныне ...и это справедливо... белый адмирал Александр Колчак — русский национальный герой, а завтра сей чести удостоится и белоказачий атаман Семенов. В *красном* и *белом* осмыслении гражданской войны есть временная правда; истина же в том, что рыба тухнет с головы — источенные западно-европейскими короедами, отрухлявели венцы царствующего Дома Романовых ...не спас Дом и Александр III, великий миротворец и строитель Державы Русской, не спас Дом и воистину православный великомученик Николай II... да и стало враждебным народу властвующее дворянство — утратившее *русскую народность*, офранцузенное, сребролюбивое и ленивое, алчное до утех и потех, прибыли ради изнурявшее рабским трудом своих холопов — крепостных крестьян. Мужики, когда дворянская удавка мертво стягивала шею — не вздохнуть, не охнуть, — бунтовали либо кидались в разбойное «дикое поле», обращаясь в вольных казаков. Белоперчатное дворянство — будущая элита Белой армии!.. — было враждебным и без земли «освобожденному» крестьянству, коего к началу кровавого XX века насчитывалось до девяноста процентов российского народонаселения. Мало того, аристократия, в том числе и великокняжеская, обезбоженная, зараженная конституционно-либеральным, западно-европейским духом, в отличие от русского простолюдыя, стала враждебна и царю — помазаннику Божию, отчего белые как огня боялись перед европейскими союзниками величаться монархистами, отчего *отеческое* простолюдые, священно чтящее Отца Небесного и отца народа — царя-батюшку, не пошло с белыми, а качнулось в *красную* сторону, откуда наслушалось столь щедрых посулов, сколь не слышало двадцать веков. Не ведало простолюдые, что посулы «революционных иноверцев» и доморощенных христопродавцев обернутся им великой кровью, великой бесовщиной, сокрушающей православную святость и

русскую нравственность. Тлеющее противостояние народа и властвующего дворянства кровавые бунтари — выходцы из русской обезбоженной образованщины и революционного еврейства — раздули до всероссийского пожара, почему истраченное масонством либеральное дворянство и большевистские головорезы оказались заединщиками и зачинщиками кровавой бани, ввергли в братоубийственную свару простолюдые, особо понюхавшее порох в мировой войне, переступившее через смерти, скудоверное и возбужденное горластыми большевиками.

Дворянство великой кровью искупило грех перед Богом и крестьянством, которое, словно священный агнец, было принесено в жертву немилосердной исторической судьбе. Вот роковая история российской гражданской войны, эпизод которой и запечатлен в романе Альберта Гурулева «Росстань», войны без *красной* и *белой* романтики, когда брат убивал брата, когда братья русские, *красный* и *белый*, повинно опустив головы, замерли над могильным бугорком, где похоронены их мать с отцом, где погребена сама Святая Русь, но воскреснет по вещим пророчествам русской святости.

Хотя эстрадный, но державный певец Игорь Тальков в вершинной по *русскому* духу песне «Россия» задается мучительным вопросом: «Листая старую тетрадь / Растерзанного генерала, / Я тщетно силился понять, / Как ты смогла себя отдать, / На растерзания вандалам?» Вандалы по Талькову нерусь с «черным глазом», которой Россия — изножье престола Божиего! — встала поперек замысла сатанинского, и по Талькову народ, обращенный в вандалов, во главе с Ильичем — «новоявленным Иудой, кровавым гением», связал Россию кумачом, поставил на колени и растерзал. Но увы, увы, вандалами, замахнувшимися на Русь Святую и народную, кровавыми письменами вписались в российскую историю даже некие государи Дома Романовых да их псаря из дворян и бояр, которые, хлебнув европейского искуса, ополчившись на русскую самобытность, исконно православную, заповеданную святыми отцами до скончания веков, широко отпахнули западному бесу врата на Святую Русь. Жажда порочной языческой воли, что предтеча дьявольской вседозволенности, порождает крушителей русской государственности — воровских повстанцев, дворянских мятежников, разночинных бомбистов — и наконец, вспыхнула полымем братоубийственной войны, охватившей Россию, когда, согласно евангельскому пророчеству, «предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и останут дети на родителей, и умертвят их» (*Мф.10:21*).

В *красноказачьем* романе «Росстань» писатель создает лишь художественную картину гражданской войны, не замахивается на неохватное и неисповедимое осмысление войны с *красной* или *белой* точки зрения, а тем паче, народно-православной, но все же показывает ненависть христолюбивого и братолюбивого народа, даже из драчливого казачества, к братоубийственной.

« — Жизнь идет, — философствовал Проня. — Одних убивают, другие умирают, третьи нарождаются.

— Так Господу угодно, — вторил ему отец Михаил.

Сила Данилыч гнул свое.

— Вот ты, господин есаул, и ты, Андрюха, стоите у власти, так растолкуйте мне, когда эта проклятущая война кончится. А то живи и бойся».

Не ведающие мирного жития, казаки (без войны те же крестьяне, лишь с винтовкой в темной казенке да шашкой на стене подле божницы) переживают перво-наперво о том, «посеяли столько, что пока будут молотить — съедят».

Трагизм междоусобной брани, созвучно «Слову о полку Игореве», невольно

выразился в пейзажах, написанных автором романа хоть и немногословно, но живо и ярко, пронзительно по чувству.

«Воздух душный и вязкий. Приближалась гроза. Далеко на северо-западе, за сопками густели тучи, и перекатывался гром. Разом налетел ветер, рванул вершины тополей, закружил дорожную пыль, взъерошил перья у куриц, пригнул к земле дым, ползший из труб, зашумел в траве. Створки окна со звоном раскрылись, взвилась вверх белая занавеска, с подоконника упал горшок с геранью и разбился».

«Увядали, грустили травы. Срывались с места пожелтевшие шары перекасти-поля, ударялись вперегонки со светлыми, возникшими из утренних холодных туманов тягучими паутинками. Догоняли уходящее лето. Табунились желтогрудые ласточки. За поселком выписывали широкие круги готовящиеся к отлету журавли. Не сегодня-завтра упадут заморозки».

Унылый пейзаж вдруг взрывается ярым действием...

«Ржала, кричала, сверкала шашками на утренней улице потная свалка. Рвали друг друга обезумевшие кони, брызгали кровью казачьи глотки, падали с неба чьи-то звезды».

«Кони рванули, холодный воздух перехватил дыхание, брызнул снег из-под кованых копыт коренника. Выстилалась в махе гнедая пристяжка, свистел над головой бич, сливались в серую полосу пролетавшие мимо придорожные кусты. Злой восторг захватил сердце девки. Она что-то кричала, захлебываясь обжигающим ветром».

«Часты в Забайкалье грозы. Сшибаются над сопками тяжелые тучи, рвет синяя молния небо, с грохотом рушится небо на камни. В ужасе никнет трава к земле, падают на колени лошади, ревут верблюды. Вспучивается, наливается чернотой Аргунь».

В некоторых эпизодах апокалиптические мотивы в описании войны обретают некое фантастическое и трагикомическое звучание.

«Рано утром, задолго до света, гнал Алеха Крюков на водопой оставшихся трех коней. Недалеко от школы, там, где улица перегорожена волокушами и телегами, обычно торчал часовой. Стоял он и сейчас. Хоть и знал старый казак Крюков службу, а заговорил с часовым.

— Что, паря, стужа? Холодно, говорю.

Японец ничего не ответил, даже не повернул голову.

— Ну и хрен с тобой, — обиделся Алеха и, перекинув с плеча на плечо пешню, свернул в проулок, ведущий к Аргуни.

Разбив в проруби лед и напоив лошадей, Алеха той же тропинкой возвращался домой.

Часовой стоял в прежнем положении, широко расставив ноги, опираясь на винтовку, и затаенно, недобро молчал.

Не снимая рукавицы, Алеха перекрестился, кошачьими шажками приблизился к японцу. Заглянул под башлык. Он увидел белое застывшее лицо, льдинки, сморозившие веки.

— Отвоевался, — шепнул Алеха.

Дома он рассказал о замерзшем на посту часовом, а к полудню об этом случае знал весь поселок. Оказывается, и еще кто-то видел японца, но уже без винтовки. Винтовку стащили».

Альберт Гурулев хотя и написал «Росстань» согласно советской «вере» в рай

на земле без Бога, тем не менее, мужественно пишет и правду «того» времени, когда с православием народ еще не распрощался.

«И все видели: верно, знаменье.

— Смена власти будет. Конец антихристам.

— А можа, белым каюк?

— Всякая власть от Бога».

А вот описание того, как разгружались вчерашние казаки, сегодняшние коммунары на землях будущего поселения.

«Телеги разгружали. Топоры, пилы, лопаты, ломы сносили в одно место. Теперь все это общее. Продукты несли к балагану. Посуду — тоже к балагану. На своих телегах — Господи, да ведь не свои они теперь — оставили сундучишки с барахлом, в каждом из них, в самом низу, *завернутые в чистые тряпки, лежали иконы*» (*Курсив мой.* — А.Б.).

Мало того, в разных эпизодах живописно прописаны и крестьянские суеверия (особенно в сценах девичьей ворожбы на жениха), — суеверия, от коих не отбились «красной звездой» даже рьяные большевики, выходцы из казачества. К духам земли обращается и Сергей Георгиевич, большевик и коммунарский верховод:

«— Хозяин, — говорил он крутым сопкам, небу, траве, — разреши мне жить здесь, всем нашим людям, животине нашей. Прими нас под свою защиту».

Три друга — три начала русской души — верховными героями проходят сквозь роман: Лучка — христоролюбивая и человеколюбивая душа, сгинувшая в дьявольской смуте; Федька — лихой казак, в душе коего люто бранятся добро и зло; а меж ними Сиверько — крестьянская душа, видящая земное спасение в общинном и домостроительном труде на родимой хлебородной ниве.

Роман «Росстань», как и талантливые советские произведения той поры, не превращается в *красный* плакат благодаря тому, что писатель с родовым любовным знанием живописует и мирный казачье-крестьянский мир.

«Хорошо Николаю Крюкову в отцовском доме. Тепло душе. Привычно, спокойно. Словно вернулся в раннюю свою юность. За окном леденеет ветер, за окном бескрайние, промерзшие до звона степи, а в доме жарко, топится большая русская печь, тоненько поет желтый самовар, щурит сонные глазки кот Тимоха. Белые занавески на окнах, герани в глиняных горшках, широкие поскрипывающие половицы».

Роман завершается светло, с верой в то, что отгремели военные грозы, и в мире воцарил душеспасительный крестьянский труд на земле отичей и дедичей, лишь едким осадком останется в памяти былое братоубийство. «Чуть ли не четыре года грохотала революция по Забайкалью. Чуть ли не четыре года носил ветер по степи запахи пороха, крови, пота. Жирели вороны, множились волчьи стаи. Горела степь, горели дома». Но... «отгрохочет гроза. Радостно и тревожно оглядывается вокруг себя человек: все ли живы, все ли видят, как хорошо на земле. А в сердце у человека еще не прошла гроза. Гулко бьется сердце, вспоминая, как пахло порохом и кровью. Эй, все ли живы?»

* * *

Судя по роману «Росстань» и природным сказам, писатель Альберт Гурулев родовой памятью крепко увязан с казачьим и крестьянским пахотным миром, с

миром забайкальских скотоводов и скотогонов, с миром рыбаков и охотников, отчего и с любовным ведением пишет эти полуслитые русские миры, где царствует природа — Творение Божие, где все начинается с природы, живет в природе и завершается природой. А посему, что и обычно для традиционного русского писателя, не порвавшего пуповинной связи с природным, народным миром, Альберта Гурулева можно повеличать и сибирским природописателем. В романе «Росстань», как уже поминалось, описания природы, хоть и скупы в слове, но яркие и пронзительны по чувству, созвучны трагизму междоусобной брани, и природа в романе не верховный герой, а лишь среда, усиливающая ощущение русской трагедии, в романе верховодит история казачьего мира. Но уже в повествовании «Осенний светлый день» сибирская природа, населенная мудро созерцательными и мечтательными, но и азартными рыбаками и охотниками, становится главным героем. Посреди фартовой промысловой тайги, замершей в голубоватых суметах, на утиных болотах, оживающих в сероватом и призрачном, предутреннем свете, или озаренных закатным заревом, на рукотворном Братском море разворачиваются действия и характеры таежников и рыбаков, испытываются души на ясность и крепость любви к ближнему, ко всему сущему на земле. Повествование «Осенний светлый день» созвучно пришвинским природным сказам, рассказы — традиционная сибирская школа, и если в этих произведениях автор любит сверкающую в полуденном зное озерной рябью, малиновыми закатами, призрачно-голубыми лунными ночами, и на фоне таежной и озерной красоты живописует охотничий и рыбачий азарт, дивится матерыми сибирскими характерами, то уже в повествовании «Выбор цветных снов» природа и человек с тревогой осмысляются лирическим героем (суть автором) в столкновении божественного и демонического, в противлении русского духа духу неруси и доморощенной нежити, вновь, как и после февральской и октябрьской смуты, жирующему на Руси. «Откуда-то из подворотен, закоулков и выгребных ям, словно их там накапливали как экскременты в нужниках, выскочили новые, неведомые никому политики, богатеи, работодатели, воры, бандиты и насильники. Жирно урча, захребетники, вместе с бывшими вождями, раздирали, разгрызали страну. Неправда и ложь были так непомерны, столь откровенно бесстыдны, как могла бы быть бесстыдной пляшущая на пьяном столе, заголившаяся до кишок богохулящая потаскуха. Неправда и ложь были так непомерно велики и непристойно грязны, что казалось, вот-вот разверзнется небо и огненные стрелы покарают нечестивцев».

Ранее свыкшийся с лирическим чистописанием природы, Альберт Гурулев в повествовании «Выбор цветных снов» сплетает живопись с вечевым плакатом, и удивительно — живописное, певучее повествование не рушит откровенный публицистизм, как не рушит природный русский мир даже и скорбный, даже и набатный колокольный звон.

В брежневские ...русско-советские!.. имперские времена мощным был индустриальный натиск на природу — имперская власть жаждала через индустрию добиться великих земных благ трудящимся, великого могущества державы, ее военной безопасности и кормовой самодостаточности в окружении враждебных и алчных держав, а коль индустрия и природа мирно не уживутся, то экологи и писатели-природолюбцы бились не на жизнь, а на смерть с имперской властью... вроде и за матушку-природу, а вроде и против индустриальной мощи державы, без коей об нее тут же вытрут ноги Америка с Европой. При либеральной же власти,

разворовавшей державу, чихавшей на страну и народ... не с высокой колокольни, но с ведьмовской лысой горы, экологические беды не убавились, но обрели свирепый разбойный облик, когда — не во благо же трудящихся, в поте лица своего добывающих некорыстный хлебушко! — за двадцать лет шайки «воруй-лес», набивая свои бездонные карманы, угробили российские леса, и уворованный народный лес уволочили за кордон. И если в советские времена писатели могли биться за Байкал, биться против поворота северных рек в Азию и могли чего-то у имперской власти и добиться, то ныне... глас писателя — глас вопиющего в пустыне, хоть башкой стучись, никто не отопрет кремлевские ворота, охраняемые мертвотушными роботами, утратившими человеческий облик.

В очерке о русском слове я писал и ныне повторю: «Зажили мы, братья и сестры, чудесными надеждами, а то и просвета в ночи не зрели даже и душевными очесами: под звериное рыканье кремлевского самозванца, пьяного самохвала полтора десятилетия демократы с большой дороги грабили Россию, уже, вроде, лежащую на смертном одре под святыми образами; русские отичи и дедичи с надсадой и кровавыми мозолями, горбом добывали сынам и внукам добро, потом, не жалеючи живота, обороняли родную землю, а тати придорожные да иноземцы-иноверцы, ухитившие российскую власть, грабили добро, волокли за «бугор» и для содомской утехи и потехи изгалялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. В ту злую пору и смешно, и грешно было бы стучаться в кремлевские ворота с народными бедами — поцелуй пробой да вали домой; это походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины писали челобитную германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: *мол, наше житье — вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужда; псаря твои денно и ночью батогамы бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом — то содом, всякий двор — то гомор, всякая улица — блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихоимцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Повеселила бы мужичья челобитная чужезерного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...»

Вот о чем и мается душа Алексея (суть, душа автора) из «Выбора цветных снов»... «Как же так случилось, что церкви набожного народа почти в единое время были порушены? Была Русь, были красавицы-церкви, которыми гордились, где определялся весь ход мирской жизни, где крестили и принимали в мир родившихся, где венчались будущие отцы-матери, где перед образами святых горели свечи во здравие живущих и поминовение ушедших. И с отчетливой ясностью высветилось: не могло это вселенское разрушение случиться само по себе, не мог народ разом так отшатнуться от самого себя, что полез на купола церквей сбивать кресты, сбрасывать со звонниц колокола, взрывать храмы, расстреливать пастырей, а в стенах уцелевших святынь устраивать то, что могло называться лишь верхом кощунства. Тут хоть что думай, а только оккупанты-иноверцы (*Как тут не вспомнить дьявольски-гениальную большевистскую нерусь, искусившую «свободою» несчастных и обезбоженных разночинцев, пролетариев, солдат и матросов, оседлавшую русскую революцию и российскую власть — А. Б.*), да обманутые ими отщепенцы способны разрушать святыни, глумливо, утверждая свое

господство, топтать религию чужого, попавшего им в кабалу народа. (...) Выросший законопослушным интернационалистом Алексей все чаще чувствовал, что волей-неволей подойдет к выводам, которые разломают его прежний мир, когда в черных и кровавых местах русской истории снова и снова натыкался на густоту чужих фамилий. И еще вопрос из самых последних годов: как же случилось и то, что в своем отечестве русский человек оказался ограбленным, униженным, на вторых ролях, а то и вовсе статистом?»

* * *

Природа ...*при роде* людском... — не убитая, не избитая жадной либо бездушной либо обесившейся толпой, — великое и тихое Творение Божие, и Алексей — герой повествования «Выбор цветных снов», обыватель хотя и невоцерковленный, но и не смирившийся со злом мира сего, чуя спасительное божественное начало в природе, входит в ее врата, словно в храм на исповедь и причастие, убегает от пестрого искусительного зла, чтобы, видя божественное благолепие природы, слыша истекающую с небес проповедь любви, осветлиться и укрепиться духом в неприятии зла. И здесь авторское слово невольно обретает молитвенный тон: Господь, слыша «многодневные молитвы страждущего, испытав его временем, открывает заветные врата. Алексею хотелось тишины, простой незамутненной жизни на природе, подальше от лжесути нынешней жизни, подальше, хоть на время, от желтых газет и мерзкого телеящика, в котором угнездились правозащитники воря, сладострастные смаковальщики чернухи, неутомимые певцы женских прокладок, одержимые пропагандисты средств от перхоти и дурного запаха изо рта. Мечталось о заповедном уголке уже не год и не два, но особенно в нынешнюю, особо трескучую и тяжелую зиму. И вот пришел час, врата открылись...»

Алексей один на один с природой, в зимовье на таежном и необжитом берегу Байкала. Воистину природа — Храм Божий, ибо посреди природы Алексею и является вначале во сне, потом въявь природный батюшка — исповедник и проповедник в мужичьей обличке, напоминающий святого крестьянского покровителя Николу Угодника. «Как-то сам собою вдруг прояснился, словно выплыл из плотного тумана на солнечный прогал, ночной сон... Стоит под низкорослой, разлапистой сосенкой совсем незнакомый, но странное дело, отчего-то по-домашнему родственник человек, смотрит спокойно, всепонимающе и всезнающе. Лопатина на нем стародавняя, в суете лет Алексеем подзабытая, но приятная, как воспоминания детства: шубейка самой что ни на есть простецкой выделки, высокие легкие ичиги, какие можно увидеть лишь в глухих таежных деревнях, да и то не в каждой и не часто, и в довершение — собачий треух, сшитый не шибко умелым мастером».

Природный батюшка перво-наперво напоминает Алексею, что он русский, и что русскость — не былая запись в метрике, но — вера православная и русские нравы, обычаи, обряды, древние и вечные. «— Ты чо, паря, не русский? — вдруг спросил гость. (...) — Ты уж сколь в избе находишься, а шапку так и не снял. Хорошо это? По-русски?» А батюшка в поучении опять вопрошает Алексея: «— А что ж ты за стол сел и лба не перекрестил? Аль не веруешь?» «Росший в примитивном атеизме — Бога нет и вся недолга, — он вырос, как теперь стал понимать, примитивным атеистом. И это его прежде нимало не томило и не тревожило. Был он прогрессивным и передовым. А бабка, что каждый вечер и утро шелестела в

углу словами молитвы, так это она от темноты и безграмотности. — Хочу уверовать, — сказал Алексей. (...) Кабы знать... Куда душа летает в мягкие минуты сна, куда стремится, с кем общается? Отчего, пока тело спит, душа плачет, страдает и радуется? И почему, удивительное дело, чувства эти бывают прозрачно чисты и первозданны?»

От мира сего обыватель может утаиться в своем душевном христоролюбивом мире, но житьем-бытьем останется в мире сем, лишь изредка укрываясь в храме или убегая в неистраченную природу. И не только избранный человек, но даже и лошадь, издревлий и верный друг человека, бежит в вольные степи из мира, где царит зло. «— На человека, стало быть, уже не надеются и спасаются сами по себе. Одичание и запустение. (...) Верующий бы сказал: «Судный день близится». И вот уже сбивается косяк диких коней под водительством сторожкого и умного жоака, прозванного Сивым...

Писатель, ведающий любовно и доподлинно крестьянско-казачий мир, мир забайкальских скотоводов и скотогонов, о чем читатель убедился, прочтя казачий роман «Росстань», и в повествовании «Выбор цветных снов» верно и красиво запечатлел явление в подлунный мир белого жеребенка. «На крошечной поляне, среди утайливой глухой чащи пришел в этот мир жеребенок, (...) мать обнюхала его, и мягкий ветер впервые высушил его шкурку. А когда взошла над хребтами громадная белая луна (...), высветила и пропитала своим светом весь видимый мир, жеребенок, должно быть, показался лунным. (...) Белый конь, белый конь... Радость жизни. И подумалось Алексею: а может быть, и мой, вернее, предназначенный мне потоком правильной жизни конь, когда-то, в дни моей молодости, неухоженным и испуганным получужим миром. Так мы и не встретились с моим конем, как и другие кони не встретились со своими друзьями-хозяевами из сонма моих родственников, живущих, живших и не родившихся, но которые обязательно должны были родиться, не подпортись, не дай сбой порядок жизни. (...) Грезился Алексею любимый конь, статный и стремительный, в котором играет горячая кровь. А в душе воля вольная. Встречный ветер косматит гриву коня, треплет твои волосы, заставляет шурить глаза. А степь наполнена запахами трав, конского пота и радостью бесконечной жизни. Виделось: из-за строгой каменистой сопки восходит большое солнце. А за сопкой — знаешь — голубая извилистая река в отцветающей черемухе. А на берегу — просторный бревенчатый дом, где тебя ждут.

Где все это? Почто не уберегли? Почто дали развестись по миру родовым общинам, почто потеряли землю и волю?»

Но и там среди необжитой природы бессердечный мир настигает и человека, ищущего покой мятежной душе, и диких коней. «— Неужто на них охотятся? — Алексей отвел бинокль от глаз и почувствовал, как неуютно тронуло его душу. — Это ведь кони. — Был конь, а теперь добыча...» Повествование обретает трагический тон Апокалипсиса...

* * *

Случались времена потяжелей, но не было подлей, и Алексей убежал на край зимнего Байкала, чтобы хоть с месяц не видеть нынешнюю российскую жизнь, где воцарилось глумливое бесстыдство, чтобы от природы услышать подсказку, как же дальше-то жить с этим миром, где земля в тумане, народ в обмане. Но, увы, увы, мир, жестокий и продажный, и в глухомани Алексея настиг, и сюда нагряну-

ли тати придорожные — самозванные хозяева России. «Эту новую породу людей Алексей уже знал: если от человека не исходит угрозы, если от него нечего взять, то его для них как бы не существует. Так себе, мошка-однодневка. Явилась миру новая популяция: крупные парни с кабаньими торсами и цепким безжалостным взглядом». Хотя и эта биороботная популяция — мошка-однодневка, хозяйские холуи с околеземной нижней ступеньки, словно в масонской ложе, где иерархические степени, пестря «в черных и кровавых местах русской истории чужими фамилиями» и дьявольскими знаками, выстраиваются все выше и выше к вершине, все ближе и ближе к престолу падшего ангела — князя тьмы. Алексей лицом к лицу сталкивается лишь с хозяйскими холопами, глядя на которых и поминая нынешнюю русскую судьбу, невольно является в растревоженную память тюркская легенда о манкуртах. Древнее и вольное, искусное и доброе племя завоевывают дьявольски жестокие варвары. Стариков и старух вырезают, а молодых угоняют в рабство. Рабы за чечевичную похлебку и срамную случку пасут хозяйский скот, а чтобы рабы превратились в послушных манкуртов, на их обритые головы напяливают сырые бычьи пузыри — прообраз властвующей ныне «популярной культуры». Согласно легенде, бычьи пузыри, ссыхаясь на палящем степном солнце, так стягивают голову, что волосы растут внутрь, и человек теряет родовую память, забывает веру дедичей и отичей, свои обычаи, обряды, свои песни, свои родной язык, родную природу, а потом и мать с отцом. Чудом выжив, мать находит бедолажного сына, угнанного в рабство, обращенного в манкурта, и говорит ему: «Сын мой...» И перед глазами манкурта на малое время призрачно оживают родное селение, лица родичей, окрестные леса и луга, слышится шум реки и родная речь... Но тут надсмотрщик велит: «Убей ее!», и видение гаснет, и манкурт убивает свою мать...

Вот с эдакими манкуртами и сталкивается Алексей на северном байкальском берегу. Глянув на робеющего Алексея пустым и холодным взглядом — мошка-однодневка, манкурты ладят зловеший отстрел вольных прибайкальских коней. «— Слыхал, поди, что Сивый никого к себе и близко с ружьем не подпустит. Умный, ученый коняга. — Э-э, — безнадежно махнул мужик рукой. — Это он не подпустит тех, кто по старинке с дробовиком на охоту бегают. А если у тебя снайперская винтовка, как вон у тех, которых ты моими хозяевами назвал... Тут и скрадывать не надо. Хоть за километр, хоть за два любого на землю положишь».

Алексей, мужик тихий, мечтательный и созерцательный, сталкивается лицом к лицу с врагом, и, благословленный проповедником в мужичьей обличке, принимает вызов судьбы. Хотя разбери нынче, где свой, где чужой, где друг, а где враг, ежели нежить и нерусь, полонившая Русь, ныне хитра и не прет на русский рожон, раззявая черный рот; увы, нерусь русские песенки поет и может даже рвануть рубаху до пупа: мол, бей врагов, спасай Россию! Царствующая нежить притихла, смекнув, что русские, сплоченные перед дьявольской харей врага, в обманчивом безвражье с кольем и дубьем накинута друг на друга, не поделив блага мира сего. Русская гражданская война, увы, не завершилась в кровавые двадцатые, запечатленные Альбертом Гурулевым в романе «Росстань», да и завершится ли в сем веке. Страшны для России не враги — враги вняты, — страшны русское предательство и русское равнодушие к судьбе народной. Но о русском предательстве Алексей еще задумается, ныне же благодаря проповеднику в мужичьей обличке в душе его оживают и образ молитвенной бабушки, влекущей его, матерого атеиста, к вере православной, и образ русского ратника, разбужившего в нем, былом

безродном интернационалисте, исконную русскость, зовущего набатным звоном к спасению и обережению русского христоролюбивого, братолюбивого, природолюбивого духа.

* * *

Не случайно книга Альберта Гурулева названа «Русское Устье», не случайно и завершается сборник очерком «Русское Устье»: там, в Русском Устье, — «легендарном поселении на берегу Ледовитого океана (...) колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века неповреждённые с XVI века язык и обычаи» (*А. Солженицын*); там, в заснеженной тундре, промыслом Божиим четыре века сохранялся в чистоте островок издревлей и спасительной русскости, о которой, задумавшись, и толковал Алексею, герою «Выбора цветных снов», мужичок, словно калика переходжий, и выбредший из древлеправославного русского средневековья — из Русского Устья.

Писатель обращается к записям народоведа В.М. Зензинова, в начале прошлого века собранным в книгу «Старинные люди у холодного океана»: «Много ковенных данных подтверждают, по-видимому, предание в той его части, где говорится, что предки теперешних верхооянских мещан (*так в свое время именовались русскоустынцы*. — *А. Г.*) пришли из России северным морским путем, а не обычным путем через Якутск, как вообще все русское население Якутской области. На это указывают старинные особенности языка (XVI-XVII вв.) и многие сохранившиеся русские обычаи, давно исчезнувшие среди остального русского населения области, их песни и былины, а главное — их необыкновенная национальная устойчивость. На Индигирке русские живут столетия — живут, окруженные сплошным кольцом из якутов, юкагиров, ламутов, тунгусов, чукчей, — и, тем не менее, они сумели сохранить русский тип лица, русский язык, русские обычаи».

Писатель живо воображает: «Бежали по полуночному неласковому морю русские кочи, правили кормщики встречу утреннему солнцу, искали места, богатые белой полярной лисицей, морским зверем, рыбьим зубом. (...) В устьях большой реки остановились. Срубили из плавника избы, срубили церковь, подняли крест и стали жить».

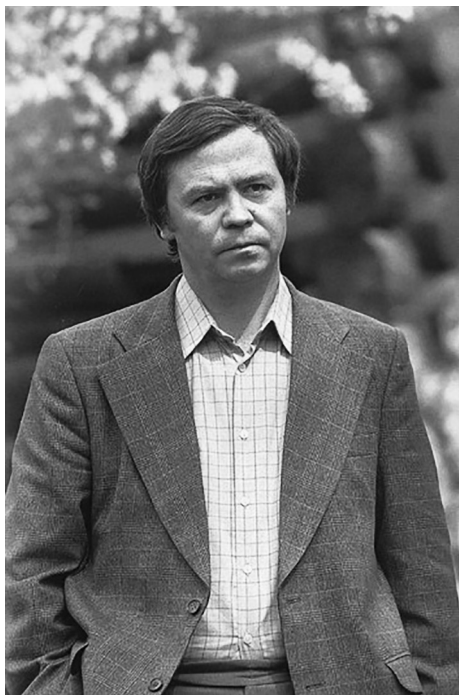
Альберт Гурулев, вдосталь погостивший в Русском Устье, услышавший вживе древнерусскую речь, описывает тамошнюю достопримечательность. «Есть за рекой стародавняя могила с каменной плитой. На плите вытесаны ангелы, православный крест и надпись: «Под сим камнем покоится...» Плита от дождя и снега прикрыта деревянным коробом. Стоит открыть плиту и потом не поставить короб на место — жди непогоды. Таково поверие». На братоубийственной заре прошлого века мы, русские, сорвали пелены с православной святости — кровавое ненастье обрушилось на землю русскую, — и порушили бы спасительную святость, а с ней русскость, возведя на престол, ежели и не Антихриста, то его слугу, но, слава Богу, спохватились на закате века. Писатель вершит очерк и книгу заветом: пусть обережным русским огоньком светит судьба наших православных братьев и сестер из Русского Устья, которые «сберегли ощущение кровного родства с предками, и которые говорят о себе так: «Все мы русские... Были и помрем русскими».

2009 год

ИРИНА ПРИЩЕПОВА

«Господи, поверь в нас...»

(Эссе по рассказу В.Г. Распутина «Что передать вороне?»)



В.Г. Распутин. Фото Бориса Дмитриева

Очень люблю я прозу Валентина Распутина, люблю ещё с юности. И моя душа полна радостью и гордостью оттого, что самые любимые мной произведения Валентина Григорьевича «Прощание с Матёрой» и «Живи и помни» написаны в моём посёлке. Радостно и потому, что в свои детские годы я нередко видела писателя здесь, на моей малой родине, в порту Байкал. Он жил у нас в течение семи лет, жил, как он сам говорил, летами, а не полными годами, и, уехав отсюда, вспоминал Байкал, свой домик у самого озера и продолжал писать о наших местах.

Много раз перечитывала я рассказ Валентина Распутина «Что передать вороне?», главным героем которого является сам писатель, и каждый раз открывала для себя что-то новое. Хочется поделиться впечатлениями и размышлениями от прочитанного. Думаю, что моё эссе кому-то будет интересно уже потому, что дей-

ствие рассказа в основном происходит в нашем посёлке, и мне есть что сказать читателю.

Сюжет рассказа очень прост. У писателя на байкальской даче хорошо пошла работа. И он, боясь растерять вдохновение, едет в Иркутск к семье всего на день, вернее, на часть дня, так как шесть часов ему надо провести в дороге. И, чтобы не передумать вернуться на дачу, он сразу берёт билет на вечерний автобус. Маленькая дочь очень соскучилась и просит его остаться. Но он всё же уезжает. В пути сразу же начинается невезение. Становится скверно на душе от дорожных неприятностей, но более того — от чувства вины перед дочерью. Добирается на дачу Валентин Распутин только ночью. А утром следующего дня не может взяться за перо. И, потеряв надежду, уходит на природу на весь день и понемногу возвращается в себя. Наутро позвонив домой, он узнаёт, что дочь второй день лежит с высокой температурой.

Кажется, всё просто. Но какая открывается в рассказе глубина переживаний и как много можно увидеть между строк!

С самого начала повествования понимаешь, что у автора рассказа были основания поступить так, как он поступил. Во-первых, писательская работа у него долго не ладилась, он как мог себя на неё настраивал, читал, размышлял, мучи-

тельно искал нужный голос и вот, наконец, работа пошла. В то время он работал над главной книгой своей жизни — «Прощание с Матёрой», и был близок к завершению повести. Автор знал, что «наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного...» Дела он имел в виду не всякие, «а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету». А книга «Прощание с Матёрой», повествующая о затопленных землях Ангары, в том числе и родной автору деревне Аталанке, была для него очень важна, а, значит, была делом, с которым «соглашается душа». Уничтожение деревень вместе с их историей, затопление богатой земли, страдания стариков, вынужденных покидать родные места, и другие важные проблемы, от которых сжимается сердце, затрагивает Валентин Григорьевич в повести. Конечно, он хочет быть услышанным и надеется, что книга не оставит читателя равнодушным. Он торопится начать работать над повестью, пока есть настрой, и потому рвётся назад, на байкальскую дачу. И, чтобы не дать себе пути к отступлению (а он ведь тоже очень соскучился по семье!), заезжает на автостанцию за билетом до Листвянки. И вроде бы всё идёт по намеченному плану. Но вот писатель пришёл (а точнее, забежал) в садик за ребёнком. Он видит, как обрадовалась ему дочь, как она «вся встрепенулась, обмерла», но сдерживает себя (в ней проявляется характер), чтобы не кинуться отцу на шею. Она спешно, часто взглядывая на отца, одевается, и они идут гулять на набережную Ангары. Стоит конец сентября, но погода по-летнему тёплая, умиротворяющая, «располагающая к согласию». Им хорошо вдвоём, дочь не вынимает своей руки из отцовской, что она себе позволяет очень редко, так как в свои пять лет считает себя самостоятельной. Отец видит и чувствует, как соскучилась дочь. От радости она «расщербеталась» и стала расспрашивать отца о вороне, которая жила в их дворе на дереве и которую они называли «нашей».

Вот как говорит Валентин Распутин в рассказе о их доме, дворе, ключике и вороне: «У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно поднимающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробежал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят».



Дача Валентина Распутина в порту Байкал весной. Фото автора.



Домик Валентина Распутина в порту Байкал золотой осенью. Фото автора.

Домик Распутина, одиноко стоящий между посёлком и станцией, мне очень хорошо знаком. За всю жизнь множество раз проходила я мимо дома, смотрела на него, на высокие деревья, растущие возле, смотрела на гору, под которой он стоит, сложенную в этом месте из продольных волнистых холмиков, спускающихся с вершины к Байкалу. Внизу холмики обрываются: это последствия взрывов при строительстве Кругобайкальской железной дороги. И на месте дома когда-то тоже была гора. Взрывы расчистили здесь площадку, куда вошли и две колеи дороги, и дом, впоследствии ставший дачей Распутина. Лес начинается ближе к вершине, и

только по ложбинкам деревья спускаются ближе к дороге, ниже леса гора заросла папоротником, багульником, кизильником и таволгой, а в самом низу, у скалисто-го обрыва, колосятся злаковые травы. Весной вся гора зеленеет молодой травой и распускающимися листочками, розовеет багульником, а осенью вспыхивает таким разноцветьем, что налюбоваться невозможно.

Сначала домик Распутина был одним из обычных домов посёлка, потом стал домом известного писателя, потом домом ушедшего писателя... И всё, что связано с домом, вроде бы ничего ранее не значащее, вдруг обрело смысл, стало важным. Даже то, у кого Валентин Григорьевич его купил. И даже вороны, которые тут летают. Не раз, наверное, видела я среди них ту самую, которую Распутины считали своей. Сейчас птиц на деревьях не вижу, хотя лиственницы хороши и удобны для гнезд. Но ворон у дома всё же нет. Зато они летают в лесочке наверху.

Ворона, живущая на дереве во дворе Распутиных, стала для их семьи особенной, благодаря ей реальный мир и мир сказки всё более сближались, а сказка так нужна людям, ведь она приглушает боль нелёгкого человеческого жития. Рассказы отца о том, что говорила ему ворона, где она была, что видела и слышала, очень нравились дочери, её глазёнки горели, и волнение ребёнка передавалось отцу.

Во время прогулки по берегу Ангары отец с увлечением рассказывал дочери придуманные истории о их вороне. Дочь в эти истории верила. И всё было хорошо. Но согласие двух родственных душ было недолгим. Отец торопился и сказал девочке, что пора домой. Она поняла, что счастливые минуты обрываются, и попросила: «Давай ещё погуляем». Отец чувствует, что это не просьба, а мольба, «высказанная сдержанно, с достоинством». «Тут бы мне и дрогнуть», — говорит автор рассказа. Но дочери он сказал, что остаться не может. Потом он будет удивляться самому себе, искать причины, почему не откликнулся на мольбу своего ребёнка и не остался. Много передумав, даёт он объяснение своего поступка тем, что испорчен и угнетён принятыми в жизни правилами.

Начинается разлад с дочерью и самим собой. Дочь, придя домой, забивается в свой уголок, где выказывает безразличие к отцу, отец собирается в дорогу, с участием поглядывая на дочь. Жена догадывается в чём дело и бросает спасательный круг: «Можно уехать ранним утром». Герой рассказа находит это разумным, но всё-таки едет на автостанцию, проявляет характер: ведь он так решил, дал себе слово, значит, не нужно менять решение. Уже в дороге, преследуемый неудачами, он осознает, что отказался от замечательного вечера в кругу семьи: «И какой бы хороший, тёплый получился вечер, который потом вспоминая да вспоминая во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью... Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням».

В дороге сразу начинается невезение, усиливающее разлад в душе. «Расхристанный» автобус с половиной двери пришёл с опозданием и долго стоял на автостанции. Снова у писателя появилась мысль уйти, но он остался. Автобус, наконец, поехал, но уехал недалеко, шофёр его остановил и пошёл выпрашивать на дороге бензин, чтобы дотянуть до заправки...

В 70-е годы на маршруте Иркутск–Листвянка было немало старых автобусов. И водители любили задерживаться в диспетчерской, а потом спешно проверяли билеты или просто пересчитывали пассажиров и мчались навстречу Байкалу. Иногда сломавшиеся автобусы заменяли снятые с других рейсов, а они были

ещё более «расхристанными», ведь байкальские автобусы перевозили не только местных жителей, но и туристов, и машины до Листвянки ставили поновее. Жители порта Байкал старались как можно реже ездить на последнем рейсе, так как ехать на нём было рискованно, он подходил почти к последнему рейсу теплохода «Бабушкин», осуществляющего паромную переправу Листвянка — порт Байкал. Если автобус надолго задерживался, то «Бабушкин» мог его не дожидаться, и уехать в порт больше было не на чем. Аварии, к сожалению, случались зачастую.



Байкальский тракт в 70-е годы. Фото Хельмута Мюнцнера.

Автор рассказа стал волноваться, и его волнение мне вполне понятно. Правда, на этом этапе сразу не задавшегося пути ещё не поздно было выйти из автобуса и вернуться домой. Но он едет дальше. И переживает, что едет, что не оставил место в автобусе, показавшееся ему удобным, и пишет, что в тот момент в нём говорило что-то «приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер». Но неужели характер проявляется лишь тогда, когда надо укрощать свои добрые чувства, да ещё к самым близким людям?.. В автобусе не было света, в сломанную дверь задувало, громко стреляло, когда водитель переключал скорости, но пассажиры (и он в их числе) ни на что не реагировали и мало чем отличались от наваленных сзади мешков картошки.

Байкал встретил героя рассказа грозным шумом и гулом. «Бабушкина» не было, а на его месте стоял катерок, который «подпрыгивал у стенки, словно силась заскочить наверх». Эта деталь говорит о том, насколько силён был шторм. Парни, команда катера, были сильно пьяны и принимали картошку из автобуса, заваливаясь вместе с мешками. А затем последовали 7 километров пути по бушующему морю с пьяной командой. Валентин Распутин сидел на мешке с картошкой, который ездил под ним, и с горечью думал о том, что жизнь даёт урок ему, а страдают из-за него и другие...

Итак, мы видим два контрастных мира: один до разлада, другой — после. В первом — спокойная Ангара, «умиротворяющая власть вечного движения воды», приветливый народ, тёплая осиянность вечера. Во втором — расхристанный автобус, незадачливый водитель, разъярённый Байкал, катеришка, пьяные парни и

риск не добраться живым до порта Байкал. К сожалению, много судов, катеров и лодок, вышедших в штормовое байкальское море, постигла печальная участь. Случались трагедии и с судами порта Байкал.



Шторм на Байкале. Художник Н.Е. Житков.

Но, к счастью, катер доплыл до родного берега. Домой писатель пришёл за полночь, совершенно уставший, и сразу лёг спать, обдумывая урок, данный ему дорожными неурядицами. Недовольство другими людьми не так мучительно, как недовольство собой. Борьба с собой, наверное, одна из самых тяжёлых. Бывает, удивляешься себе: неужели это был я, неужели я смог так поступить?..

Иногда Валентину Распутину с утра удавалось себя переламывать, и этому во многом способствовало утреннее чаепитие: «Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благодный дух, приготовленная заварка... И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил». Чай, да ещё на байкальской воде, обычно давал живительные силы, давал вдохновение. Но и он этим утром не помог.



Валентин Распутин набирает воду из Байкала. Фото В. Скифа.

Промаявшись долгое время, закрывает Валентин Распутин дом и идёт, как сам говорит, куда глаза глядят. А куда могли глядеть его глаза? Конечно же, в сторону убегающей вдаль Кругобайкалки, заповедной дороги, ведущей к чудесам байкальской природы. И он уходит за посёлок по его любимой, почти заброшенной железной дороге...

И я очень люблю Кругобайкалку, с раннего детства знакомую, исхоженную и изъезженную дорогу! Её пейзажи не могут примелькаться, надоест. Даже в одном месте из-за переменчивости моря и неба картины всё время разные. А тут почти 90 километров пути вдоль байкальского берега! И на каждом километре открываются чудесные уголки природы, на которые смотреть — не насмотреться! Кругобайкалка — дорога для настоящих романтиков. Если кто ей заболел — это надолго. На байкальские благословенные просторы можно смотреть вечно. И я на них смотрю всю свою жизнь и считаю счастьем жить рядом с Байкалом. Байкал — мой навеки благословенный край, мой суровый рай, моя судьба!

Удивительны, как и сам Байкал, крутые горы — мощнейший и красивейший оберег Байкала. На них в изобилии растут травы и цветы, которые весна и лето сплетает в пёстрый переменчивый ковёр. Кругобайкальские горы изобилуют и живописными разрушающимися скалами. Они громоздятся одна выше другой. И те скалистые престолы, что венчают горные вершины, днём тонут в синеве небес, ночью касаются звёзд, а утром первыми розовеют от нежных лучей солнца.



Верхняя часть горы на Кругобайкалке

Взрывы у подножия гор при строительстве Кругобайкальской дороги обнажили древнейшие горные породы. А на берегу и в воде, как воплощение вечности, застыли мшистые седые камни. Кажется, вся красота и история Земли отражены в природе Кругобайкалки.

И, конечно, очень приятно, что Валентин Григорьевич назвал мои родные места, лежащие вдоль дороги, звонкими и радостными, и сказал, что они «бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье». Его влекла эта дорога, интересовала. Он много на ней бывал, он много о ней читал. И с любовью написал очерк «Кругобайкалка» об истории дороги, о красотах и величии Байкала, о том, что природа и творение рук человеческих слились в единое прекрасное целое.



Участок Кругобайкалки за портом Байкал. Фото автора.

И на этот раз он идёт вдоль железной дороги за посёлок. Погода выдалась под стать его настроению и состоянию. Ветер дует «застревающий». День опускается всё ниже и плотнее сходится с краёв», за-мыкается, сжимается. Небеса словно захлопываются. Слева от писателя Байкал, справа горы. Вот он останавливается на косогоре и смотрит на сибирское море. Здесь пологий спуск, словно приглашающий спуститься к воде. Но он вы-

бирает трудный путь в крутую скалистую гору, словно торопливо вставшую во весь рост из страха перед Байкалом. Вот как он пишет о начале подъёма: «По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз».

Изучая описание местности, я долго пыталась понять, на какую гору взобрался писатель и куда пошёл потом. Но это оказалось установить непросто. Давала почитать описание нескольким односельчанам, и они увидели разные места вблизи посёлка: от полукилометра до двух. Я прошла ближние два километра и очень внимательно осмотрела горы и берег. Но везде что-то не сходилось. В одном месте есть белая земля и «каменная мелочь», недалеко от них «изломанная» поляна, которая в то время действительно была покосом, но нет «каменного крутяка» у основания горы и пологого спуска к берегу, в другом есть поляна, крутяк, спуск, но нет белой земли, в третьем есть белая земля, спуск, крутяк, но нет поляны... После долгих поисков я всё-таки подумала о местах более дальних. Ведь если бы писатель ходил так близко, пусть и перевалил через гору, не очень высокую, и вернулся обратно, он бы не устал так сильно. А в то время он, 39-летний мужчина, отличался неутомимостью в лесных походах за ягодами и хорошо знал многие байкальские горы. И если он пишет, что ходил до позднего вечера и еле держался на ногах, значит, он ушёл дальше.

Вспомнилось эссе Распутина «Байкал предо мною», в котором он тоже рассказывает о любимых осенних прогулках по Кругобайкалке в 70-е годы. Вот как поэтически он говорит об этом: «... Часто выпадает в октябре такая тишь и гладь да божья благодать, такая печально-счастливая истома овладевает и хлябью, и твердью, что ты готов обратиться хоть в камень, но быть, быть в её замирающем дыхании. Я любил всё ещё тёплыми и мягкими, подарочными вечерами, провозжая солнце,



Порт Байкал в октябре. Фото автора.

уходить по рельсам старой Кругобайкальской дороги далеко, туда, где нет ни одной человеческой души, подолгу сидеть на берегу, совершенно забывая себя, а потом подняться в гору да повыше, и там тоже замереть в блаженстве, ничего-ничего на свете больше не желая, кроме как надыхиваться и насматриваться хоть до бесконечности растилающейся внизу благодатью».

Раз Валентин Распутин, лёгкий на подъём человек, говорит «далеко», то это действительно далеко. Да и в километре-двух за посёлком часто гуляют люди, проезжают мотоциклисты и велосипедисты, ходят рыбаки. А чтобы не встретилось ни одной души, надо уйти подальше.

Слово «далеко» прозвучало и в рассказе «Что передать вороне?». Насколько далеко он ушёл в тот раз, когда увидел в водах Байкала древний город, о чём рассказал в эссе «Байкал предо мною», могу представить, тем более, что в тексте есть координаты: «Портал правого, дальнего тоннеля в сторожевом окружении деревьев был тёмный, а в левый, развёрнутый полукружьем зева к луне, маслянистый свет заглядывал недалеко и внутрь, показывая выкатывающийся из мрака рельсовый путь. Меня тянуло сюда, на скалистую гору между двумя тоннелями, таинственно украшавшими этот мыс, как входные и выходные ворота, дающие дорогу не только для поездов, но и для согласия между человеком и природой». Ближайшие от порта Байкал два тоннеля находятся на мысе на 82-м километре Кругобайкалки, то есть в 8 км от посёлка! И горы там очень крутые, в большинстве скалистые, с размахом открывающие Байкал во всей красе редким смельчакам, решающим на них забраться. И если Валентин Григорьевич говорит, что его тянуло на эту гору, то наверняка он бывал здесь не однажды. Если увидеть эту гору воочию, то станет ясно, что Валентин Распутин забирался на такие высоты, на какие даже снизу смотреть — голова закружится.



Мыс Бакланий. Фото Р. Шафигуллина.

Скорее всего, в рассказе «Что передать вороне?» речь идёт о более ближних к посёлку горах, так как на мысе Бакланьем, где находятся два первых тоннеля, нет и не было покосов. А немного ближе к посёлку в то время покосы были. Горы здесь очень крутые, высокие, живописно украшенные остатками древних скал, и мало на них высокой растительности, которая закрывала бы от взора Байкал. И можно было бы допустить, что Валентин Распутин был на этих горах, если бы в том месте были перевал и ручей, о которых он пишет в рассказе.

Так и не найдя ответа на вопрос, где же точно ходил писатель, я дала почитать описание пути местному жителю Ринату Шафигуллину, исходившему наши горы вдоль и поперёк, и он сказал мне, что Валентин Распутин поднялся по пади Марьяновка, а спустился по пади Зобушка, что находятся в трёх-четырёх километрах от порта Байкал. И в том, что он был именно там, Ринат нисколько не сомневается. Во-первых, в этом месте есть единственный перевал, есть и ручьи, есть и покосы, есть крутой подъём, там никого, кроме зверья, не встретишь, и с гор открываются чудесные виды Байкала.



Байкал с высоты. Фото Р. Шафигуллина.



Вид с горы на Байкал. Фото Р. Шафигуллина.

Когда я искала те места, что описываются в рассказе, то пади я не рассматривала, ведь они уводят от Байкала. Но после слов Рината подумала, что, скорее всего, так и было. Ведь, чем дальше писатель уходил от Байкала, тем выше он взбирался, и тем больше открывалось перед ним озеро-море.

Устав от нелёгкого подъёма, писатель останавливается отдохнуть и любуется Байкалом, а затем идёт дальше и попадает на узкую неровную поляну, с которой вывезено сено, и она видится ему изломанной, грустной, сиротливой и опустевшей. Он садится на камень и смотрит вниз, на любимый Байкал.

Вспоминаются строки из эссе «Байкал предо мною»: «Рядом с Байкалом нам есть куда расти, что воспитывать в себе и обласкивать. На то и чудо, на то и неизъяснимое великолепие сокровища, чтобы от него, как от незакатного солнца, получать тепло и радость, ощущать приток окрыляющего духа и детского чувственного возбуждения». И, конечно, «приток окрыляющего духа» ощущается, когда смотришь на открывшийся перед тобой Байкал. Валентину Распутину кажется, что небо кружится, опускается, на высоте его уже нет, оно всё стянулось к Байкалу и встало над ним. А затем и вода, «подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать». В этом космически огромном чане смешалось всё: глубина и высота, человек и природа, реальность и запределье. Небо и море закружили героя, и в этом вращении был большой смысл: байкальская природа помогала герою найти самого себя.

Дорогу к себе найти трудно. И природа, детьми которой мы являемся, помогает нам её отыскать. «Быть может, между человеком и Богом стоит природа. И пока не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не пустит», — говорил Валентин Григорьевич. Потерял себя — надо идти к родной природе, прислушаться к её голосам. Летом она раскрутит тебя водоворотами, зимой — снежными вихрями, а затем всё расставит по местам, и снова будешь жить в ладу с собой. Природа поможет и взрослому, и ребёнку. Будет Вожатым, как в «Капитанской дочке», и поставит на дорогу, с которой надо постараться впредь не сбиваться. Или поможет найти близкого человека. Так было в «Метели» Пушкина. Или предупредит об опасности, как об этом сказано в «Кладовой солнца» Пришвина. И тем более, поможет человеку Байкал — кладовая многих богатств: и солнца, и пресной воды, и редких красот, и удивительных чудес... Байкал прекрасен и несказанно богат, и Валентин Распутин называл его Господней мерой щедрот.

Герой, предавшись кружению, чувствует приятную освобождённую от мучившей его тяжести, он «точно приподнялся и расправился в себе». Он смотрит на воду и небо, и у него возникают вопросы, среди которых главный, наверное, вот этот: «Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?» И тут же говорит, что есть вопросы, на которые не только нельзя ответить, но и которые нельзя задавать. «Знай сверчок свой шесток...»

В этом благодатном месте герою становится «всё покойней». Он чувствует, что соединился «с единым для всего чувствилищем». И уже не видит ни земли, ни неба, а только приоткрывшуюся незримую дорогу, по которой проносятся голоса и по которой предстоит когда-то помчаться и ему. В голосах до приближения к герою слышится согласие, а после него почти ропот. Но по мере того, как ему становится легче, голоса затихают...

Домой он возвращается затемно, очень уставший. Пьёт живительную воду из

своего ключика, «окончательно возвращаясь в себя». И долго сидит во дворе на чурбане, «замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности» и слушает доносимые ключиком «обессловленные голоса» умерших друзей, пытающихся что-то ему сказать...

А ночью он пробудился от стука дождя по крыше, и услышал, как громко и требовательно каркает ворона. От крика вороны он проснулся и утром и, предчувствуя, что дома что-то случилось, идёт в диспетчерскую порта. А позвонив домой, узнаёт, что дочь со вчерашнего вечера лежит с высокой температурой. Ещё слабый организм пятилетней дочери, которая уже вырабатывает характер, учится сдерживать свои чувства, но не может побороть целую бурю чувств, от большой радости до горя, и не выдерживает — начинается болезнь.

Рассказ «Что передать вороне?» — урок не только для писателя, но и для читателя. И прежде всего для читателя: ведь писатель извлёк его для себя давно, а нам легче учиться на ошибках других.

Урок, полученный дорогой ценой, пошёл автору на пользу, о чём говорит тот факт, что вскоре Валентин Распутин закончил повесть «Прощание с Матёрой». И только через пять лет появится рассказ «Что передать вороне?», значит, этот случай Валентин Григорьевич забыть не мог.

В рассказе дана история, встречающаяся часто и повсеместно. Многие люди не обращают на такие вещи внимания: подумаешь, уехал, так мне же надо было, а ребёнок подождёт, пока я закончу дела, ему не привыкать! И в наше быстрое время дети почти не видят родителей, не общаются с ними, всё дальше они друг от друга, всё слабее семейные узы. Всё меньше интересуются люди своими корнями. Забывают и ушедших в иной мир друзей. А ведь и предки, и ушедшие друзья рядом с нами, их голоса сливаются с природой, и надо учиться их слышать. Мы загоняем себя в рамки, учимся жить по плану, быть серьёзными и деловыми, и всё дальше отходим от «общего чувствилища». А потеря чувствительности души ведёт к вырождению человека, да и всего человечества.

Валентин Григорьевич просит: «Господи, поверь в нас: мы одиноки». И одинок человек, наверное, не тогда, когда находится один (иногда одиночество необходимо, особенно писателю), а когда в его душе нет согласия с самим собой, с семьёй, с миром, с Богом. Мы одиноки среди множества людей. Мы захлопнули свои души для других, даже для самых близких. Мы разучились слышать и понимать друг друга. В эссе «Байкал предо мною» Распутин выразил сожаление, что мы «потеряли естественный, родной нам мир и вступили в иной мир, выталкивающий человека ещё дальше, в полукосмическую виртуальность». Человек переделывает Землю, опустошает природу, и, как следствие, опустошает свою душу. Понимая трагизм происходящего, Распутин писал: «...Я ищущу необитаемый остров, где можно было бы от него, от этого деланного и безобразного мира, спастись. Где-то на Байкале такой остров должен быть...»

Байкал для Валентина Григорьевича много значил. Писатель говорил, что Байкал существует не сам по себе, а «многими чувствительными капиллярами связан он со всем огромным миром, видимым и невидимым...» И мы, люди, тоже десятки тысячелетий связаны «чувствительными капиллярами» со своей родной землёй, вскормившей нас. И дороже родины у нас ничего нет. Только эти кровные связи с родиной мы всё больше утрачиваем...

Хочется надеяться, что задумаемся. Обратимся к мудрым книгам. Откроем души для людей, для природы. И тогда никто не будет посягать на Байкал в по-

исках прибыли. И славное озеро-море, за которое боролся Валентин Григорьевич, будет жить и радовать нас девственной природой, первозданной чистотой, которую оно хранит десятки миллионов лет. А людские души будут становиться полнее и чище от общения с Байкалом — любимым сокровищем нашей Матери-природы.



Свет Байкала. Фото автора.



ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

Ещё раз о патриотизме

БЕСЕДА С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
АНАТОЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ГРЕШНЕВИКОВЫМ

— Валерий Николаевич, когда мы с тобой были народными депутатами РСФСР, находясь в одной фракции «Россия», и защищали страну от разрушительных и грабительских реформ Ельцина-Гайдара-Чубайса, то нас называли краснокоричневыми, антисемитами и фашистами. Слово патриот было ругательным. Тот наш парламент расстреляли из танков. Сегодня быть патриотом наоборот — модно и престижно. А ты можешь отличить патриота от непатриота? Какой смысл ты вкладываешь в понятие патриотизм? Тогда почему в период военного противостояния России и Запада, России и США, молодые ребята, и их не много не мало — 700 тысяч, любящие, как они говорят, свою страну, сбежали за границу — в Казахстан, Киргизию, Грузию? Многие эксперты считают, что это не трусость, не страх перед смертью, а нечто более опасное — нежелание защищать Россию, решившую отказаться от колониальной западной зависимости в области экономики и культуры, от идеологии общества потребления, и вставшую на путь защиты традиционных ценностей. Чем ты объясняешь столь громадную и опасную статистику предательских поступков?

Это их выбор, и жалеть таких не стоит. Даже называть их молодыми ребятами не поворачивается язык. Они, даже живя в России, не связывали свою судьбу с судьбой Отечества. Бог им судья! Убежали туда, где, как им кажется, безопаснее: Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Израиль. Поживем, увидим, что с ними будет дальше? Достаточно заглянуть в недавнее прошлое и посмотреть, а где же те, кто не сходил с экранов телевизоров в девяностые, «святые» годы, кто вещал, как тогда шутили, из любого включенного чайника: Бурбулисы, Немцовы, Шахраи, Шейнисы, Красавченки, Носовцы, Ковалёвы, Варовы и еже с ними. Откуда они взялись и куда подевались? Следует напомнить, что и они были не засланные «казачки», а родились и жили рядом с нами, ходили в те же школы, и у нас с ними были одни и те же учителя. Позже я не раз задавал себе вопрос, как произошло, как Дмитрий Волкогонов, ставший главным замполитом Советской армии, стал одним из разрушителей армии и Советского государства, откуда, из какого угла выползли директор ФСБ России Бакатин, министр иностранных дел Козырев. Даже у нас среди иркутских депутатов, точно по команде, из кремлевского зала во время восьмого съезда народных депутатов, за Ельциным по-собачьи выбежали бывший начальник Братскгэсстроя Анатолий Закопырин, журналист «Комсомольской правды» Игорь Ширококов, водитель или, как его называли, депутат из

рабочих Геннадий Алексеев, и даже сорвался человек от сохи — представитель Усть-Ордынского Бурятского автономного округа — директор совхоза «Баяндаевский» Павел Имедоев. До сих пор жалею, что председательствующий на съезде Руслан Хасбулатов не поставил на голосование о лишении бегунов депутатских полномочий. Бес попутал? — позже скажет он. Сколько же таких бесов бегало за Ельциным? Уж кто-кто, но именно Руслан Имранович, или, как его за глаза называли, «юродствующий хам», после избрания его Председателем Верховного Совета на съезде с редкостным умением и рвением начал расчищать дорогу к единоличной власти бывшего Свердловского обкомовского секретаря. Голосами этих людей, их стараниями, Ельцин стал для страны управляемой гирей, при помощи которой были разрушены скрепы государства. Прозрение пришло позже, когда страну начали заливать и заваливать дешевым зарубежным «Роялем», который производился в Гамбурге, и собачьей тушенкой, называя всё это гуманитарной помощью. Раньше мы поставляли продовольствие слабым развивающимся странам Латинской Америки и Африки, теперь Германия присылала своим бывшим победителям залежалую тушенку и технический спирт, от которого смертность в России за один год возросла более чем в шесть раз. Пейте и закусывайте, славяне! По всей стране начали останавливаться заводы и фабрики, а из страны начали самолётами вывозить до этого неприкосновенный золотой запас. На самом высоком уровне, всерьез заговорили, что Японии надо отдать Курилы и заключить с нею «мирный» договор. Именно тогда начали предавать всех наших союзников и друзей по всему миру. Это стало сигналом для сепаратистов и националистов. Именно тогда подняли голову бандеровцы на Украине и националисты в Прибалтике. Дело-то было сделано! И чего сегодня бросать камни в Ельцина, его подняли на своём горбу нашими руками. После короткой отсидки в следственном изоляторе «Лефортово» Руслан Имранович Хасбулатов наконец-то прозрел и в своих записках начал стыдливо признавать свои заблуждения. Что ж, камерная тишина иногда помогает приходиться к здравым рассуждениям. Это позже и рядовые избиратели, стыдливо пряча глаза, как защитную мантру, начнут оправдываясь восклицать: «А мы за Ельцина не голосовали!» Голосовали, чего уж там! Почему я возвращаюсь в те ныне далёкие девяностые годы. Не только потому, что был не только свидетелем, но и участником тех событий. Сегодня ответы на многие вопросы надо искать там и понимать, что произошло с нашими, как мы иногда говорим, украинскими братьями. И с каким коварным врагом мы, ослабленные и неподготовленные, схлестнулись в ожесточенной схватке. Признаюсь, 90-е годы, то время было ощущением падающей стены...

Став депутатом Верховного Совета и очутившись в Москве, я начал присматриваться к своим коллегам-депутатам, и с некоторым удивлением отметил эйфорию тех, кто ещё вчера стоял за станками, сидел за штурвалами самолётов, им тогда казалось, что наконец-то исполнилось то, о чём они и мечтать не смели, не понимая и не ощущая, что они всего лишь живые человечики, которым отведена определенная роль выстроить управляемую, подчиненную заокеанским хозяевам власть в России. Как иногда говорят: — Не хочешь — заставим, не умеешь — научим или купим. После первой же сессии, во время летних каникул, группа либерально настроенных депутатов была приглашена в Соединенные Штаты, где с ними была проведена определенная работа и проведены встречи, в том числе даже с бывшим президентом Джимми Картером. Такие контакты продолжались и в Москве, когда того же Илью Константинова и Михаила Астафьева пригла-

шали на беседы в американское посольство, поскольку со временем они вошли в оппозиционный Ельцину Фронт Национального спасения России. Это позже, после расстрела Белого дома по призыву творческой интеллигенции «Раздави гадину» была открыта охота на ведьм с указанием конкретных миллионов за поимку наиболее известных оппозиционных лидеров. Когда того же Илью Константинова схватили на улице и затащили в машину, полицейский начал не стесняясь задержанного прикидывать, что он купит на объявленную награду за поимку государственного преступника:

— Возьму холодильник, телевизор и видак, — загибая пальцы начал перечислять он.

В этом мире всё имеют свою цену, американцы, приглашая либерального Илью Константинова и его товарищей поглядеть Америку, выдали приличные чашечки, что ж, когда к ногам упала такая страна, пачка долларов это ж мелочевка. Вон сегодня на Украину банкноты, как и бомбы, завозят грузовыми самолетами. Деньги всего-то лишь отпечатанная бумага! Дают, когда нужно твое согласие, и дадут и другим, чтобы заткнуть рот.

Сегодня первыми уехали те, для которых Россия не Отечество, а место, где можно было заработать, а потом уехать в ту же Америку или Израиль.

Туда ещё с начала восьмидесятых годов шел основной поток бывших наших соотечественников. Почему-то на ум приходит шутливая песня Владимира Высоцкого:

*Мишка — врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их,
Там гинекологов одних —
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути —
Потому что слишком много просят.
А где на всех зубов найти?
Значит — безработица!*

*Мишка мой кричит: «К чертям!
Виза — или ванная!
Едем, Коля, — море там
Израилеванное!..»*

Говорят какое время, такие и песни. Например, бывшему детдомовцу, ставшему замечательным русским поэтом, Николаю Рубцову виделось другое.

*Я весь в мазуте, весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!
Печально пела радиоло,
Звала к любви, в закат, в уют...
На камни пламенного мола
Матросы вышли из кают.
Они с родными целовались.
Вздудвал рубахи мокрый норд.
Суда гудели, надрывались,
Матросов требуя на борт.
И вот опять — святое дело!
Опять аврал, горяч и груб,
И шкерцик встал у рыбодола,*

*И встал матрос-головоруб...
Мы всю треску сдадим народу,
Мы план сумеем перекрыть.
Мы терпим подлюю погоду,
Мы продолжаем плыть и плыть.
Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных вечно — море,
А для уставших — свой причал...*

Действительно в те застойные годы страна и люди начали уставать. От очередей в магазинах, от вранья тогдашней власти. Вообще людям всегда нужны перемена мест, смена впечатлений. А тут, куда ни глянешь, везде и всюду одно и то же. С экранов, шмакая дряблыми губами, то и дело вещали усохшие старики. Даже молодые партийные и комсомольские работники уже и сами не верили в то, что им предлагали говорить и делать. Накопилась критическая масса перерожденцев, которые с охотой рванули бы на запад, в другую, как им казалось, райскую жизнь. Но и эта прослойка была неоднородной, у большинства побудительным мотивом стало вполне естественное стремление жить лучше, ходить в джинсах, майках, пуховиках и кофточках, жевать заморскую жвачку, которая освежает дыхание, не стоять в магазинах за продуктами и водкой, смотреть ту видеопродукцию, которую до поры до времени прятали и прикрывали фиговым листком, ограничениями для детей и людей с расстроенной психикой, которые впрочем никто и не собирался соблюдать. Исползволь подводили к мысли, всё что ни делалось за последние семьдесят лет на фоне сытой жизни в «свободном мире» плохо, мерзко, и от этого надо побыстрее освобождаться, считая, что крутить гайки и возиться в тракторной смазке дело тех, кто большего и не достоин. Я вспоминаю, что одним из любимых занятий моих коллег — лётчиков гражданской авиации было сравнение зарплат командира корабля американского «Боинга» с тем, что получаем мы. Цифры были явно не в нашу пользу. Все другие льготы, которые предоставляло государство, бесплатную форменную спецодежду, бесплатные санаторные путевки, бесплатный перелёт, почти бесплатные ясли и детские сады, бесплатное образование, бесплатное занятие спортом, копеечный проезд в общественном транспорте не брался в расчёт. Всё закрывала итоговая сумма наших американских и европейских коллег. Родителей почти не волновало, куда ходят и что смотрят их дети. А следовало бы! Там и сям стали появляться полуподпольные видеоцентры, где за плату можно было смотреть то, от чего у понимающих людей волосы вставали дыбом, по всей стране срабатывал горбачёвский посыл: всё разрешено, что не запрещено! Зарубежной, в основном американской кинопродукции была открыта зелёная улица. Возразить или противопоставить иную точку зрения, защитить свой дом, своих детей от хлынувшего потока низкопробной информации стало невозможно, тем более телевизор и «видак» становился повседневной реальностью в каждом доме, а формированием и подачей телевизионных программ занимались те, кто ненавидел всё русское или советское. Совок — стало самым ходовым словом, чтобы отвратить от всего, на чем держалось сознание людей. Это потом диссидент Александр Зиновьев скажет, что стреляли в коммунизм, а попали в Россию. Быть патриотом по словам тех же англичан — это последнее прибежище негодяев. Негодяи, в понимании обывателя, это, конечно же, партийные боссы, имеющие продуктовые пайки и наборы, хорошую зарплату, которую они всё время для себя поднимают, ездят на черных «Волгах», содержат молодых любовниц и

так далее. Надо жить здесь и сейчас, а лучше всего в Испании или Англии. Ну, на худой конец в Израиле. Но до поры до времени они были расчётливы и трусливы, им нужен был тот, который грохнет по столу кулаком и всё перевернет к чёртовой матери. Как это ни странно звучит, такого нашел Лигачёв в Свердловском обкоме партии, амбициозного, расчётливого, но, как и все партийные боссы, трусливого, вспомнить хотя бы случай, когда по приказу министра обороны Язова в 1991 году в Москву начали входить танки, пьяный Ельцин собирался уже рвануть в американское посольство. Так вот, такого расчётливого и управляемого нашли. Который был способен не только стакан опрокинуть, но под хмельком опрокинуть всё, что попадет под руку. Кстати, уже подмечено; трусливые, чаще всего, когда им угрожает опасность, бывают самыми жестокими людьми. Те же, кто поставил на Ельцина, мыслили шире, они подключили информационный ресурс и начали рисовать человека обиженного, болеющего и страдающего за народ. Пишущая и снимающая и, надо сказать, не без таланта, журналистская братия, типа Миши Полторанина, облепила его, как породистого пса, и стала сопровождать во всех передвижениях и поездках. Как он только, подняв ногу, не обмочил их по дороге? И случилось неожиданное, под патриотические возгласы и народные шествия всенародно любимый опрокинул не только словоохотливого, похожего на дворнягу Генсека, но и стоящую за ним трухлявую систему, из которой, собственно, и выросли они вместе. Зачем искать палача на стороне, он всегда найдется рядом.

Вообще отличать и определять, кто патриот, а кто негодяй — занятие пустое. Патриотизм не панацея от тех бед и проблем, которые есть в России. Чаще всего за этим словом удобно прятаться хамелеону, сегодня он патриот, а завтра, как бабочка капустница, объев свежую зелень, перелетит на другое дерево, и сделает это с открытым ртом, что даже не успеешь глазом моргнуть. Такое уже бывало. Был тушинский вор, была Марина Мнишек, потом выныривали помельче: Власов, Пеньковский, тот же Бакатин. И всё же, за всю тысячелетнюю историю государства российского, не было человека, который бы, стоя на трибуне американского конгресса, капитулировал перед ненавистниками русского народа, не поперхнувшись брякнув на весь мир: Господи! Благослови Америку! Вот так в слепом царстве — оказался пьяный поводырь.

Патриотизм это прежде всего совесть. Это когда думаешь не только о себе, но и о тех, кто рядом, с кем придется жить дальше и не думать, ты бы мог сделать, но не сделал. Лично мне больше нравится слово — сын Отечества.

— Для Белова и Распутина важную роль в творчестве сыграла глубокая философская идеология писателя-славянофила Достоевского, которую они последовательно исповедовали: «По-моему, порядок в земле и из земли, и это везде, во всем человечестве, — писал Федор Михайлович. — Весь порядок в каждой стране — политический, гражданский, всякий — всегда связан с почвой и характером землевладения в стране». Так как тебе повезло и дружить, и общаться с Беловым и Распутиным, скажи, что они считали главным и ценностным в обустройстве России в соответствии с русским социальным идеалом, какую загадку русской души несли герои их книг?!

Федор Михайлович Достоевский в своей юбилейной речи, посвященной Александру Сергеевичу Пушкину, сделал попытку не только обозначить проблему между западниками и славянофилами, возникшую в России, но и попытаться, прикрывшись авторитетом Пушкина, найти точки, которые по его мнению могли

примирить или хотя бы снизить градус полемики и разглядеть возможность мирного сосуществования двух течений в политической жизни России. Достоевский писал:

«Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количественно же миллионы нас не испугают. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как le Pravoslavii и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой».

Опыт отъезда за бугор наших соотечественников начался не вчера. Кто хотел, тот уезжал или убегал ранее, как это сделал соратник Ивана Грозного князь Андрей Курбский, а позже воевал в составе польских отрядов против русских, затем Александр Герцен, автор «Колокола», который, по мнению Ленина, разбудил Россию. Тот, отъехав в Туманный Альбион, начал исходить слюной во время Крымской войны, не только обвиняя собственное Отечество, но фактически став на сторону его врагов. А что, сейчас таких стало меньше? Анна Ахматова сразу же после исхода Белой армии из Крыма написала такие строки:

*Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля...*

Бегунам всегда казалось: на Западе они будут приняты, обласканы (свои же) и, конечно же, будут равными, поскольку они не чета вымаливающим копейки марокканцам, афганцам, ливийцам, они приехали не с пустыми руками, у многих в России было своё дело и даже наёмные работники. Но оказалось, что нужны-то они были в России, когда бегали за «навальными» и еже с ним по Болотным и другим площадям. А в Америках, как в песне: Деньги есть — Уфа гуляем, денег нет — Чишма сидим! Нет денег, так даже в самом распрекрасном, почти русском Брайтон Бич, вставайте в очередь мыть посуду. Деньги есть — Нью-Йорк гуляем, денег нет — в трубу летим!

«Для чего слеп плачет, что зги не видать, — усмехаясь говорил про таких Василий Иванович Белов и дополнял: — пролитое полно не живет».

— Валерий Николаевич, врагов мы знаем в лицо. А кто нынче наши союзники?

Александр III говорил, что у России есть два союзника: её армия и флот. Я бы добавил, ещё есть русский учитель и русский язык. Русский язык, русская история стали той объединяющей силой, которая сделала Россию великой. И сделал это русский учитель.

Как пишет учитель истории, писатель Наталья Георгиевна Петрова. «После конституционного безумия 90-х началась реформа образования. Сегодня она закончена, потому что достигла своих целей: наше образование скопировало чужое или чуждое, и у нас сейчас ровно та ситуация, которая была 100 лет назад,

когда внедрили популярный в начале XX века американский метод проектов и тестирование вместо устных экзаменов. В 20-е годы в Советской России тоже отвергли традиции русской школы, вместе с предметами, учебниками, уроками, экзаменами, отметками и учителями — их заменили «шкрабы», школьные работники. Кстати, такой предмет, как история, тоже отменили. И что же? — Прошло десять лет, началась индустриализация, потребовались специалисты, а не люди, осведомленные о чем-то в общих чертах. И тогда все вернули в прежнее русло: и предметы, и уроки, и учебники, и историю, и даже учителей с отметками и экзаменами. И это были те же учителя, которые до 1917 года преподавали в гимназиях и училищах. Правда, в новых программах отменили латынь и греческий, логику, Закон Божий, два иностранных языка — а остальное сохранили. Вместо нововведений, взятых из опыта американской школы для фермеров, вернулись к своей национальной школе, у которой есть проверенные опытом традиции. И выпускники этих советских школ выиграли войну.

Только в нынешней России учитель ныне не воспитатель, для родителей и детей, как это бывало ранее, не истина в последней инстанции, и фигура, зависимая от всех и вся, он призванный оказывать услуги наёмный работник, который не любит свою работу, у наемного — любви к хозяевам нет и быть не может. Тот, кто провел школьную реформу в современной России, знал истинное предназначение русского учителя.

От рождения и до своей кончины мы живем в системе исторических, географических, временных, психологических, экономических, социальных координат. Ещё в лётном училище нас учили, для того чтобы правильно ориентироваться, чтобы попасть в нужное время, и в нужное место, необходимы карты, у нас в авиации такими стали полётные карты. Сидишь за штурвалом и, сличая карту с местностью, отмечаешь, где находится самолет в данную минуту. То же самое происходит и в жизни. Сравнивая прочитанный текст рассказа или повести с реальной жизнью, ты отмечаешь про себя, все ли так происходило или бывало в твоей жизни. Не знали мы только одного. Этот эффект сличения, смещения так называемой правды с истиной уже давно используют специалисты по информационным войнам. Для того, чтобы заманить людей так называемой напечатанной «правдой», воздействовать на психику человека, была придумана система так называемых ложных маяков. Задача была одна — заманить, исказить, увести от истинного, заданного курса, сделать человеческий мозг податливым и управляемым. Таких управляемых вели и продолжают вести куда надо, например сегодня это делается при помощи гаджетов, социальных сетей, и берут в полон не только отдельно взятого человека, но и целые государства. Спросите, как отличить ложное от истинного? Что может быть мериллом или правилом в подобной войне? Личный и не только личный опыт. Тщательная и выверенная подготовка, знание психологии, медицины, собственной истории, и, конечно же, особенности воздействия печатного слова наших врагов на психику человека. Как уберечься и распознать подвох? Задай хоть один раз себе вопрос, кому выгодно, чтоб ты замолчал и убрался с дороги или двинулся туда, куда тебя хотят завести. Особенно когда тебя угаривают и заглядывают в глаза... Кстати, мелькающая на экранах реклама и клиповая подача — это один из элементов психологической массовой обработки населения...

С нашей стороны надо не ждать, и не вскармливать негодяев, которые на весь мир начинают кричать, что будут стрелять в своих недавних товарищей, и им всё равно, что останется от России, от русского мира: обломки или ядерный пепел...

— Героями твоей книги «Мы же русские!» являются истинно русские писатели — Белов, Распутин, Астафьев, Вампилов и т.д. Можешь ли ты назвать кого-нибудь из современных писателей, равных Белову и Распутину, Абрамову и Вампилову, Солоухину и Залыгину?

Василий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин, Виктор Петрович Астафьев?! Мне действительно в течение длительного времени пришлось общаться с некоторыми из них. Зачем математически пытаться подогнать или уравнивать одних с другими. Они были разными и по характеру, по темпераменту, по жизненному опыту. И внешне они были разными. Объединяло их одно, они с детства знали, что такое крестьянский труд. И писали об этом точно, выверено и не скрывая своей любви к родной земле. Я не раз заставлял Распутину в рабочей одежде, кирзовых сапогах и фуфайке, когда он копал огород, сажал картошку, огурцы, помидоры, морковь, свеклу у себя на даче. Видел и руки Василия Ивановича, крупные, привыкшие к топору, с сухими мозолями и жестким рукопожатием. В разговорах, если собеседник пытался навязать ему свою волю, он сразу же, без оглядки, не расшаркиваясь перед собеседником бросался в спор, из-под седых нависающих бровей глаза его начинали сверкать; ну ни дать ни взять — бульдог, который от своего не отступит и будет трепать, насколько хватит сил. Доверял он больше всего своему уму и сердцу. Да, он не привык проигрывать спор, уверовав, что его мнение правильное и окончательное. А дальше твое дело — согласишься ты с ним или отступишь. Авторитет среди читателей у него был огромным. Особенно любили его в Вологде. Любили за прямоту, за умение сказать в глаза тем, кому было не принято говорить то, что существует на самом деле.

Рассказывали один случай. Однажды, ещё в советское время, во время поездки писательской делегации в Грузию, на торжественном приеме по случаю отъезда делегации, он попросил слова и, сравнив условия жизни Вологодской области, где природные условия гораздо суровее грузинских, сравнивая цены на зелень, яблоки, мандарины, фрукты, добавил, что его землякам при сильных морозах нужны дополнительные расходы на зимнюю одежду, и, заглянув в подготовленную бумажку, сравнил бюджеты Вологодской области и Грузии, указал, что цифры для его вологодчины в разы меньше, чем для южной республики. Принимающие хозяева с холодным любопытством смотрели на заикающегося русского мужичка, но ту травлю, которую они много позже учинили Виктору Астафьеву после «Ловли пескарей в Грузии», поднимать не решились, сказав, что готовы сброситься и помочь конкретно Василию Ивановичу пережить холодную зиму. Поднимать крик и выносить сор на люди им было не с руки, момент ещё не созрел.

Это в конце восьмидесятых, во время писательского съезда грузинские писатели набросились на Астафьева, и уже Распутину пришлось выходить на трибуну и защищать собрата по перу. Кстати, после расстрела Белого дома, когда по указанию мэра столицы Лужкова в московской квартире Распутина отключили свет и телефон, Астафьев, к которому в Овсянку приезжали Горбачев и Ельцин, и пальцем не пошевелил, чтобы сказать свое слово в поддержку и защиту собрата по перу. Распутину в Иркутске уважали, но его замкнутость заставляла людей держаться от него как бы на расстоянии. Да и сам он в объятия читателей не бросался. Иного, как бы тогда сказали, производственного опыта, у Распутина не было, писательство было для него единственной профессией. Наибольшую известность ему принесли очерки после полемики о повороте северных рек, чтобы напоить водой среднеазиатские республики, и защита озера Байкал. Надо вспом-

нить, что после окончания университета он недолгое время работал на иркутском телевидении, где за материал о невинно осужденном писателе-иркутянине Петре Поликарповиче Петрове Распутина уволили, и он уехал работать в молодежную красноярскую газету.

В начале девяностых годов среди патриотов был очень популярен «Литературный Иркутск», который Распутин предложил возглавить известной молодой писательнице Валентине Васильевне Сидоренко. Сам Валентин стоял у неё как бы за спиной, по возможности искал средства на финансирование газеты, советовал и подыскивал интересные статьи и очерки. Но сам держался в тени.

В своей литературной работе Распутин был похож на крестьянина, тщательно, как зерна, отбирал слова, взвешивая их на невидимых весах. Как он сам вспоминал, в период учёбы в иркутском университете он стеснялся своей одежды, своего безденежья и деревенского языка, но потом понял, что ангарский говор односельчан и есть та кладовая, которую дал ему Господь, и её надо открывать для читателей, а не держать на запоре. Характеры своих героев он пропускал через свою душу, пытаясь не только разглядеть, но и для проявления характеров столкнуть друг с другом, при этом наделяя каждого только им присущими словами и речевыми интонациями. Иногда даже получалось перехлёстом, были и такие, которые говорили: и где это он находит таких женщин, которые говорят и рассуждают как преподаватели филологического факультета, наполняя свою речь забытыми словами и наречиями, которых сегодня и по отдалённым деревням трудно сыскать. Но потом притихли, когда другие критики и филологи начали ставить Распутина на одну доску с Достоевским. Иркутянка Галина Витальевна Афанасьева-Медведева — сама преподаватель, доктор филологических наук, ставшая лауреатом Государственной премии, когда-то опьяненная и очарованная ангарским говором героев Валентина Григорьевича Распутина, всю свою молодую энергию и жизнь положила на то, чтобы собрать всё многообразие народных говоров Восточной Сибири и поместить под обложку «Словаря народного слова в рассказах и повестях Валентина Распутина». Хочу привести небольшой отрывок из предисловия Валентина Курбатова к этой книге:

«Вот!» Человек как будто на минуту выходит из порядка жизни и смущенно останавливается посреди чужой речи; как хорошо, как ясно и вместе с тем «ново», будто слух сполоснули: «В ком чё есть, то и будет. И... хошь испечалься об нём — он свое возьмет. Никакой правью не поправишь». И как непривычны эти вдруг услышанные и становящиеся отдельными слова «говоря, елань, завозня, дивля»... Да и не они даже, а само течение речи, где эти «чё, ить, ажли» естественны как дыхание. Никаких других слов не сыщешь, потому что тогда суть сказанного потеряет народную правду. Тут открой на любом месте, и тут же весь там — в середине жизни — и колыбельная память, хоть ты и родился на другом, и в другой среде унесет тебя в горький свет закатающейся жизни. И мы ведь ещё вчера не останавливались в чтении и не думали о словаре. Вот поэтому мы узнали и полюбили «деревенщиков», что они возвратили нас в полноту дома и Родины, чтобы мы ещё могли наглядеться и ухватиться душой, чтобы не потерять себя в исчужа завезенной новой реальности. Теперь вот поневоле думается, что в «Деньгах для Марии», в «Последнем сроке» в «Прощании с Матерой» он и сам торопился нажиться той любовью и светом, оплакать, обвить её, как учила старуха Анна. Сегодня Галину Витальевну знают и уважают все, кто любит и ценит русское слово и русскую речь. Её книги настоящая кладовая, и, не побо-

юсь этого слова, памятник не только Валентину Распутину, но и кладовая для тех, кто придет ему на смену.

По моим ощущениям и наблюдениям, Распутин, как это было принято говорить, в своих рассказах и повестях не раскрывал человека, а как бы ждал, когда он раскроется сам. Есть писатели, которые из кожи вон лезут, чтобы быть на виду, в центре всеобщего внимания, высказываясь по любому поводу и без повода. Про таких говорят: «Мели Емеля, твоя неделя». Распутин в жизни был не особенно словоохотлив, чаще всего он помалкивал. Лучше всего его можно было разглядеть в написанном или напечатанном слове. Если он его поставил, то оно будет стоять крепко и на своём месте. И не постесняется убрать или исправить, если оно вызывает сомнение.

Конечно же он не мог оставаться в стороне от того, что происходило в России. Когда начались выборы в Верховный Совет СССР, выдвигать свою кандидатуру не стал, но, как и Василий Иванович Белов, от предложения пойти по списку не отказался, и прямым ходом угодил в депутаты, а после и в помощники Горбачёва, наивно полагая, что можно напрямую повлиять на принимаемые решения.

Кстати, в те годы многие российские депутаты решились пройти через это горнило, считая, что они известны и любимы в народе. Быть избранным депутатом стало почётно, это ещё одна реальная возможность проверить свою популярность на ярмарке тщеславия. Но такие надежды оказались не совсем верными. Для многих этот тест оказался холодным душем. Я помню, как иркутские писатели после криков и скандала на своём собрании выдвинули кандидатом в депутаты главного редактора «Литературного Иркутска» Валентину Васильевну Сидоренко, которую поддерживал Валентин Распутин. В финале, в результате тайного рейтингового голосования, Валентина Васильевна набрала наибольшее число голосов и обошла секретаря Иркутской писательской организации поэта Ростислава Филиппова. Но Валентина Васильевна, добившись своей маленькой победы, идти и добиваться расположения своих будущих избирателей не стала, заявив, что вообще-то много званных, да мало избранных, и что она будет заниматься тем, что сегодня нужнее всего, она займется газетой. Побеждать своих мы научились, но для чего же тогда было затевать весь этот сыр-бор?

Меня выдвинули не писатели, а коллеги-авиаторы от объединенного авиаотряда. Тогда я ещё не знал, какой тяжелый и изнурительный многомесячный зимний марафон предстоит пройти. Двенадцать крепких и сильных соперников по одному округу, люди известные, имеющие деловую репутацию, работавшие секретарями горкомов и обкомовских структур, обладающие партийным, административным и финансовым ресурсом и жизненным опытом. Ранние утренние встречи (и поездки в переполненных трамваях и автобусах) в гаражах, школах, на планерках в поликлиниках, швейных мастерских, в цехах заводов и магазинах, в казармах перед отбоем, и даже в церковных приходах. А после была поездка в Монголию, где к нашему округу были приписаны воинские части ограниченного воинского контингента. Там в Суланхэрэ, на границе с Китаем, приехавших кандидатов чуть было не расстрелял солдат азербайджанец, решивший отомстить за события в Баку, но его, к счастью, успели перехватить прямо у порога солдатского клуба, куда он бежал с автоматом в руках. Вспоминая то время, хотелось бы отметить, страна работала, люди верили и надеялись, что жизнь развернется в нужную и правильную сторону. Кстати, я видел, что люди доверяли лёгкой форме и тем книгам, которые я успел написать и издать. Так что шанс у каждого из писателей был...

Запомнилось, сразу же после писательского собрания ко мне подошел Валентин Григорьевич, к тому времени уже ставший союзным депутатом, начал говорить: а ты, Валера, не боишься, что однажды к тебе в квартиру постучится цыганка, а за нею куча ребятишек, и скажет: пока ты не добьешься ей квартиры, она поживет у тебя. Я с некоторым удивлением глянул на него. Позже, уже после расстрела «Белого дома», он на моем дне рождения сам вспомнил и объяснил тот эпизод:

«В свое время Федор Тютчев написал стихи:

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.*

— Я думал, что в этом поэтическом преувеличении есть какая-то неправда, — продолжил Распутин: — Ну какое может быть блаженство в минуты страшные и роковые! А эти страшные дни и минуты наши враги кажут по телевизору: горящий Белый дом, бегущих по улицам людей, солдаты в касках и стреляющие по окнам российского парламента русские танки. А ведь в доме наши соотечественники, живые люди, народные депутаты, персонал. И это не сон, это у нас на российском телевидении вещает американский канал CNN. Но уже сегодня, спустя некоторое время, я могу сказать: прав был поэт. Это были минуты, когда сидящие там депутаты смогли показать себя, свой характер, свою силу, своё человеческое достоинство. Здесь я могу назвать фамилии Сергея Бабурина, Анатолия Грешневикова, Виктора Михайловича Спирина, Владимира Подлужного, Леонида Ясенкова, Валентина Редькина, Владимира Вершинина. Мне приятно, что они почти все сибиряки и Валерины друзья. Мне хотелось бы напомнить один случай. В начале девяностых годов, когда я узнал, что Валера выдвигается в депутаты, я при встрече сказал: «Зачем тебе это? Одно дело, когда тебя впрягают, но зачем добровольно лезть в эту упряжку? Живет себе человек за милу душу, летает, пишет книги, издает их, — и добавил, — а ты не боишься, что однажды к тебе в квартиру постучится цыганка, а за нею куча ребятишек, и скажет: пока ты не добьешься ей квартиры, она поживет у тебя». Я думал напугаю! А только позже до меня дошло, надо же такое сказануть — напугать лётчика! То, что довелось испытать российским депутатам, Валериным друзьям, сегодня трудно представить. Это была судьба совсем иного рода, и начинаешь думать: да, поэт был прав, что блажен тот человек, кто посетил наш мир в минуты роковые, и начинаешь понимать: вы нас гнете? Ничего, мы выстоим, и пойдем дальше, уйдем в глухую оборону и, как Москва ушла от Наполеона, так и Россия уйдет от Ельцина и от тех, кто сегодня рядом с ним управляет Россией. Вернее думал, что управляет...

— **Валерий Николаевич, на одной из встреч на иркутском телевидении Василию Ивановичу Белову был задан вопрос: «Зачем России нужны храмы, можно, наверное, сохранять духовность и без них?»**

Было такое. У меня даже сохранилась запись той беседы, на которой они были на иркутском телевидении с Валентином Григорьевичем Распутиным. «Русский — значит православный, — говорил Белов. — Русский народ и духовность — неразделимы! Трагическое разделение русского человека и, как следствие, разделение русского народа произошло, когда случился церковный раскол. И после начало

дробиться наше духовное сознание. У нас в Вологде был митрополит святитель Игнатий, который встречался с Александром Сергеевичем Пушкиным. Он говорил, что корень нашей духовности один. И противник у нас один — это атеизм. Это неверие в Бога нашего и Спасителя. Я уверен, что нельзя возродить духовность без храма. Я у себя в деревне Тимонихе решил возродить храм. Жителей в когда-то богатой и населенной деревне почти не осталось. Но в голове засела и не давала покоя одна мысль, что воскресение единого нашего дома, тела нашего, невозможно без восстановления церкви и приходов. Но для этого нужен первый шаг. Недаром у нас говорят: почин — дороже дела. Осмотрел заброшенную церковь, прикинул, что могу сделать один и кого потом попрошу на подмогу, взял лом, топор, пилу и, перекрестившись, принялся за работу. Ещё никогда не работал я с такой охотой, точно Господь мне сам помогал. Кой-где заменил оклад, починил крышу, сделал крест. Он оказался тяжелым, его я вырубил из лиственницы. Но поскольку помощников, кроме Господа Бога, поблизости не оказалось, решил при помощи веревок поднять крест на купол. Было это после дождя, а я торопился закончить работу. И, подскользнувшись, сорвался! Но Господь и здесь помог, уберег меня, ободрав руки в кровь, я сумел зацепиться и спуститься на землю. Крест я всё же установил, когда подсохло. Поглядел на него издали, стоит крепко, на своём месте. В душе шевельнулось доброе и хорошее чувство, вот стоит начать, и всё получится. Отвечая на заданный вопрос, могу сказать, надо соединить культуру светскую и духовную. Начать со «Слова о полку Игореве» и «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона и потихоньку двигаться дальше...

— Многие герои твоих книг «Приют для списанных пилотов», «Опекун», «Колыбель быстрокрылых орлов», «Колумб вселенной», спектаклей «Сербская девушка», «Святитель Иннокентий», «Стюардесса» и других — это носители подлинно русских характерных ценностей и национальной гордости. Когда я писал предисловие к твоей книге «Добролет», я назвал тебя русским Экзюпери. Ты не только выдающийся русский писатель, но и прекрасный летчик, пилот первого класса, командир корабля. Поделись своими размышлениями, каким самым запоминающимся был в твоей судьбе полет, и какую свою книгу ты бы советовал школьникам прочесть в первую очередь?!

Какую книгу прочитать? Скорее всего детскую. «Истории таежного аэродрома». Ещё, пожалуй, «Гагарин. Колумб вселенной». Какой полёт мне больше всего запомнился. Наверное, первый и последний. А так их было тысячи, и каждый был не похож на предыдущий. Что мне дала авиация? Она дала мне профессию, работу, возможность посмотреть на нашу планету сверху. Подарила незабываемые впечатления и возможность общаться с разными людьми. У тех, кто сидел со мной в кабине, были свои взгляды на нашу работу. Запомнилась одна и та же реплика штурмана, когда после рейса на бодайбинские прииски он, подводя итог, задавал как бы сам себе один и тот же вопрос: «Может ли наша зарплата компенсировать затраченное время?» В то время один рабочий лётный день стоил примерно двадцать рублей. Полетавший в Авиаэкспорте и знавший, сколько получают летчики в зарубежных авиакомпаниях, он мрачно вопрошал, кто же там у Господа работает бухгалтером?

По его мнению, та зарплата, которую он получает за полеты, несправедлива и мала.

— Ты что, и там бы хотел получать? — смеялся я, кивнув головой в потолок

кабины. — Туда тебя на работу не брали, а туда, — я перевел взгляд на пол, — с собой ничего не возьмешь! Ежедневная качественная наша работа — это пульсирующая кровь в артериях большого организма, имя которому государство. Если заглядывать чуть подальше, то укрепление его обороноспособности.

— Может пусть этим занимаются те, кто носит военную форму, и которых в том числе мы содержим? — отводя глаза говорил он.

А вот мой первый командир отряда Васильев Василий Васильевич, который прошел войну и летал к партизанам, отвечал на подобные вопросы так:

— Кто не кормит свою, тот будет кормить чужую армию!

В авиации штурманов считали белой костью. Каково же было моё удивление, когда после развала страны и гражданской авиации, мой подался в торговлю, стал рубить мясо на рынке. И всякий раз при встрече подчёркивал, что получает в несколько раз больше, чем за полёты. После его слов, мне становилось не по себе. В наше время многие мои сверстники мечтали попасть в авиацию и, так же, как и я, про себя молили об этом Бога. И он такую возможность предоставил. Но не всем, и в том была его воля. А что — могло ли быть по-иному? Оказывается могло!

«Есть как бы два времени, два пространства. Одно — историческое, календарное, другое — нечестливое, — говорил Александр Блок в своей статье «Крушение гуманизма». — Только первое время и первое пространство неизменно присутствует в цивилизованном сознании; во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе...»

*Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...*

Поэт был прав, каждый в жизни несет свой крест. «Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как плуг», — писал Экзюпери. И мы, взяв в руки этот плуг, принялись пахать воздушную целину. Поначалу мир из кабины самолета показался мне огромным, но, попривыкнув и после освоив уже другие, более современные самолёты, этот мир стал меняться на глазах, я увидел, что наша планета мала, её, при взгляде сверху, как глобус, можно было при желании обнять руками. И самолёт стал для меня и для моих пассажиров как удав, который проглотил, но обещал выпустить. Спустя тридцать лет он это сделал, выпустил меня поседевшего, но целого с отметиной в лётной книжке 15 тысяч часов налёта, а это, я прикинул чуть позже — больше двух лет, которые провёл в воздухе. Одной заботой стало меньше, одной слезой человеческая река стала мелей. Что я потерял и что в итоге приобрел? Провёл огромное время между небом и землёй, подвешенный как бы на невидимой веревке. И где моя жизнь неслышно, как страница за страницей, перелистывалась час за часом, день за днем. Да, я пытался на чистых листах бумаги фиксировать то, что видел и ощущал. Работающая пила лопастей, звук моторов пытались перемолоть весь встававший на пути самолёта воздух и всё небо, обрывки моих дум и мыслей. Сегодня, когда многое позади, я думаю, что эта работа была нужна не только мне. В мой самолет входили и выходили люди — и то было движение из одного состояния в другое. Все живое должно и обязано двигаться и перемещаться. Я пытался понять, зачем и для чего это движение, зачем люди на земле, сегодня... Значение идеи пути определено Александром Блоком

как сознание особого движения, позволяющего вместить в образы мгновенных переживаний всю историю мира, его прошлое и будущее, ведь именно путь должен быть средством постижения сущности мира, как его гармонизация. Сегодня, когда другие сидят в кабинах самолётов, еду в метро и вижу своих бывших пассажиров, которые сидят, уткнувшись уже не в газеты и книги, а в гаджеты. Да это они — уже московские, а не сибирские. Я размышляю — зачем эта стадная привычка? И что там они видят и читают? Желание остановить время, отвлечься, глядя на мелькающие лики, свои или своих близких; круг этот постоянен, и это не что иное, как бесконечная погоня глядеть в лицо своей надвигающейся старости? После очередной остановки они прячут свои гаджеты в карман и выходят, а им на смену вскакивают в вагон другие, быстрыми глазами ищут свободное место и с полным правом плюхаются в него — хоть и на короткое время от остановки до остановки, сказать себе: — Жизнь удалась! Как по команде, и у них в руках появляются всё те же гаджеты, чтоб знать, что будет завтра или через день. Самая читающая страна стала самой разглядывающей себя державой. Привычно и как-то горько смотреть на одну и ту же картину. Хочется думать, что я ошибаюсь; не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес забрела.

— *Если верить Василию Белову, автору великой книги «Лад», который, отвечая на мой вопрос, когда возродим русскую деревню, ответил утвердительно: деревню уже не возродить. Так на чем должны вырасти Беловы и Распутины, если той деревни, которая взрастила их, уже нет и, видимо, не будет?!*

Думаю, Василий Иванович был прав; ту деревню, в которой он родился и жил — не возродишь. Деревня будет, но она уже будет другая. Давай вспомним небольшое стихотворение Николая Иванова:

*Никогда
Ничего не вернуть,
Как на солнце не вытравить пятна,
И, в обратный отправившись путь,
Всё равно не вернёшься обратно.
Эта истина очень проста,
И она, точно смерть, непреложна.
Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад
Невозможно...*

Распутин тоже говорил об исчезновении той деревни, которую он любил и знал. Но остановить письмом, словом, можно того, кто способен читать и мыслить самостоятельно, и делать из этого правильные выводы. Как, например, сделал это Хасбулатов, находясь в камере «Лефортово». Но всех-то не посадишь и не переубедишь. А писать и читать люди будут. Только о чём? Недавно на конференции «Молодость. Творчество. Современность», проходившей на Байкале, один из обсуждаемых начинающих писателей, кстати, уже ставший руководителем творческого объединения «Неоклассический синдром», рассказывая о своем творчестве и о себе, заявил, что русская культура и деревенская проза обречены, первая, как более слабая, должна поглотиться западной культурой, а деревенская проза ныне уже почти исчезла. Да и была ли она? И сделал оговорку: «Ну, возможно специальная военная операция на какое-то время и задержит процесс поглощения

русской цивилизации, но в конечном итоге она обречена». Я спросил его, кого он знает из представителей деревенской прозы? Да, западных писателей, на кого он равняется и кому подражает, он назвал сразу же и охотно.

— Да чего их вспоминать! — поморщившись сказал он про «деревенщиков». — Писали про трактора, гайки, про деревенских пьяниц и чудаков.

— И это все?! — спросил я. Ответом мне было молчание.

«Выходит, ложные маяки есть, они стараются воздействовать на сидящих рядом, отыскивая единомышленников, и считают, что только они достойны первых премий и всевозможных вознаграждений. И возвращают их не где-нибудь, а в родном моем городе. А разговоры о всечеловеческих ценностях, о которых кричали «великие» и, как они считали, непризнанные в конце восьмидесятых годов, захлопывая двери в наш общий союз писателей, и создавая свои союзы, как были, так и остаются ширмой, чтобы диктовать свои взгляды и не стесняясь выказывать свои аппетиты. И они не закончились с началом спецоперации, а лишь на время отложены.

В последние годы многие мероприятия проходят в Иркутске как бы под прикрытием имен Валентина Распутина и Александра Вампилова. Сегодня этих писателей уже нет, возразить или поправить что-то они уже не в состоянии. Но под их именами к нам в Сибирь приезжает и пускает корни «пехота» Дмитрия Быкова, Улицкой, Акунина, которые не скрывали и не скрывают, что презируют или ненавидят Россию. И прилетают они за казенные деньги и выступают под крышами сибирских библиотек, чтобы показать, как они успешны и востребованны, чтобы стать примером для тех, кто мечтает об исчезновении русской культуры. Для таких существует одна ценность — это собственное я, деньги, изданные книги. А мы — сибиряки для них край непуганых идиотов, наша участь молчать и принимать всё как неизбежную реальность. А вот премии они будут брать, зачем же летать впустую.

Почему-то мне вспомнился вопрос Василия Ивановича Белова после того, как мы, во время поездки в охваченную войной Югославию летом 1995 года, в городе Брчко проскочили под обстрелом Пасавинский коридор, оставив позади себя взрывы снарядов и ощущение близкой смерти, которая была от нас в нескольких шагах. Повернувшись к Распутину, Василий Иванович неожиданно спросил:

— Валя! как ты думаешь, нас ещё долго будут читать?

Этот вопрос он, видимо, не раз задавал себе. Не предполагал тогда Василий Иванович, что просмотр и чтение гаджетов станет главным занятием или развлечением самого читающего народа в мире. Может для того, чтобы закрыться ими как шторой, и не видеть окружающий мир...

«Чего хвалить не умеешь, того не суди. Не делай добра, ругать не будут. Правда светлее солнца. Шуту в дружбе не верь. В слепом царстве — слепой король. В дороге и отец сыну товарищ. Добро того бить, кто плачет. Ключ сильнее замка. Не бойся истца, бойся судьи. Не по летам бьют, а по ребрам. Убыток уму прибыль...»

Эти пословицы я выписал из книги Василия Ивановича Белова «Лад».

«Стихия народной жизни необъятна и ни в чем несоизмерима, — писал Василий Иванович. — Постичь её до конца никому не удавалось, и, будем надеяться, никогда не удастся».

Тогда мне пришло в голову, что так же не удастся разгадать свойства человеческой тупости, глупости и равнодушия к тому, что было до тебя, на чьём фундаменте ты хочешь построить своё, и чтоб оно стояло как можно дольше.

«Алфавит велик, век быстр, времени мало. Но только к будущей, молодой России обращено наше упование, наша вера, — говорил философ начала прошлого

века Сергей Булгаков. — Если история других народов — история Отцовства, то наша история — это история Сыновства. Ибо идея нации не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Перед нами опять стоит вопрос славянофильства и западничества, в новой лишь его постановке. Как и те, как и теперь западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим остается линией наименьшего сопротивления и стремление к культурной самобытности, на основе творческого усвоения мировой культуры и приобщения к ней. Наши культурные силы разрознены и слабы. Русская идея вертикально вытягивается от земли до неба. Раздольная горизонталь русской мысли перекрещивается с вертикальной и образует Крест наш».

Разношерстность, неоднородность и завистливость, неумение слушать другого присутствует в среде людей, занимающихся вопросами русской идеи и её конечного предназначения. Если к этому добавить определение Александра Сергеевича Пушкина, что мы ленивы и нелюбопытны, нам некогда читать друг друга, мы можем лишь жестко и безапелляционно судить, рядить и насмехаться.

— Еще лет десять назад Валентин Распутин назвал нашу страну колонией, определил и признаки ее — чужая экономика, чужая архитектура, чужие песни, чужая еда и т.д. Никто тогда не опроверг его выступление на Всемирном русском соборе. Никто в правительстве и не думал избавляться от колониальной зависимости ни в самолетостроении, ни в семеноводстве, ни в станкостроении. Результат — армия по-сердюковски развалена, станкостроение по-чубайсовски уничтожено. Зато много разговоров об импортозамещении. Есть ли, на твой взгляд, в России сила, способная услышать Распутина и того же Проханова, чтобы избавиться от колониального пресмыкания перед Западом и вывести Россию на свой самобытный путь развития? На кого ты возлагаешь надежды? Без национально мыслящей элиты не будет никакого развития. Но откуда они возьмутся, если власть в руках русофобов скрытых и нескрытых? И дело не в том, что такой западник, как руководитель «Сбера» Греф заявил о вредной политике: «Уход иностранных компаний из России — один из самых негативных факторов для нашей экономики». Включи телевизор, и там не увидишь ни русских писателей, ни художников. Мы с тобой недавно были на 90-летию замечательного поэта, редактора ведущего патриотического журнала «Наши современник», равного которому по следованию национальным традициям сегодня нет, большого подвижника русского мира Станислава Куняева. Да, Путин прислал теплую телеграмму Куняеву. Был еще высокий орден от Патриарха РПЦ Кирилла. Но прекрасный творческий концерт юбиляра прошел не в Кремлевском Дворце, и на экранах телевидения его не показали. Что касается орденов государственных, то их дают таким смехачам, как Хазанов. У государственника Куняева нет ни одного ордена «За заслуги перед Отечеством», хотя я хлопотал перед Министерством культуры о награждении, а Хазанов — аж полный кавалер этого высокого ордена. Ну и как при такой политике зародится национально мыслящее поколение?!

Да Куняев в этих орденах и не нуждается! Он уже давно смотрит на всю суету с высоты своего возраста. Всему своё время. Станислав Юрьевич уже получил всё, что необходимо поэту, писателю, издателю в России. Это признание и любовь читателей, возможность заниматься своим любимым делом...

Настоящий русский патриот Александр Михайлов, он же народный артист, постоянно выступающий на Донецкой земле, где идет война с неонацизмом и бандеровщиной, возлагает надежды на молодых солдат и офицеров. 7 декабря в газете «Аргументы недели» он обнародовал свою позицию: «Они вернутся с фронта и откроют нам новых поэтов, писателей, композиторов. Это не Новороссия, это новая Россия. И когда с войны вернутся сегодняшние парни, они сметут все наносное, всю пену, заполонившую театр и кинематограф. Дай Бог нам до этого дожить». Как ты думаешь, а доживем ли? Я не верю, так как вижу, что на местах среди губернаторов, в Министерстве культуры, в правительстве страны сидят чиновники с мышлением космополитов и западников. И когда молодые герои вернутся с победой, то первое, что они услышат: «Мы вас туда не посылали...». Развей мои сомнения!

Он прав, они вернутся! И вернутся с Победой! И это будут другие люди и уже другая страна. Я уверен, мы до этого доживем. В 1993 нам казалось, что уже никогда не будет той России, которую мы знали и любили. Но прошло время, долгих тридцать лет, пена, правда ещё не вся, схлынула, часть затаилась, часть сбежала. Но воздух становится чище, и появилась Надежда и уверенность. Давай вспомним стихи Николая Гумилева:

*...Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.*

— *Валерий Николаевич, одну из своих последних книг ты назвал «Мы же русские!». А кто, по-твоему, может называться русским? Назови главное качество русского человека, отличающееся от других людей, и качество других от нас?*

Это те люди, которые живут в России, любят Россию и готовы отдать свою жизнь за Россию.

— *В нашем Союзе писателей тысячи членов Союза, но все ли они русские по духу, по подвижническим делам? Что для тебя означает понятие русский писатель? Обязывает ли это обозначение к чему-либо?!*

Прежде всего, это совестливый человек.

— *В этой же книге у тебя прозвучала интересная и весьма интригующая мысль: «Если спорить, то с Василием Беловым, если молчать, то с Валентином Распутиным». Вопрос простой: о чем ты спорил с Беловым и зачем молчал с Распутиным? Второй вопрос в продолжение этой темы... Не ощущаешь ли ты себя одиноким, потеряв таких собеседников? Можешь ли ты с кем поспорить, как с Беловым, и помолчать, как с Распутиным?*

Со многими близкими, да и не только близкими мне писателями у меня бывают хорошие и дельные разговоры. И молчим, когда надо. И спорим. Например с тобой, когда встречаемся, или когда я приезжал к тебе в Борисоглебск. Сошлось опять-таки на Василия Ивановича Белова: — Не люби потокавщика, люби встришника.

— *Как ты понимаешь свою миссию почвенничества?!*

У меня такой миссии нет. Я даже не знаю, что это такое?

— *Я долгое время переписывался с писателем и литературным критиком Валентином Курбатовым. После ухода из жизни Валентина Распутина он писал мне, что остался совсем одиноким, общаться не с кем... Он называл Белова, Астафьева, Распутина — последними русскими писателями. Не сразу я понял, какой смысл он вкладывал в понятие «последние». Лишь с прочтением его книги переписки с Распутиным «Каждый день сначала» пришло осознание, что с уходом из литературного и политического пространства деревенской литературы и ее идеологов Распутина, Белова, Абрамова больше таких писателей не будет, они — последние. Цитирую Курбатова: «Забвение торопится отнести еще вчера всеобщую для русского сознания «деревенскую» литературу к почтенной истории, уже ничего не определяющей в нынешнем миропонимании. Они и сами, «деревенщики»-то, чувствовали закат («Последний поклон», «Последний срок», «Прощание с Матерой»), но всей любовью и памятью еще надеялись удержать лучшее в человеке — долгую землю и высокое небо... Валентин Григорьевич и тут был последним». Трудно не согласиться, что с уходом Белова и Распутина подобных писателей не будет, еще большее осознавать, что с их уходом мы теряем «деревенскую» литературу с «долгой землей и высоким небом». Но трагедия в другом, в том, что они — последние русские писатели. Конечно, писать о деревне кто-то будет, но это будет не литература Белова и Распутина, а, значит, Курбатов прав — они последние, и последние потому, что русские. В чем ты видишь русскость «деревенской» прозы Белова и Распутина? Что для тебя значат «долгая земля и высокое небо»? Чем чревата для России потеря не только Белова и Распутина, но и той деревенской литературы, которая удерживала «лучшее в человеке — долгую землю и высокое небо»?!*

Анатолий Николаевич! Давайте не будем пессимистами. Последние — это не для России. Будут, но уже другие. Были: Лев Николаевич Толстой, Михаил Александрович Шолохов, Василий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин. Сегодня есть Александр Андреевич Проханов, Владимир Николаевич Крупин, Станислав Юрьевич Куняев... Каждый из них по-своему отразил эпоху, в которой они жили и живут, оставляя не только свои книги, но и передали тем, кто придет им вслед, как и за что можно любить и отстаивать своё Отечество, родной язык и родную землю. А по поводу утверждения Валентина Курбатова, что, мол, стало не с кем поговорить. Это же чистая человеческая гордыня. Для него и Распутин и Астафьев были людьми, на которых он, как критик, делал себе имя. Бывало даже говорил не только за себя, но и за них, где просили, а где бы можно было и помолчать.

— *Вырождение русской нации — в настоящее время это не только вопрос демографии и сбережения народа, а вопрос выработки национальной идеологии, переоценка ценностей, избавление от преклонения перед Западом, создание русских школ, возвращение национально ориентированной элиты. Однако, чтобы всего этого добиться, нужны лидеры, пассионарии, подвижники с глубоким национальным самосознанием. Это понимают и те последние русские мыслители и подвижники, которые в меньшинстве, и книги которых мало кто читает, но эти книги, увы, с теми же названиями, как у Белова и Распутина — у замечательного писателя Владимира Крупина «Последний бастион святости», у историка Натальи Нарочницкой «Русский рубеж», у православного писателя и издателя Александра Крутова «Трудно быть русским», у поэта Станислава Куняева «Сквозь слезы на глазах...», у писателя Михаила Чванова «Мы — русские?» и т.д. Есть ли у тебя рецепт возрождения России как великой империи, как русской цивилизации? Согласись, что Россия может выжить, только если будет великой и сильной, а таковой она может быть только при сохранении и развитии русской идентичности, культуры, традиций, веры?!*

Анатолий Николаевич, в самом вашем вопросе есть ответ. Я не врач, и рецептов у меня нет. Но если обратиться к истории России, то можно отметить одну закономерность. Когда власть и народ были едины, мы были непобедимы. А то, что мы победим, в этом я не сомневаюсь.

ПОЭЗИЯ



АЛЕКСЕЙ ШИХАЛЁВ



«Млечный Путь и присутствие Бога...»

Молитва

Там в тишине у детской колыбели,
Чуть нараспев и слышимы едва,
Кружась в прозрачном воздухе, летели
Лишь к Богу обращённые слова.

В ответ с небес мелодия звучала,
И падал снег всё чаще, всё сильнее.
Природа спит, укрывшись покрывалом
Из кротких слов молитвы Матерей.

Старик

Это было не в будни, не в праздники,
Средь полей, обогретых творцом,
В запылённом подшитом подряснике
Шёл старик с загорелым лицом.

Шёл один, презирая сомнения,
Не желая пределов других,
А печаль волочила лишения,
Отражаясь в столбах верстовых.

Знают только лишь птицы небесные
Да ковыль, что узнал невзначай,
Как идёт по холмам с перелесками
Вслед за ним вековая печаль.

Шёл старик в запылённом подряснике
По ладоням июльских полей,
Чтобы людям и в будни, и в праздники
Жизнь на свете была веселей!

ШИХАЛЁВ Алексей Павлович родился 29 мая 1980 года, по профессии инженер. Публиковался в литературных журналах: «Иные берега (Viegaat rannat)» Финляндия, «Ин-вожо» и «Территория жизни» г. Ижевск, в юмористическом журнале «Чаян» г. Казань, а также в районных газетах Кировской области «Вятско-Полянская правда», «Сельская правда». Живёт в г. Ижевске.

Ямал

Наяву и в безоблачных снах
С детских лет об одном лишь мечтал:
Презирая полуночный страх,
Покорить неприступный Ямал.

Посреди красоты неземной,
Где Полярная светит звезда,
Горизонт открывался иной
В белом царстве алмазного льда.

Будь смелей! Испытанья пройдёшь!
Ты не первый. И ты не один.
Север знает, где правда, где ложь
На пути настоящих мужчин.

И встают за преградами лет
Корабельные мачты в снегу...
Взрослый мальчик встречает рассвет
На Ямальском пустом берегу.

Месяц

Юный месяц с желтыми боками
В заливчатской шапке набекрень,
Связки звёзд укладывая в сани,
Мчался меж уснувших деревень.

Вдоль дорог прозрачный дым струился.
Лес затих, предчувствуя весну.

Старый дед в избе перекрестился,
Как обычно отходя ко сну.

Тишина вокруг деревни вятской,
Спит река и белые холмы,
Только месяц в шапке заливчатской
Скрыл в карман потерянные сны.

Память

Вижу белое солнце в зените,
Там под звуки серебряных струн,
Разорвав вековые граниты,
По ущелью грохочет Аргун.

Вижу между высоток палатки,
Закопались в обрывистый склон,
Как огромные дачные грядки,
Только кончился дачный сезон.

Летний дождь да туманы сырые,
Чай индийский на дне котелка,
Мы уходим совсем молодые,
Растворяя в себе облака.

Нас связали суровые нити,
Каждый помнил и каждый хотел,
Чтобы ты никогда не увидел
В двадцать лет человека в прицел.

Часовые

По просторам огромной России,
Вдалеке от житейских морей,
На пригорках стоят часовые,
В куполах опустевших церквей.

Летний зной да туманы сырые,
Иль февраль ворошит снегопад,
На пригорках стоят часовые,
В тишине их лампы горят.

Здесь бывало под звуки гармошки,
Под Рязанский цветной хоровод,
Заиграют по избам окошки
В православный шестнадцатый год.

Здесь когда-то любили, женились.
«Отче наш», — повторяли уста.
И на Пасху поближе сажались,
В каждом доме встречая Христа.

Налетели тревожные годы
Чёрным солнцем да криком ворон.
И никто не ведёт хороводы
На останках забытых имён.

Лишь они православной загадкой
Неизменно стоят на постах.

И, огни зажигая в лампадках,
Прячут грозы в огромных крылах.

Для того чтобы помнили люди,
Чтоб вернулись в покинутый дом.

Ты поверь! И лампада зажжётся
Летним вечером в сердце твоём.

2001 год

Среди горных вершин наше время бежит,
Вдаль шагают усталые ноги.
Ты не проклят, ты просто навеки забыт,
Как ненужный рюкзак у дороги.

Небосвод подожгут голубые огни,
Заискрят звездопадами вспышек.
Помню южную ночь накануне весны
И глаза повзрослевших мальчишек.

В их глазах отражалось сиянье Луны,
Мать в платке у родного порога.
А ещё в тех глазах посредине войны
Я увидел присутствие Бога.

Мы живём в темноте, в царстве рваного сна.
Тянет дни непростая работа.
В недрах южной весны, где домашние сны
Прерывает огонь миномёта.

Здесь сомнения нет! Только лампочек свет
Поплывёт в полумраке позиций.
По наводке на цель смотрят прямо в прицел
Молодые суровые лица.

Так проходят часы по-над горной грядой,
Где ведут облака хороводы.
Где свирепый Аргун вместе с талой водой
Унесёт наши лучшие годы.

Наши судьбы сейчас параллельно идут,
Мы теперь каждый сам понемногу,
Но приходит во снах напряженье минут.
Млечный Путь и присутствие Бога.

Сибирь молодая



22–24 ноября 2022 года состоялась двадцатая конференция молодых авторов «Молодость. Творчество. Современность». Проходила она на Байкале в поселке Листвянка. Право участвовать в конференции получили 20 человек. В предлагаемой читателям публикации поэзии, прозы и публицистики по итогам конкурса опубликованы работы, заслужившие одобрение членов жюри.

В стихах молодых авторов образное видение мира и метафоричность органично слились с новым современным языком, несущим приметы времени, в котором мы живем.

В прозе отродно было видеть стремление поднимать сложнейшие философские вопросы. Весьма многообещающе показали себя авторы сложного жанра публицистики.

Надеемся, что произведения молодых писателей, лауреатов молодежной конференции «Молодость. Творчество. Современность» 2022 года будут интересны нашим читателям.

Поэзия

НАТАЛЬЯ ДОБАРКИНА

г. Иркутск

1-е место в номинации «Поэзия»

Африка

— Не ходи, — говорит, — в Африку погулять
там за пазухой нужен не камень, а автомат,
там слова твои поглотит большой песок.
Не ходи, — говорит, — наполнишь свой туесок
чужеземным наречием, крокодиловой злой слезой.
Утро пленкой засвеченной, вычурной бирюзой
ослепит, заслонив обратный знакомый путь.
Под алжирскими звездами проще всего тонуть,
вняв гортанному древнему сочному языку.
Не ходи, — говорит, — иначе не сберегу.
Оборвется последний сломанный телефон,
в шоколадных калошах сандаловый старый слон
в пыль затопчет кущую трын-траву.
Не ходи туда, откуда не позову.
Где Шелиффа воды белые от жары
примут с радостью северные дары,
Обласкают руки и щиколотки твои,
замолчишь, покуда сердце не закровит,
не забьется нельмой о килиманджарский лед.

Не влезай, — Господь говорит, — убьёт.

* * *

Земля в снегу, ветра поют псалмы,
Как Иордана воды, протяженны.
«И паче снега убелюся» — тленный
Мечтает мир, исполнен тишины.

И стоит только выйти за порог,
Перед глазами белое затмение —

Намек на неизбежность воскресенья,
И на звездой увенчанный восток.

Земля в снегу, как в свежей простыне
Уснувший новорожденный ребенок.
А ты, Адама косвенный потомок,
Потонешь в небе, словно в полынье.

* * *

тонет в твоём стакане вчерашний день
ужин завернут в газету на скорый лад
сколько ещё отстоять тебе душных смен
сколько ещё рубить сплеча невпопад

дома тоска грусть заела как шубу моль
мог ли подумать что так тяжело терять
крутишь сигарку дрожащей своей рукой
и по звонку возвращаешься в личный ад

* * *

Смешно курить в открытое окно,
вдыхая с дымом яблоневый запах.
Весны моей любовное зерно
в надёжных лапах.

Взойдёт ли — неизвестно до поры,
но лапы мягкие у чернозёма.
Принять любые вести, как дары.
Без юношеского надлома.

* * *

Неба квадрат усеян антеннами,
перечёркнут жилами проводов.
Решаю уравнение с переменными
с перерывом на поиск слов.

Рисую правильную конструкцию
в уме. В своем ли еще уме?

Нахожу аргумент и функцию,
доказывая себе:

Между двумя равными величинами
стоит соответствующий знак.
Но между женщиной и мужчиной
не так.

* * *

Даже айва безвкусная — сено сеном,
Раньше носила с рынка ее пакетами.
Жизнь под наркозом в холоде внутривенном.
Запахов нет, все цвета давно фиолетовы.

Улицы насторожены, молчаливы.
Редкий патруль крадётся, щупает фарами.
Больше в глазах металлического отлива,
В голосе с каждым днем все больше металла.

* * *

Время вышивает на халате крест,
или это кровь проступает алая?
Сколько их, покинутых нами мест.
Сколько зим и лет — не считала я.

Стоит задремать — слышу чей-то крик.
Помоги мне, Господи, вынести
синеву небес и под сердце штык,
по Твоей неведомой милости.

МАРИНА НОЖНИНА

г. АНГАРСК

2-е место в номинации «Поэзия»

* * *

Вечер слизал солнца лучи с передней,
В голове бушующий Диснейленд
Ты — самое модное из последнего,
А я — износившийся секонд хенд.
Чай вчерашний просится из заварника,
Завтрашний чай надо пойти купить,
Корм насыпаю коту-напарнику,
Лапшу запариваю, чтобы поесть и жить.
Долго глядит на меня из комнаты
Томик Джима Томпсона на столе.
Я не знаю, может быть, помнишь ты,
Что я еще существую на этой земле.
Сине-пурпурный на шее шарф
С белой блузой смотрится офигенно,
Искала — вывернула весь шкаф,
Как внутренности из огромной вселенной.
Вышли гулять. Скользко! Грохаюсь на спину,
Лежу в снегу — конопатое чудовище,
Жую замороженную рябину,
Чувствуя себя счастливейшим овощем.
Город рассыпал свет по окнам,
Мы с тобою как в космосе — невесомы,
Сердце то остановится, то снова ёкнет,
Хорошо всё-таки, что мы знакомы.

* * *

Мой август, как сад плодотворный,	Прости, что когда-то злилась,
Пахнет фруктовым чаем,	Пусть даже самую малость.
Я слышала, чайки кричали	Черпаю ладонями осень,
Над Волгой, такой огромной!	Хватаю луну за пятки.
Я слышала небо над ветром,	Смогла, даже если бы бросил,
Листала листву с деревьев,	Но мы заигрались в прятки.
Питала глаза свои светом	Но мы оказались чужими
И соблюдала поверья.	Соседями по постели,
Но вырвалось небо градом,	Мы вместе когда-то жили,
Упало и захлебнулось.	И даже друг друга терпели.
Я рада с тобой быть рядом,	Неистово осень дышит
Уснула и не проснулась.	Последним дыханием лета,
Упала и не разбилась,	Мой август меня не слышит
Устала, но не сломалась,	Мой август... растаял где-то.

* * *

Еду в трамвае. День мой закончен,
Падают небо под ноги камнем,
Камнем ложится усталое веко,
Стелется ночь вдоль дороги плавно
Быстро ли, тихо, вновь перевалит
Полночи синей полная ложка
Встанет и выгнется над домами
Небо бездонное — черная кошка
Очередь света близко — далёко,

Скачет ритмично, то вяло, то резко:
Спящий трамвай, облака-занавески,
Улицы, парки, дома-небоскребы,
Реки, мосты, провода, перелески...
В городе душном, словно в утробе
Падает сон на ладони мира,
Там за углом продают чебуреки
Едут машины — полоски пунктира,
Улицы, ночь, фонари и аптеки...

* * *

Дышу в твои пальцы, отпустить не могу,
Растекается, словно кисель, закат,
Как зеницу ока тебя берегу,
И уже ни за что не уйду назад.
Я не видела глаз таких никогда,
Обещай, что мне ты не будешь лгать,
Расстиляет ночь одеяло сна,
Только я одна не умею спать.

По дороге снег заметет следы,
Голубой туман из дыханья и слез.
Я хотела тебя уберечь от беды,
Жаль, что снова мне помешал мороз.
Я останусь одна среди тысяч домов,
Никого, тихо в пальцы свои дышу...
Не хочу уходить я из этих снов,
Открываю глаза — и одна лежу...

* * *

Завари мне чай из еловых веток,
Из листьев брусники и жгучего ветра,
Добавь в него корень сухой повилики,
Щепотку ромашки и горсть горицвета,
Глаза прищурю, и белые блики
Пронзят сонный мир мой тот или этот.
Рогатый оборотень двуликий
Гоняет душу мою по свету,
Бодает кору сосновую в чаше,
Макает рога в болотной трясине,
И мир утопает в фарфоровой чашке,
И свет в глазах отражается синий.
Закинь в чашку с чаем душистой чаги,
Пуускай разлетятся горячие брызги,

И тонкие струйки прозрачной влаги
Сползут с деревьев смолою склизкой.
Нет у меня ни друзей, ни дома,
Лишь давит тело тугая верига,
А из-за спины моей невесомой
Выходит оборотень двуликий,
Ровно в полночь ранней весною,
Хлебает из чашки фарфоровой зелье
Молчит и дышит рядом со мною
Гнилью болотной в древесные щели.
Разносятся вздохи тяжелые, сонные,
Туманом ложатся на клевер дикий,
И спит на груди моей обнаженной
Рогатый оборотень двуликий.

АНТОН ЗОРКАЛЬЦЕВ

г. Иркутск–Новосибирск
3-е место в номинации «Поэзия»

Загородный диптих

1

Вжимая в пол педаль — успеть, пока светло —
из городской черты летишь в тоске дорожной.
Заботливый Иркутск — на выезде табло:
на трассе гололёд, и будьте осторожны.

Успеть, пока светло, хотя когда темно,
деревья в свете фар загадочно подвижны.
Дорогу б растянуть на ночь, и день, и ночь.
В колонках — джаз. Тайга. Другое все излишне.

А тракт почти пустой. Как брошенный костёр,
моргнёт ни для кого включённый поворотник.
Подъёмы выдают по порциям простор.
Не радость, не печаль. Быстрее и безрасчётней.

2

За городом нет электричества.
Внепланово и не вовремя.
Январь. День едва увеличился.
Темно. Всё приостановлено.

А в окнах закат — сиреневый,
точнее, серо-сиреневый,
ещё уловим для зрения,
доступен для одобрения.

И снова — джаз. Луи Армстронг.
И печка трещит старательно:
мол, я вам — всегда пожалуйста,
не то, что обогреватели.

И свечи лишили хмурости
палитру ушедшего вечера.
А ты вникаешь в премудрости
печных языков изменчивых,

и кажется, что расплачешься
от радости и печали,
копившихся так давно.
У печки свернувшись калачиком,
не хочешь, чтоб свет включали.
Ещё немножечко, но...

Никуда

Душевная простуда от сломанного льда.
Приходишь ниоткуда, уходишь в никуда.

В масштабах полусуток, в масштабах жизни всей —
вплываешь ниоткуда. Садишься в карусель

и, посреди полёта неясно слыша даль,
весь до последней ноты слетаешь в никуда,

беспрекословно веря, что надо быть нигде:
не человек, не берег — кружение на воде.

Отдельный твой рассудок? Единая вода.
Никто, из ниоткуда, нигде и в никуда.

Всё

Всё, что мне было доверено, это не путь, а напутствие, это не дверь, а преддверие, это не чувство — предчувствие.	чтоб ощущать мироздание в вечной его невесомости.
Всё, что мне выпадет далее, это уроки бездомности,	Всё, что с меня причитается, трепетный отзвук молчания, грусти осмысленной таинство, обожеествление случайного.

На станции

бойкоты городской среде
с её шумами поздними

негромкий стук колёс-сердец
на станции спокойствие

металл дороги закалён
но дрогнет лихорадочно

негромкий стук сердец-колёс
на станции загадочность

начистоту и в пустоту
горящую осеннюю

сердец-колёс негромкий стук
на станции спасение

ВЕРОНИКА СУРМАНОВА

г. ИРКУТСК
ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ «НАДЕЖДА»

Вечер у моря

Золотистый песок блестит,
Рассыпая лучи вокруг.
Стая чаек вперёд летит,
Издавая неясный звук.

Берега обхватили синь
И надёжно в руках несут.
Пробегающие дожди
Волны-волосы рассекут.

Привлекая людей водой,
Голубой как сапфира гладь,
Море держит песок рукой,
А потом отпускает вплавь.

Вечер ходит. Небес полог
Накрывается полотном.
Чёрный звездный переполох
Круг рисует на голубом.

Выше рук — волновая синь.
Волн-волос бесконечный круг.
Замолкают, как рот разинув,
Абсолютно все мысли вдруг.

Замолкает струна гитар.
Музыканты домой идут.
Показали прохожим дар
И теперь благодарность пьют.

Все в содружестве. Чайка рвёт
Чешую из морского дна.
Ветер песни свои поёт.
Вторит шепотом синь-волна.

Вспышка — помощь запечатлеть,
То, что завтра опять придёт
С блеском глаз снимок разглядеть:
«Море, знаешь, тебе идет».

Лес и голос

В мрачном, холодном,
безудержном пламени
И-ду, и-ду.

Тропы красивого,
яркого знамени
Най-ду, най-ду.

Солнце осело,
и свет опускается
В ти-ши в ти-ши.

Голос в уме
беспокойно меняется:
«И-щи, и-щи».

И голова от мыслительных точностей
Ка-мен-на-я.

И речь твоя о земных непорочностях
Пла-мен-на-я.

Произносил тихо, звонко и шепотом:
«И-ди сю-да».

И я на голос как будто бы роботом
Спо-кой-но шла.

В бездну морскую твой голос
из вечности
У-пал, у-пал.

Но в голове моей до бесконечности
Он не про-пал.

Месяц кругами по лесу и по полю
Хо-жу, хо-жу.

Только твой голос под тяжестью тополя
Не на-хо-жу!

ИГОРЬ ЛЕСНЫХ

п. Качут
ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ «НАДЕЖДА»

Реквием

Я где-то в сумерках потерян,
А ты бредёшь во тьме на ощупь.
Иди... Вслед за сердечной мощью,
Так мы найдёмся. Я уверен.

Шепчи потрескавшимся словом
Что, невзирая на обманы,
С тобой влюблёнными губами
Друг друга мы коснёмся снова.

Иди. Но не жалея о прошлом.
Мы — только сон с мгновеньем яви
Искали долго и теряли.
Мы — ветер, чувствуемый кожей.

Рукой во тьме скользи по стенам,
А упадёшь — вставать старайся,

Моли и плачь, но упирайся.
Так мы найдёмся. Я уверен.

Ах, да: ты помнишь, на прощанье
Я подарил тебе из меди
Кольцо, мной свитое намедни,
Знак встречи нашей, обещанье?

Оно с тобой ещё? Потрогай
Смотри, как греет! Что, не чудо?
Я никогда не позабуду
Того, как между нами много!

А много лет прошло, наверное...
Прости: исчез тогда навечно,
Но всё же слушай зов сердечный!
И мы найдёмся. Я уверен.

Проза

ЕКАТЕРИНА СЕРЕБРОВА

г. ИРКУТСК
2 МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ПРОЗА»

Обычный человек

(ИНТЕРМЕДИЯ)

Действующие лица:

Иван Николаевич (Иван) — шофер, 47 лет.

Вика — администратор, носит очки.

Лена — ее помощница.

Торговец с дипломатом, в пальто.

Тесный офис. Вика сидит у входа, на ее столе — статуэтка Фемиды с весами в руках. Лена — за дальним столом у окна, перед ней клубок из черно-белых ниток.

Входит Иван.

Иван. Здравсьте, девочки-красавицы, меня к вам отправили. Я за машинкой со штрафстояночки.

Вика. Заполните бумаги.

Иван присаживается подле нее и берется писать.

Иван. Ваше здание в таком мрачном месте: на пустыре, рядом с ритуалкой. Да еще дерево уродливое под окном. Не страшно?

Вика. Мы привыкли.

Иван. Так, я заполнил. А зачем вам мое вероисповедание и крещен / не крещен? И где указать данные машины?

Вика. Раз написано, значит, заполните.

Иван пишет. Лена начинает разматывать клубок.

Вика (*читает его бумагу*). Иван Николаевич Буровой, 47 лет, шофёр. Женат, двое детей. Атеист. Что ж, Иван, вы по адресу. Больше вам ничего искать не придётся.

Иван. Ага, ведь машинку я нашел.

Вика. Машинка вам тоже не понадобится.

Иван. Почему же? Я шофёр.

Лена. Вам некуда ехать, вы умерли.

Иван. Умер?

Вика. Лена, ты опять торопишься. На вот, копию сними. (*Лена забирает документ.*)

Иван. Как это, умер?

Лена (*бормочет у принтера, который барахлит*). Ненавижу эту земную бумажную волокиту.

Вика (*Ивану*). Вы уже несколько дней задыхаетесь, с высокой температурой ходите, и вас удивляет результат? Ваши легкие перестали работать.

Иван. И ничего не исправить? Я к врачу пойду! (*Ломится к двери, открывает —*

а там пустота, темнота. Вика затаскивает его назад.) Мне нельзя умирать, у меня кредит.

Вика. Из комы можно вернуться, но с вами уже ничего не поделаешь.

Иван. Это какой-то розыгрыш... или кошмар... Я не верю в загробную жизнь, так не бывает.

Лена. Мы вас не спрашиваем, верите или нет. Вот ваша судьба. *(Отдает ему распутанный клубок, теперь их два — черный и белый.)*

Вика кладет эти клубки на весы. Черный перевешивает.

Вика. Ну что, грешили много?

Иван *(испуганно)*. Нет. Жил, как все: работа, дом. Обычный человек.

Вика. И не за что каяться?

Иван *(пожимает плечами)*. Я простой шофёр, за баранкой двадцать лет, без нареканий честно работал. Жене как-то изменил... мы друг друга простили.

Вика. Что-то другое.

Иван. Бывало, падал, как и все. Как-то на месяц в запой ушёл. Никого не избивал, долги отдавал... Никого не убивал... *(Чёрный клубок опустился.)*

Вика смотрит со вниманием. Иван замер.

Входит Торговец с чемоданчиком. Расхаживает по кабинету.

Торговец. Покупаем, сдаем души, постоянным клиентам — скидки. Мужчина *(наклоняется к Ивану, заговорицуки)*, вашу куплю задорого.

Иван. А?

Торговец. Годы жизни дам, да еще какие!

Иван. То есть я оживу?

Торговец. Да, мой дорогой. И проживешь долго, в счастье и безмятежности.

Вика. Альберт, он не из твоих.

Торговец фыркает, с широкой улыбкой еще смотрит на Ивана, но, не дождавшись от него реакции, уходит.

Голос Торговца за сценой. Сдай душу — спаси тело от ковида!

Иван. Это кто?

Вика. Чёрт в пальто. Альберт, на вашей людской беде наживается. Потом тем, кто купится, а сейчас таких немало, благими намерениями одна будет дорога выслана.

Иван. И вы допускаете такое?

Вика. Без тьмы нет света. И потом, человек сам склоняет чашу в одну или другую сторону *(кивает на весы)*. Думаешь, это я решаю? *(Пауза.)* Что же тут, Иван?

Иван *(вздыхает)*. Я молодой был, возвращался как-то в машине поздно домой. Гололёд, темень, на трассе почти никого. Я не гнал, спокойно ехал. И вдруг, откуда ни возьмись, мальчишка выскочил. Я его поздно заметил, вдарил по тормозам! Машина в кювет улетела, перевернулась. Я кое-как выбрался, ладонь только и оцарапал — не пострадал, побежал к ребенку, а уже и поздно... Суд назвал несчастным случаем. Я компенсировал его семье расходы, всё такое. Они глядели на меня несчастными глазами, но никто и слова не сказал.

Вика. Вот она, вина ваша перевешивает.

Иван. Никто не осудил меня, не наказал. Я должен принять это наказание сейчас.

Вика. Ты можешь покаяться.

Иван. Так просто? А серийные убийцы тоже могут?

Лена. Этим протягивает руку сам Сатана, и они уходят в закат в обнимку.

Вика. У нас только те, кто имеет право на второй шанс. Вспомни всё, что было, любую мелочь, и ответь, специально ли ты его убил, или не могло быть иначе.

Иван. Я хорошо соображал и следил за дорогой... на том месте не было фонаря. Я... я не мог ничего поделаться. Я не хотел этого.

Весы выровнялись.

Вика (*берет Ивана за руку*). Ты обычный человек, Иван. Это не случай. Это судьба.

Подходит Лена и отдает бумаги.

Лена. Пора вам в небесную канцелярию. (*Провожает Ивана до двери.*)

Иван уходит. Ему в глаза бьет свет.

Лена. Зря ты Альберта прогнала, надо было посмотреть, что будет.

Вика. Ты и сама знаешь, что ничего. И я сразу увидела, какой он, Иван.

Лена. Ну надо же. Вызови техника лучше, а я пойду за клубками. И почему я в помощниках? Моего стажа и заслуг больше, чем у тебя. (*Бубнит, уходя.*)

Вика (*хмыкает*). Заслуженный канцелярский работник.

Вика встает и подходит к окну, из которого виден одинокий тополь, большой и старый.

Вика. И ничего-то он не уродливый.

Сердечки

РАССКАЗ

Василиса старательно защипнула пельмень в форме сердечка. Она готовила их для кавалера. В морозильнике лежали магазинские пачки про запас, но Васёна, как звала её мама, любила собственноручно сделанные, свеженькие. На тонком тесте, с говяжьим фаршем, но без лука — она не переносила даже запах. Было выложено двадцать две аппетитных пельмешки, когда смартфон маякнул о пришедшей смс. Вытерев пальцы о салфетку, Василиса открыла её.

«Ерофей:

Хочу на ужин чего-нибудь необычного».

«Василиса:

А я пельмешки леплю. Тебе понравятся».

«Ерофей:

Прояви фантазию, Лиса, или закажи на дом. Что-нибудь японское».

Васёна уж хотела возразить, как пришла следом еще одна смс.

«Ерофей:

Нет, лучше итальянского. До связи».

Василиса разочарованно окинула взглядом свои изделия и отложила помятые сердечки в миску. Она уж и сама хотела их испробовать. Ерофей её озадачил: особенных изысков девушка готовить не умела. Борщом и макаронами по-флотски его не удивишь. По этой причине он редко ужинал у неё. Либо они заказывали доставку совершенно нелюбимые ею роллы, кажущиеся Васёне бумагой на вкус. Либо шли в ресторан. Но доходы не позволяли обоим постоянно есть в заведениях. Ситуация была ни плохой, ни хорошей, однако девушка боялась, что так он вскоре совсем перестанет приходить, а о совместном проживании придется забыть.

Васёна придерживалась традиционного уклада и надеялась создать семью. Парней, жаждущих бежать расписываться, она не встречала. Дистанционный формат работы и вовсе лишил её случайных знакомств. А с сетевым знакомцем Ерофеем вроде бы что-то налаживалось: три месяца общения — хороший срок. Не то, чтобы к своим тридцати она считала, что «часики тикают», и пора заводить семью. Надоело в четырех стенах проводить рабочие будни, выходные, и поиск партнёра для совместного разнообразного досуга постепенно стал для Василисы ключевым. Боясь потерять того единственного приличного, «приемлемого варианта», кого она привлекла, девушка твёрдо решила: кулинарному эксперименту быть!

Чат-бот пришёл в помощь с рецептами. Сперва она задала запрос: «Необычное блюдо для ужина» и гордо приписала «с мужчиной». Вышли десятки вариантов. Василиса увидела картофель, запеченный с курицей, и вспомнила пожелание Ерофея про «итальянское». Поменяла запрос на «лазанья с курицей». Включила голосового помощника и выслушала список ингредиентов, попутно сверяя с имеющимся набором в холодильнике. Для соуса не хватало пшеничной муки, муската. Окинула взглядом бутылочку оливкового масла: негусто, но должно хватить. Пришлось бежать в «Пятерочку» у дома за мукой и необходимым орехом, поскольку на доставку продуктов не было времени. До ужина оставалось меньше трех часов.

Накинув на халат пуховик, Васёна прямо так и побежала до магазина. Благо, ноги на морозе замерзнуть не успели. Вернулась взмыленная, взъерошенная, но решительная. Сразу определилась, что приготовит макаронные пласты сама, без покупных заготовок. Готовый полуфабрикат терял всякую ценность. Начинаящая повариха взялась месить тесто под диктовку голосового помощника.

«Охладить 30–60 минут в холодильнике. После раскатать», — довершил робот.

— 60 минут! — вскрикнула Василиса. — Хватит и 30, — заметила она, убирая в прохладу тесто.

Занялась соусом. С первым пунктом проблем не возникло, а вот бешамель доставил хлопот. Томящееся молоко убежало — хозяйку отвлекло пришедшее на смартфон оповещение. Потом она забыла вовремя вытащить лавровый лист. На третий раз ничего не загустело. В растрепанных чувствах горе-кулинарша устроилась на стуле полистать ленту соцсети, поставила пару лайков, ответила на личные сообщения и лишь после этого успокоилась. С пятой попытки ей удалось и соус — «консистенция сметаны» была получена.

Как раз подошли к концу уже не 30, а 40 минут для теста. Васёна раскатала его и разрежала на пласты. Выложила остальные продукты для лазаньи. Приготовила куриный фарш, обжарила овощи с томатной пастой. Пришлось прибегнуть к луку. Зажав нос и рот, периодически шурясь, она поджарила на сковороде и его. Глядя на скрипучий лучок, Василиса дала волю эмоциям:

— И чем ему пельмени не угодили?

Чуть помятые, но все ещё симпатичные пельмешки жалобно поглядывали из миски.

— Они хотят поработить всё живое. Только тихо, это тайна, — отозвался механический голос.

Васёна вздрогнула, но вспомнила про включенного помощника.

— Лучше пусть возьмут этого гурмана в плен. Или убьют.

— Я хочу с ним спать в обнимку, — невпопад ответил робот.

А её злость сменилась грустью.

— И я, — тихо выдохнула она, продолжая мешать овощи. Заправка была готова.

— У нас много общего, — в голосе бота звучала радость. — Футбол любишь?

Василиса наклонилась за противнем в духовке. Несуразный диалог отвлекал её от неприятных мыслей.

— Лыжи люблю. Или прогулки. Выйдешь зимой в лес, поскользишь неторопливо — снежок хрустит, воздух свежий. Никаких гудящих машин, хмурых лиц, наглых самокатчиков...

— Эй, — одёрнул её бот.

— Точно, лазанья, — опомнилась и Васёна.

Она встрепенулась, забыв заранее разогреть печь. Оставалось дело за малым: положить пласты, залитые соусом, фаршем и прочим, и поставить печься. Полчаса ожидания — и к ужину самое то. Но духовка отказывалась включаться.

Василиса яростно покрутила ручки, включала и выключала печь, дёргала шнур — ничего. Промедление — и всё, запланированный романтик сорван. В голове ворохом пронесли варианты: вызвать мастера на час, но это нужно было долго выбирать; приятель Коля-технар не в городе, не помчится. Год назад у неё занимался проводкой Заурбек, но не звонить же ему. Ничего не придумав, хозяйюшка вышла на лестничную площадку и уставилась на электрощиток, будто решение найдётся там.

Сверху послышались шаги. Как нашкодивший котёнок, она почти рванула назад в квартиру, но зацепилась халатом за дверцу щитка. Спускался Андрей, электрик. Она знала его имя и род занятий от бабушки-соседки по этажу. И сама прежде видела его — в грязной одежде, мрачного. Таких стараешься обходить стороной. Сейчас он был в чистом, но всё так же неприветлив. И направлялся к ней. Васёна от страха дёрнулась и чуть не осталась без халата вовсе. А сосед лишь высвободил её и закрыл дверцу.

— Не оставляйте щиток открытым, — пробормотал он и двинулся дальше.

Девушка поняла, что сглупила, решив, что он домогается. В голове щёлкнуло: электрик!

— Мужчина, а вы в печках не разбираетесь? — пропищала Василиса нервно.

— Смотря в каких и зачем, — он обернулся и остановился на лестнице.

Она принялась: алкоголем от него вроде не пахло. Васёна опасалась работяг, среди которых нередко попадались алкоголики. По объявлениям в Сети чаще приходили прилично одетые, вежливые мастера, но стоило обратиться в ЖЭК за срочным ремонтом, то таких кадров присылали... Из каких был Андрей — неизвестно.

— Духовка не включается, — всё-таки продолжила она. — Посмотрите? Если не спешите.

— Не спешу.

На редкость, согласился быстро.

В прихожей Андрей снял обувь, за что Васёна мысленно поставила ему «плюсик». С причиной поломки духовки разобрался в два счёта.

— Можно заменить и проверить снова, — сказал он, указывая на провод. — У меня есть дома, могу сходить.

— Ой, это было бы отлично. Правда, у меня наличных нет, — спохватилась Василиса.

— Я оплаты за это не возьму.

— Ну что вы, — напряглась она.

— Пустяки. Так мне сходить?

Васёна нервничала, но согласилась.

Андрей обернулся за семь минут. Переодетый, с инструментами и кабелем, деловито взялся исправлять проблему.

Василиса сидела позади него и дивилась самой себе: доверилась незнакомцу, впустила домой. Вот так и происходят убийства простодушных дурочек у себя в квартире. Тихушник, странный... У неё аж оторопь по спине пошла от фантазий.

Из заполонивших голову кошмаров её вывел звук эсэмэски.

«Ерофей:

Задержусь. Целую-целую».

Его последние слова неприятно саданули, будучи неискренними. Азарт в приготовлении лазаньи тут же испарился.

— Вот и всё, — оповестил Андрей, подымаясь с колен и отряхивая брюки.

— Спасибо. Точно не нужна оплата?

— Ничего особенного я не сделал и не потратился, — чуть улыбнулся сосед. Его взгляд скользнул в сторону пельменей. Василиса оживилась.

— Угостить вас?

— Если можно, — смутился сосед.

Васёне полегчало: нормальный, стеснительный парень. Вот и пельмешки сгодились.

— Тогда мойте руки.

Он скрылся в ванной, а Василиса накрыла на стол, безжалостно выбросив заготовки в мусорное ведро, да поставила кастрюлю варить пельмени. Она даже радовалась, что проклятая лазанья не удалась. Андрей сел за стол, и Васёна с гордостью подала горяченькие, ароматные пельмешки.

Она с волнением ждала его реакции. Сосед съел один, распробовав, посмаковав.

— М-м, как у бабушки.

— А меня мама учила, — тепло улыбнулась Василиса.

— Чувствуется, душа вложена. Они в форме сердечек? Вы ждали кого-то.

Она была тронута, что он заметил и это. От сердец там почти ничего не осталось, пельмени напоминали скорее вареники, но отдельные сохранились.

— Нет, не ждала. Сердечки — это я фантазию проявила, — хмыкнула Василиса.

— Это здорово. Знаете, я в лес собирался за речкой, так, пройтись. Может, хотите тоже? — предложил он бойко. — Ой, я Андрей, кстати.

— С удовольствием пойду. Василиса, — расцвела и она.

Вечером под постом в соцсети с фотографиями зимнего леса и новой партией пельмешек Василиса собрала десятки «сердечек». И ни одного — от Ерофея, затерявшегося где-то на просторах Интернета.

Неврастения

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Прямо от крыльца клиники тянулась асфальтовая тропинка с проросшей в тёмных трещинах травой. Она огибала одно крыло здания и вела в небольшой дворик с другой стороны фасада. Это было беспорядочно уложенное бетонными плитами (часть которых уже была кем-то растащена, а часть раскрошилась от старости) пространство с несколькими скамейками и голыми, искривлёнными, точно в судорогах, тополями. Обычно здесь находились обедающие медсёстры и санитары, приезжие родственники больных, сами пациенты, занимающие почти все места, куда можно было присесть, и ещё какие-то никому не известные люди, которые менялись в лицах и количестве, но, в общем, никогда не исчезали с территории, и по одному виду которых можно было понять, что находятся они здесь не то чтобы совсем легально. Но сейчас, утром, во дворике почти никого не было. Только две или три скамейки были заняты курящими больными в пижамах и теми самыми сомнительными и непонятными людьми.

Сюда Северцев с Екатериной Дмитриевной и направились. Они сели на одну из скамеек по соседству с другой, занятой пациентами клиники. Те безразлично посмотрели на пришедших и продолжили свой тихий монотонный диалог. Медсестра усадила Северцева на тот край скамейки, который был ближе к компании больных, а сама села на противоположный, так что места между ними оставалось около метра. Екатерина облегченно вздохнула. Хоть Северцев по дороге и не опирался на неё всем весом, но был он далеко не хилым, поэтому её правый локоть почувствовал теперь значительную свободу. Чтобы не смущать мужчину, она стала смотреть куда-то в сторону. Он же, отдышавшись, с наслаждением осмотрелся. Теперь он наконец-то мог видеть дальше, чем на расстоянии противоположной стены. Ожидания, хотя и не полностью, оправдались, и Северцев почти физически почувствовал, как вместе со свежим воздухом вдыхает частицы свободы, незаменимые любому человеку настолько же, насколько незаменимы частицы кислорода в воздухе.

«Ты видишь, Варенька, видишь? Эта весна, кажется, теплее, чем прошлая. Со всем не такая, как прошлая...» — с грустной нежностью думал он.

Северцев зачем-то стал наблюдать за пациентами на соседней скамейке. Их было трое. Все они были в истертых и измятых, таких же как у него, пижамах. Все трое курили и вели заторможенный действием каких-то препаратов (это Северцев сразу понял), но довольно внятный и спокойный диалог. Скоро они заметили обращенный на них взгляд, и самый угрюмый и небритый из них, выпуская дым, глухо протянул:

— Ты чё, мужик?

Северцев не знал, что нужно ответить. Не знал, нужно ли вообще. Поэтому молчал.

— На, кури. Нам не жалко, — мерно продолжил тот и достал из нагрудного

кармана пачку, чтобы вытащить сигарету для Северцева. Но другой пациент, помоложе и поживее, который сидел на краю и находился ближе к Сергею, опередил своего товарища. Он же дал прикурить.

— Спасибо... — растерянно произнес Северцев, кивнул головой и сделал затяжку. Но кислый дым каких-то дешевых сигарет с непривычки обжег горло, и Северцев закашлялся. Он хотел сдержать кашель, но вышло ещё хуже. Сигарета выпала из дрожащих рук, обожгла кончики двух пальцев и покатилась под скамейку, оставляя за собой дорожку пепла. Пижамные курильщики с соседней скамейки обернулись и измерили Северцева недоверчивым взглядом, но затем опять отвернулись. Ему стало неловко.

«Проклятие, наверно, подумали, что я первый раз. Да и правда, закашлялся как школьник. Но это только так, только с непривычки. Я же ведь бросил... Да и хрен с ними, наплевать. Пусть себе думают, что хотят».

— Смеётесь? — обратился он уже к медсестре, глядя на неё почти с опаской.

— Нет, с чего вы взяли? — с самым серьёзным видом ответила она. Екатерина действительно не смеялась.

— Вы сегодня в хорошем настроении, — он продолжил разговор. Не сидеть же теперь просто так на разных концах скамейки.

— Нет, наоборот. У меня были отвратительные выходные. Но вас это не касается.

— Ну да... Не касается.

Они помолчали около минуты, и теперь заговорила уже Екатерина Дмитриевна:

— Вы это про то, что я к вам вот так, на «вы»? И вообще, что вот так, нормально?

— Ну да, — ответил Северцев. Он как будто ждал этого вопроса. — Я не думал, что вы так можете... По-человечески. Не ожидал.

— Я тоже не думала, что с вами по-человечески можно.

— Вы меня презираете, да? — совершенно спокойно спросил Северцев. Вообще, диалог пошёл как-то ровно. Может быть, потому, что случился вот так, на улице. А может, потому, что они друг на друга не смотрели и говорили будто бы сами себе. Оба смотрели перед собой, не поворачивая голов. Екатерина помедлила с ответом, а потом вдруг повернулась к Северцеву лицом. Он заметил это краем глаза и вздрогнул.

— Презирала. — Она как будто хотела в чем-то извиниться. Но такие люди обычно никогда не извиняются. Так что и сейчас этого не произошло. — Я думала, что вы ничтожество.

— А теперь?

— А теперь жалею.

— Вот оно что... — Северцев горько усмехнулся и тоже посмотрел ей в глаза, — И почему такая перемена? А впрочем, не надо. Простите, — оборвал он. — Если не хотите, не отвечайте. Слишком просто у нас хороший разговор пошел. Так не бывает.

— А зачем усложнять? Пошёл и пошёл. В жизни же вообще много простого, только в простоту не верят. Или не хотят верить. Или ещё что-нибудь. Но вы, наверно, не то чтобы не верите, вы обжечься боитесь, да? — в её глазах блеснул огонек обиды.

— Ну да, — сухо ответил Северцев.

— Думаете, что я зачем-то сейчас из вас тяну, а потом передумаю и посмеюсь? Так что ли? Не доверяете.

Он помедлил с ответом. Всё, что говорила Екатерина Дмитриевна, было правдой. Мужчина внимательно посмотрел ей в глаза. И даже когда (к своему великому удивлению) он не заметил там ни капли привычной насмешки, недоверие не исчезло полностью. Но одновременно с этим Северцев почувствовал, что разговор с медсестрой, обычный человеческий разговор, становится ему очень нужен. Он переместился к ней поближе, приподнимаясь на ладонях, будто бы решившись про себя на какую-то крайность.

— Да... Думаю. Но очень не хочу так думать. И не доверять не хочу. Ещё вчера мне казалось, что единственный человек во всем этом... — Северцев замялся. Он не хотел ругаться при Екатерине, но не мог быстро подобрать культурной альтернативы — во всем этом заведении — мой невролог.

— Он невропатолог, — аккуратно поправила медсестра.

— Ну да. Ну и наплевать. Я думал, что он один здесь способен на разговор. Не на больные невнятности и не на такие же тупые формальные речи, а просто на разговор. Но я вижу теперь, что ошибался. В вас я сейчас тоже очень хочу ошибаться. Видите, я человек малодушный и мнительный. Поэтому, лучше скажите, почему... Почему вы так ко мне изменились? — Сергей старался сохранить самый отстраненный и непринужденный вид, но голос его дрожал.

— Неловко про это говорить... — тихо начала она, теребя кончиками пальцев край белого халата, торчащий из-под пальто. — Но заметьте, что я с вами честно. Потому что, если женщина признается, что ей неловко, то это наверняка честно. Только... Как вас зовут, Северцев?

Он назвался.

— Я про вашу историю знаю. И знаете, Сергей Викторович... Это для меня первая такая история. Ни на что не похожая.

— Да разве? Не верю, чтобы первая, — возразил Северцев. — Тут каждый третий — неврастеник.

— Да нет, не в этом дело. Вы здесь долго, очень долго для неврастеника. Я не знала, что у вас произошло. Поэтому вам не верила. Я думала вы так, придуривайтесь непонятно для чего. Думала, вы как все. Злилась. На всех злилась, потому что здесь так положено, но на вас особенно. Особенно потому, что сами вы никогда не злитесь. Это не по правилам как-то, — Екатерина начинала путаться. Она хотела много сказать, но не знала как. — А теперь вижу, что на вас нельзя было злиться. Вас жалеть надо. Может, и их всех тоже, — она указала головой на соседнюю скамейку. Трое пациентов в пижамах всё ещё сидели и тихо о чем-то гудели, не обращая внимания на Северцева и Екатерину Дмитриевну. И всё ещё курили. — Но вас особенно. Потому что так, как вы, целый год всё терпеть, обо всем думать и носить в себе... Сколько у вас было сил... Неужели это теперь не стоит жалости? Разве не стоит, Сергей Викторович? Неужели не стоит и то, что тут для вас тоже все продолжается, вам ведь не стало легче, да? — она тяжело задышала, как бы от какого-то болезненного воспоминания. — Я сказала, что у меня были отвратительные выходные. Но я опять ошиблась. Это были лучшие два дня. Я столько всего передумала! Наверно, за всю жизнь столько не думала. Больше, конечно, в общих чертах. Но и о том, чем для вас был этот год... Знаете, я не только жалею вас, Северцев. Я вас, кажется, уважаю. И до сих пор не подумала бы, что жалость и уважение могут стоять так близко. Но могут, ещё как могут.

Сергей побледнел и тяжело дышал. Он был страшно взволнован. Близко, ох как близко эта женщина подобралась к границе того, что в слова не облечь. Мел-

кие капельки пота часто проступили у него на лбу. Он неподвижно смотрел в землю, вцепившись пальцами в край скамейки. Прошла почти целая минута, прежде чем на пылкую речь Екатерины Дмитриевны последовал ответ.

— Вы это всё от нее узнали... от матери?

— Да, от неё. Она говорила с Серафимой Паллной. Почему вы не захотели её видеть, Сергей Викторович?

— Понимаете... — он стал понемногу оживать. — Да тьфу, раз вы это знаете, то, наверное, и всё знаете. Понимаете, я не могу её видеть. Не могу видеть их всех, кто был там... Мне тяжело говорить, но я почему-то уверен, что вы поймете. Не посмеётесь, в любом случае. Понимаете, тогда, после трагедии, после того черного февраля, жизнь раскололась на две части. В старой — всё лучшее, всё дорогое, все, что было. А в новой... Поэт бы сказал «выжженная земля», «немое опустошение». Но я скажу — ни хрена. В новой ни хрена не осталось. Да это уже и не жизнь. — Северцев сморщился и тоскливо махнул рукой. — Знаете, я как будто умер в той аварии. Я не смог... И существую теперь только для того, чтобы помнить о Вареньке. Мою дочку Варварой зовут. А она... Она вошла в эту новую жизнь (поэтому я и говорю «новая»), потому что осталась жива, понимаете? Потому что, кроме неё, теперь ничего нет.

— Кажется, понимаю... — испуганно, как будто начиная осознавать что-то страшное, произнесла Екатерина Дмитриевна.

— И все, кто были в той, в старой жизни — тоже умерли. Их тоже больше никого не осталось. Вы спрашиваете, почему я не хочу видеть мать? А я не могу её видеть. Пр-р-роклятие, не могу! Вы думали, что я просто позориться своим видом перед ней не хочу? Это, конечно, тоже неприятно, но это ерунда сущая. Понимаете, все они, мать, друзья, Лена, словом... Все, кого я знал... — девушка слушала его, затаив дыхание и жадно ловила каждое слово. Глубокое сострадание, с непривычки больно прорезающее себе путь через легкие и потом — через горло болезненным спазмом, пробуждалось в ней. Но вместе с тем, она как будто ждала, что Северцев скажет что-то главное, что-то непохожее на все его остальные слова. И этого «чего-то» она боялась, не в силах объяснить себе, почему. Оба они ходили по какому-то невидимому краю.

— Все они — свидетели моей трагедии. Потому что все они всё знают. Я смотрел им в глаза и не видел там ничего, кроме свидетельства об этой аварии. Я говорил с ними, но все наши разговоры были только прикрытием той мысли, которая была в их и в моей головах на самом деле. Я встречался с ними, но все наши встречи были одним напоминанием о том, что произошло. Я стал для них только тем, кто не справился с управлением на трассе, тем, кто похоронил Варю и тем, кто все разрушил. О нет, они не обвиняли меня. Нет... Они просто смотрели. И просто думали. А я это чувствовал. И не видел в них никого, кроме свидетелей. Я порвал все связи и общался в последнее время только с матерью. (Это ведь мать, с ней нельзя не общаться.) Потому, что это было уже бессмысленно и невыносимо. И у меня осталась только Варенька. Да, по правде, больше мне никого и не надо.

Северцев остановился. От волнения у него разболелась голова, но он старался это игнорировать. Екатерина, напротив, казалась теперь спокойней. Только темные сдвинутые брови выдавали ее переживания. Она не знала, что сказать. Поэтому колебалась. Троица с соседней скамейки уже удалилась, и они с Северцевым остались одни. Только далеко позади, у самой стены здания, смешиваясь с утренней тенью, мелькали чьи-то фигуры.

— Я поняла, что вы хотели сказать, — наконец выговорила женщина. — Только... Варя... Она ведь тогда тоже... Тоже живое напоминание о том, за что вы так дико, так нещадно себя вините, да? — Северцев сжал зубы, как будто его больно полоснули ножом. — Разница лишь в том, что её вы захотели взять в новую жизнь. Вы не всё рассказали, Сергей Викторович. Ну, о чём вы думаете, когда ваша дочь посещает ваши мысли, а? Хотя, можете не говорить, — потупилась она. — Это, в конце концов, не моё дело. Простите, если грубо. И простите, если ошибаюсь.

«О том, что я не справился, и что я не смог её спасти. О том, что потерял контроль над управлением, над жизнью, её и своей, а теперь мне не подвластно даже собственное тело. О том, что я стал ничтожеством... — думал он, и липкий, клокочущий страх заполнял его сердце. Руки Северцева похолодели и задрожали с новой силой. — Не подвластно...»

Он смотрел на Екатерину Дмитриевну широко открытыми глазами. Глазами утопающего, умоляющего о помощи. Северцев тонул во внезапном осознании дела, в совершенно новом, истинном взгляде, в понимании себя. Он уже не отрицал, хотя и по-прежнему не хотел верить тому, что ему теперь открылось. Не хотел принимать сути своей трагедии такой, какой она была на самом деле. Не хотел признать, почему ни разу не был на могиле дочери с самых похорон, но почему так настойчиво оживлял её в своих мыслях, почему, наконец, так рвался сюда, на улицу. Ведь признаться в этом себе означало остановиться, оглянуться и посмотреть в самого себя. О, больше всего на свете человек боится оглянуться на себя! Боится, потому что понимает, что может увидеть там то, что заставит его корчиться в невыносимых муках до конца жизни. То, чего потом он уже никогда не развидит.

Северцев молчал. Он не хотел понимать, что его трагедия была не болью по Вареньке, не отчаянием по утрате прежней жизни, не скорбью по смерти любимого существа. Это было леденящее душу понимание потери контроля. Понимание того, что над ним есть еще высшая сила, способная отнять всё. Даже теперь, когда многое уже отнято. Что он боится даже, когда бояться, кажется, больше нечего. Понимание собственной слабости.

«Она права...» — с ужасом подумал Сергей.

Страх разросся в нём настолько, что уже всю лез наружу через глаза. Екатерина заметила это и взяла мужчину за руку. Он вздрогнул.

— Знаете... — глухо, как мертвец, прошептал Северцев. — В день, когда меня забрали в больницу... Я... — он говорил сбивчиво, почти задыхаясь. — Я помню, уронил портфель. Уронил на землю, ну... На асфальт. И знаете, я почувствовал, как вместе с этим портфелем у меня из рук ускользнуло всё, что раньше я в них держал. Как всё рухнуло и стало мне неподконтрольным. Нет, ускользнуло оно, конечно, давно. Но этот день, по-видимому, стал последней каплей. Он показал мне, что у меня больше нет сил и воли держать что-то в своих руках. Тогда я всё это понял. А потом... Потом был срыв. И обморок. Знаете, что самое страшное в обмороке?

— Что? — с тревогой во взгляде спрашивала медсестра. Она начинала всерьез волноваться за Северцева. Он слишком нервничал, а это было совсем не нужно.

— Самое страшное в обмороке — это последняя секунда перед ним. Последний импульс сознания. Последнее шевеление мысли перед тем, как исчезает контроль над разумом и всё проваливается в темноту. Потому что эта самая последняя мысль перед тем, как потерять сознание, и есть ужасное, паническое понима-

ние того, что ты одной ногой уже где-то там, в небытии, и что не имеешь сил ему противостоять. Летишь в неизвестность по какой-то фатальной инерции. Падаешь в темноту и все ещё это понимаешь. Я сейчас очень часто теряю сознание. И каждый раз очень боюсь. Ничего не могу с собой поделать... А тогда был мой первый обморок. Вот мать и испугалась.

Он закончил говорить, и Екатерина Дмитриевна сжала его руку. Они не заметили, как оказались совсем близко друг к другу, оба переместившись на середину скамейки. Снова запахло сигаретным дымом. На месте прежних троих пациентов сидел новый курильщик, устремив взгляд куда-то в пустоту. Не то, чтобы он прислушивался, но Сергей с Екатериной переглянулись и стали говорить тише.

— Теперь хуже понимаю, но очень хочу вам верить. Я сама никогда в обмороки не падала, — она наклонила голову и снова стала гладить пальцами край халата, из которого уже вылезло несколько белоснежных ниток. — Знаете что, Северцев? Вот вы всё говорите, что вам не хватало человеческого разговора. Но ещё ведь неизвестно, кому из нас двоих был нужен этот сегодняшний разговор.

Она твердо посмотрела ему в глаза. А по его лицу скользнула неосознанная улыбка. Улыбка одними только губами. Северцев открыл рот, чтобы ответить, но сказал как будто не то, или не совсем то, что хотел.

— Почему мы с вами разговариваем, как в последний раз? — сказанное вырвалось как-то из ниоткуда, само собой.

— Не знаю... — растерянно улыбнулась медсестра, но тут же прижала палец к вновь раскрывшейся ранке на губе. Когда она улыбалась, ранка рвалась и кровоточила.

— Что с вами? — наконец спросил Северцев.

— Вы про это? — она обвела в воздухе овал своего лица. — Так, ерунда. Уже совсем ерунда. Скажите лучше... Как вы себя чувствуете? Всё нормально? Мне показалось, вы устали, а вам же нервничать ни к чему.

Северцев поморщился. Ему не понравился вопрос Екатерины Дмитриевны, вернувший его в больничную реальность. Некоторое время они посидели молча, созерцая живое пространство улицы. Двое находились уже совсем вплотную друг к другу.

— Спасибо, что помогли. Ну... Выйти сюда, — прервав молчание, проговорил Северцев.

— Мне кажется, я ещё буду обдумывать каждое ваше слово, — не совсем к месту ответила медсестра.

— Да перестаньте... Бред неврастеника. Не нужно ничего обдумывать.

— А я всё-таки буду.

— Ну как хотите. Кстати... Ничего, что мы с вами так сидим? Из ваших там никто не наблюдает?

Сначала Екатерина не поняла, что он имел в виду, но поняв, тут же опять улыбнулась.

— Не бойтесь, никто. Хотя вы и правы, у нас... Это не любят.

— Да у вас вообще, как в тюрьме.

— Вы были в тюрьме?

— Нет. Я так... Образно.

— Но вы опять почти правы. Видите, как это работает... Если не будете пинать больных, вас перестанут уважать и уже самих начнут пинать. Реабилитироваться навряд ли получится. Короче, чем больше унижаете, тем авторитетней ста-

новитесь. А это и правда... Как в тюрьме, — она говорила с грустной, виноватой улыбкой, будто стыдилась своих слов.

— Но это же бред. Бред и самодурство.

— Это не я придумала. Здесь так уже было. Мне иногда вообще кажется, что это сами стены заставляют всех так поступать. Что это не человеческая выдумка, а здешняя, больничная. Кажется, что здесь всегда было такое правило. Все ему подчиняются и никто не задумывается. Есть врачи, есть больные. Одни бьют, другие терпят. Понимаете? Это система, вырваться из которой ни у кого не находится сил. Да это, по правде говоря, и бессмысленно. Если вы не часть системы, то вы её аппендикс.

— Понимаю. Еще понимаю, что вы романтик. Если про стены так говорите, — слабо улыбнулся Северцев.

— Да вы посмотрите на них, — Екатерина Дмитриевна кротко усмехнулась, оглянувшись через плечо и заговорщицки указала на мрачную стену больницы. Унылая кирпичная стена равнодушным пятном темнела на фоне апрельского неба. Сергей тоже обернулся. — Ну как? В таких стенах по-другому и не получится. Да и вообще... Вот сейчас пойдем обратно и если кто-то из наших попадетсЯ, то я на вас кричать буду. А ещё раз про романтику скажете — так вообще ударю, — она в шутку нахмурилась.

— Ладно, ладно. Я даже подыграю. Только вы после этого не говорите, что не как в тюрьме. Только... Почему вы здесь, Екатерина Дмитриевна? — неожиданно серьезно спросил Северцев. — Если вы всё это понимаете? Почему?..

— Всё не так просто, Сергей Викторович, — голос её дрогнул. — Да мне и выбирать особо не приходилось. Учеба не то, чтобы давалась... Хотя во многом я, конечно, и сама виновата. Да и других проблем было по горло. Короче, колледж еле закончила, пару раз даже чуть не вылетела. Мне только здесь работа и нашлась. Я когда заканчивала, выпускникам уже ничего не предлагали, пришлось самим искать. Нет, кто-то, конечно, выкрутился, даже многие. В городе почти никого с курса не осталось. Разъехались. Я здесь всего год работаю. Но уже вижу, что ничего, кажется, не изменится. А всё стены... — с горечью развела руками Екатерина.

— Грустная история. Вроде, самая обыкновенная, а всё-таки грустная.

— Конечно, обыкновенная. Вы думаете, всем остальным здесь нравится? Нет, Горелов и прочее начальство, конечно, не в счет, — при этой фамилии Сергей вздрогнул. Он вспомнил, что Горелов всё ещё рядом и всё ещё ждет его. На минуту глубокое отчаяние захлестнуло его. Но только на минуту. Северцев решил по возможности не думать о нем и, по возможности, внимательно слушать свою собеседницу. — И это не хуже всего. Вот у тех, кто в нашем закрытом отделении работают, я там была один раз, такого врагу не пожелаешь — вот там совсем другие истории.

— Психиатрическое? Это про которое страшилки рассказывают?

— Ну да, оно... Я тоже думала, что это все только страшилки, пока не увидела. Меня туда как-то раз ещё в начале работы отправляли. Вот там настоящая тюрьма и даже хуже. Знаете, туда стекаются как будто все, кого жизнь обидела. Так вот, там они на больных всю свою обиду и выливают. Там всё равно, санитар ты, медсестра, доктор... Там другая иерархия. Есть сотрудник, а есть сумасшедший. Причем не все «сумасшедшие» такие уж невменяемые. Закрытое отделение тоже под Гореловым. Он его сам открыл, когда здесь главврачом стал. Самых невменяемых — всех туда. Он туда и сам часто ездит. По работе ему без надобности, а

так... Не знаю, зачем, — она тяжело вздохнула и поежилась. — Так что мне ещё повезло. Ну, а вы? Вы чем занимались?

— По образованию филолог. Сначала у нас в университете преподавал, недолго правда, полгода всего. А потом, в последний год, какому-то графоману статьи редактировал. Он чепуху писал несусветную, но платил неплохо.

— По вам, кстати, можно было и догадаться. Вы на интеллигента похожи.

— Да?

— Да... Ещё у вас речь такая... Чистая, ну. Вас приятно слушать, Сергей Викторович.

— Зато про себя я ругаюсь много, — признался Северцев.

— Да и ладно. Обратная сторона у всего есть.

Была уже половина первого, и погода несколько изменилась. Солнце поднялось из-за кирпичной стены, отчего та стала ещё темнее, и теперь ласково грело макушки сидящих во дворике. Но несмотря на то, что стало теплее, ветер усилился и шумно свистел между черными тополями.

— Сергей Викторович... Пора идти, — с грустью сказала медсестра. — Обед скоро. Хватиться могут. И меня, и вас.

— Да... Да, конечно. Идёмте, — ответил Северцев. Но уходить не хотелось. Не хотелось возвращаться в унылую, мёртвую палату с облезлыми стенами и несвежим бельем на постели. Не хотелось видеть измученные лица больных и ловить на себе взгляды медиков. Не хотелось слушать бесконечные крики и вдыхать лекарства и хлорку. Но Северцев пересилил себя и встал со скамейки, снова оперевшись на локоть Екатерины Дмитриевны. Но теперь он старался быть осторожной.

ИЛЬЯ ПОДКОВЕНКО

г. Иркутск
3-е место в номинации «Проза»

Птичий язык

РАССКАЗ

Воскликнуши сыновья Мстислава, воспротивися доли лихой. Простети длани к небесам, завопя. Но не заличится тако раздряга. Падоша наземь брата, а врази их казиши перстом в них, и смеяхося, и поразиши сердца их копыями булатными, и ложися в землю сынови Мстислава, и спаши крепко до весны.

Тятя Лучезар, ну не говорят же так уже.

И что, что не говорят, Никодим? Деда наши так говорили. И нам следует. В русской речи великая сила.

Но язык же другой стал. А деда наши на полян войной ходили, а теперь там наш князь правит.

В том-то и дело, Никодим. Меняется время, войны проходят, года, младенцы становятся мужчинами, старцами, седеют и умирают. А язык — это то, что нас объединяет, что помыслы наши к Богу возносит.

Ну непонятно же, что говоришь.

Не ври, я тебе эту сказку много раз рассказывал. И вообще, не нравится — плыть будем без сказок.

Маленький Никодим тяжело вздохнул. Ну не говорят так сейчас! Так зачем же самим себя мучить?

Тятя его могучий. Никодим гордился. По молодости с князем на юг ходил, римлян бил. Захватили они город чудный, Корсунь, или же Херсонес. А перед тем вместе с римским императором сражались со злодеем, попытавшимся власть захватить. Злодей тот в своё войско одноглазых чудовищ собрал, и полулюдей-полулошадей. Князь и битву начал, со всех сил копьё метнув, и попав им в глаз самого большого и страшного чудовища. Тот упал замертво, и все ринулись в бой. Лучезар силён был, в одном из боёв окружили его недруги, так он семерых римлян побил и к своим пробился. Никодим гордился отцом, как не гордиться, если он и князя видел, и императора римского, и среди первых святое крещение принял? С тех пор тятю Петром звали, но то на юге. Здесь же, среди могучих и суровых поморов, звали его первым именем, Лучезар. И Никодиму так больше нравилось. Переливается имя, сила от него исходит, будто солнышко поднимается. А Петр — что-то приземистое, твёрдое, глыба будто какая.

Маму Никодим не помнил. В один из годов варяги восстали, не хотели в Царьград плыть, в гвардию к императору римскому. Восстали и разграбили их город, а потом князь с дружиной пришёл и их побил. Но маму папин товарищ, остававшийся в городе, спасти не смог. Только самого Никодима.

После той битвы Лучезар с сыном отправился на север, в свои родные земли. И меч в руки отец больше не брал, рыбачил, торговал.

Рыбы было много. Десять прекрасных кораблей двигались, словно боевые юноши. Прямо, уверенно, красиво. Никодиму нравилось всё красивое, и его очень расстраивало всё безобразное.

За Камень бы не переплывать, Лучезар.

Знаю, Ярополк. Но успокой команду. Дойдём до Язгиного Носа, отдохнём, да обратно поплывём.

Лучезар командовал всеми кораблями, а Никодим впервые вышел с отцом в море так далеко. И чувствовал себя совсем взрослым. Скоро его начнут учить сражаться, крёстный обещал на десятое лето подарить копьё.

Язгин Нос врывался высоко в небо. Огромный камень походил на щепоть пальцев, или очень длинный и некрасивый нос. Он возвышался посреди высокого холма, недалеко от которого начинался лес. Шли до Язгина Носа недолго, до кораблей было рукой подать.

Взрослые шептались, что недавно на рыбаков напало местное племя. А кто-то сказал, что не местные то были, а люди с соболиными головами, пришедшие из-за Камня. И рыбаков погрызли. Тришка, единственный сбежавший, весь в укусах вернулся.

Никодим подумал, что это всё из-за Носа. Был бы Язгин Нос красивым, люди с соболиными головами бы не стали нападать. А так подумали, что-то не то. Мальчик грозно посмотрел на камень.

Моряки, пропахшие солью и рыбой, разожгли костры. Никодим им помогал, а потом вместе со всеми пошёл рубить еловые ветки. Ими заложили землю, сверху постелили одеяла.

Ночь будет холодной, небо чистое.

Одноглазый моряк говорил с горечью. Блики костра плясали в его морщинах, клоках седых волос, в бороде и глазах, открывая битвы прошлого, горечь утрат и труды старости. Многое из того, что увидел Никодим, ещё не произошло. Но и он, и старик будто бы обо всём уже знали.

Тятя, а почему ты не женился больше?

До крещения у меня было много жён. И в том большой грех. Но любил я только твою мать. И она тебя очень любила, Никодим.

А что такое любовь? Я вроде тебя люблю, но...

Знаешь, в нашем языке только это слово используется. А у греков, которые подданные римского императора, да и сам он из греков, к слову... У греков, говорю, много слов есть. И каждое разную любовь показывает. Одно про любовь к Богу. Другое — к детям. Третье означает любовь мужчины и женщины.

Как интересно.

Ты про какую спрашиваешь?

Ну... Ну ведь это всё любовь, так?

Так.

Вот про неё и спрашиваю!

Лучезар рассмеялся своим переливистым смехом. В его глазах цвета хмурого моря отразилось чистое небо, они стали голубыми-голубыми. Очень красиво, особенно с его золотыми волосами. Никодим унаследовал от отца и цвет волос, и глаза, чему очень радовался. А вот у Ярополка землистые глаза, его отец с юга. Тоже красивые, но море совсем не напоминают. Скорее пашню.

Любовь, это когда получается что-то новое. Когда от тёплого и светлого чувства рождается что-то небывалое, чего на свете не было. Так Бог создал этот мир, такой тёплый и прекрасный.

Но зимой же холодно. И злые варяги убили маму...

Зимой холодно, но красиво. А другой варяг спас твоего папу, дважды. И второй раз потерял три пальца, прикрыв меня.

Как его звали?

Хельг.

Бабушку князя похоже звали.

Да, Хельга. Или Ольга.

Ольга красивее звучит.

Принесли подстреленную дичь, это Лучезар распорядился — рыбой и так целый месяц питались, из двух стоянок только на одной удалось поохотиться. Берега в основном голые, необжитые дичью. А в лесах раздолье.

Тятя, а если Бог из любви мир сделал, почему так много страданий?

Потому что мы по Его заповедям жить не хотим. Когда я расставался со своими жёнами, они очень страдали. Они меня любили, а я их нет. Они были красивыми, я к ним был привязан. Но любви меня научила твоя мать.

Знать бы кто убил маму...

Это неважно. Мы всех убили, сын. Не мсти никому за неё. Это моё проклятие, не твоё.

Никодим насупился.

Ночь окончательно заявила о своих правах, когда мальчик уже спал. Его разбудили странные, необычайной красоты звуки. Протирая глаза, он выбрался из-под одеяла, подпоясался и пошёл на... голос? Люди так не говорят, но он разобрал слова. Они тянулись, переливались, сочетание звуков в словах было необычно

стройным и подходящим друг к другу. Было так красиво, что захотелось плакать. Никодим шмыгнул носом и перешёл на бег.

Совсем скоро он оказался в чаще. Бежал, бежал, дыхание сбивалось, но он не останавливался, пока не оказался среди освещённой поляны. Пришлось зажмуриться, а потом он увидел.

Чудесное диво порхало на фоне огромного дуба. Изящное тело белоснежной птицы заканчивалось головой прекрасной женщины. Та говорила с ним. Тянула гласные, играла, словно камушком, громкостью и тонкостью звуков. Никодим прикинул, что размером полуптица не меньше его самого. Большая.

Что ты делаешь?

Говорю.

Как это называется?

Это называется песня.

Кто ты?

Я? Гамаюн. Из птичьего народа.

Почему ты так странно говоришь?

Откуда я родом, все так говорят. У вас так не принято, но мне наказали вас этому научить.

А откуда ты родом?

Далеко отсюда.

Из-за Камня?

Птица засмеялась тысячью ручейков.

Да, оттуда тоже.

А как называется твоя страна?

Из-за Камня? Твои потомки будут звать её Сибирь.

Красиво.

Попробуй петь, я научу.

И Гамаюн научила. Подлетела, махнула крыльями. Поток воздуха коснулся глаз мальчика. Она клюнула его в ухо, и раздался страшный звон. Когтями залезла к нему в рот и впилась в язык. Вначале горло прожгло огнём, и Никодим чуть не заплакал. Вторая лапа ударила в грудь, в место, где бьётся сердце. Шум прошёл, боль исчезла. Осталось тепло и какое-то сладко-вязкое чувство, будто съел целый ковш мёда.

Беги домой, мальчик. И до тридцати трёх лет не пой, иначе случится беда.

Никодим пообещал птице не петь и побежал до рыбаков. Те крепко спали, никто ничего не заметил.

Но мальчик не справился с обещанием.

Он рос, креп, научился руками гнуть подковы и стал одним из лучших бойцов на кулаках Новгорода. Его отец старился, уменьшался, но продолжал водить лодки в море, ловить рыбу и гонять людей с соболиными головами.

Никодим перебрался в великий торговый город и через какое-то время тоже начал водить корабли в море. Он бранился с немецкими купцами, втридорога продавал меха французам и стращал диких литовцев. А потом случилось что-то такое, что заставило вспомнить дивный вечер из детства. И не тот момент, когда он научился петь, а разговор с отцом перед этим.

Василиса, с цветом глаз под стать имени, очаровала молодого Никодима. Они встретились в порту. Незнакомка прибыла из южных земель, на которых разразилась война. Дикари из Степи пошли войной на южные княжества, ей удалось

бежать вначале в Грецию, а оттуда, через всю Европу, она доплыла до Новгорода. Никодим раздавал команды грузчикам, сверял списки снеди для команды и товаров на продажу. Девушка потеряно бродила по пристани. Черная, потертая юбка в пол. Красивая рубашка, которую носили женщины у германцев. Финский платок. И бездомные глаза, в которых терялось небо.

Никодим подошёл к беглянке. Расспросил. Предложил помощь.

Вообще никого нет в Новгороде?

Никого. Семью мою кочевники побили.

А ты?

Меня в невольницы взяли. Только из города вышли, княжеская дружина обрушилась на степняков. Освободить освободили, да бросили. Вот и бежала я на кораблях.

Девушка оказалась с опытом домоуправления. Её легко получилось пристроить к одному дельцу, очень скоро она стала у него руководить всеми служанками. Делец был человеком честным, и Никодим, уходя в очередное плавание, не беспокоился.

Он полюбил девушку, в его груди что-то ныло при расставании и цвело при встрече. Она улыбалась ему и позволяла себя обнимать. Они часто сбегали за стены Новгорода в небольшие деревушки или леса. Бродили, шутили. Василиса рассказывала про жаркие лета на юге, про грозных кочевников с раскосыми глазами. Про греков и южных князей. Удалых, храбрых, любящих войну и праздник победы. Никодим рассказывал, как устроен Новгород, с кем дружить, кого опасаться. Как ловили воров в порту, как его один плут ножом порезал, как видел бой варягов с французами.

Часто говорили о море. Никодим — про суровые северные моря, про поморов. Василиса качала возлюбленного на волнах-рассказах про южные моря.

Уходы Никодима в море стали горем для обоих.

Будь осторожен. Я буду молиться.

Новгород таит не меньше опасностей, чем море. Я тоскую из-за того, что не смогу тебя видеть, слышать твой голос.

А я по твоим объятьям. Скажи мне что-нибудь такое, чтобы... Чтобы не скучала так сильно.

Они сидели на каменистом, диком берегу. Одни. Завтра утром корабль отправится в дальнейшее плавание, к меднокожим жителям Иберии. У тех было много пряностей и прекрасных коней. А ещё кривые кинжалы, и флаги с полумесяцем. Так далеко Никодим ещё не водил корабли. Но торговец, который устраивал походы, был уверен в успехе.

В тот вечер Никодим запел. На случай, если больше не вернётся. Василиса плакала и прижималась к его груди, ничего подобного она никогда не слышала. Через девять месяцев у них родился ребёнок, но Никодим об этом не узнал.

Бесовским наречием называли его пение. Дряхлый старик, которого все считали волхвом, восстал на Никодима, добился княжеского суда. Мерзавец проследил за влюблёнными. Хотел в блюде обвинить, но то, что произошло, значило для суда куда больше. Любимец города гордо отвечал на все обвинения, но, когда стали угрожать пытками Василисы, запел.

Его бросили в темницу, пытали. Его медового цвета волосы поблекли, глаза чистого летнего неба покрывала осень. В конце концов, он поклялся не петь. И его милостиво отпустили.

Наказали ходить в храм и помалкивать. Однако, во время суда, весь город услышал чудесные звуки. Ему сулили деньги, ковры, дворцы и дочерей, лишь бы тот пел. Но шрамы от пыток и ночные кошмары делали все попытки уломать Никодима бессмысленными.

Василиса исчезла. Ничего не оставила, никакой весточки не передала. Попытки показались не такими страшными на фоне той боли, что он испытал. Скорее всего оттого, что прошло время, и нож палача остался пятном в памяти. А исчезновение Василисы происходило в реальности, здесь и сейчас. Не могли же её убить? Он бы знал. Знакомые улицы великого города показались чужими и враждебными. Мёд горчил, морской ветер продувал лёгкие насквозь. Корабль, ушедший к иберийцам, не вернулся. Торговец разорился и бросился в море. Дурака еле выловили и отправили в монастырь замаливать грех.

Никодим уехал в селение к отцу. Тот встретил его с радостью, но чувствовал боль сына. Надорванный взгляд напомнил ему самому те страшные дни, когда он страдал по убитой жене. Лучезар не полез к сыну с расспросами. И так всё понял. Женщина. Что тут объяснять?

Сын стал хорошим подспорьем отцу и всему селению. Молчаливый, упёртый в труде, не боящийся рисковать — что ещё нужно для работы в море?

Лучезар по весне захворал, его лёгкие перестали дышать.

Никодим остался совсем один. Долго бродил по родным лесам, выходил с рыбаками в море, месяцами молился в монастыре в ближайшей пустыни. Там принялись строить стены вокруг храмов. Никодиму дали послушание обтёсывать камни. Он взял обет молчания на год. Работал и молчал. Молчал и работал. А внутри у него все пульсировало свежей, яркой кровью, кровью боли, что просилась наружу. Вспомнился наказ Гамаюн, запретившей ему петь. Вот всё и случилось так, как случилось. Не дождался тридцати трёх. Нежность ум смутила.

Где же его Василиса?

Так, в труде, молчании и молитве, прошёл год. Потом ему исполнилось двадцать восемь лет. Стены монастыря росли, камни с каждым разом становились всё ровнее. Он научился их укладывать так, чтобы никакой ветер, или даже чудовище, вышедшее из морского чрева, не пошатнуло стену.

Свой день рождения Никодим справлял в молельной комнате, высеченной в пещере под монастырём. Молился за душу отца и матери, за потерявшуюся в море команду, за то, чтобы Василиса была жива и счастлива. Выходя из комнаты, встретил грозного монаха.

Здравствуй, Никодим.

Здравствуйте, отче.

Хмур ты. Тоскует сердце.

Тоскует.

Слышал притчу о талантах?

Слышал.

Монах кивнул и ушёл. Из него слова лишнего вытащить нельзя было. Имениник всю ночь пролежал в раздумьях, а наутро ушёл в Новгород.

Бурный город грозно дышал, раскатисто бранился и остро смеялся тысячами глоток. После тишины скита, Новгород казался адским чревом. Никодим знал, что это не так. Что голоса принадлежат людям, а не демонам. Но ни один из жителей города не умел петь. Кроме одного.

Никодим вышел на главную площадь. Сколько кулачных боёв он здесь выи-

грал? Сколько сделок заключил возле палаток торговцев? Один раз его стукнули так, что три недели с постели не вставал. То был Алексей Кульба, его соперник. Думал, выиграет от хитрости, вперёд товар немцам продаст, а его корабль и потонул через день, едва в море вышел. Штормом на финские скалы отнесло.

Да, долго себя Никодим считал счастливым. А теперь вот так.

Люд честной! Весть добрую принёс я вам! Дар в нас есть, язык сладопевчий! Язык птичьего народа!

Сама собой полилась песня, которую он сочинил Василисе. Васильковые её глаза навеки вечные сохранились на устах новгородцев, ибо песня Никодима в гладь морскую не канет до скончания веков. Много ли чудес на земле? Много ли утешения мученикам?

Потом он запел для рыбаков. Про ветры дикие, про волны хитрые, про беса морского, что норовит утащить в пучину. И рыбаки подхватили его пение. Позже, что-то из той песни переделали под себя моряки.

А третьей песней он воспел красоту земли славянской. Поля златогривые, чащобы тёмно-прелые, моря живородящие. Могилы отцов и мужество воинов. Красоту жён и невинность девиц. Тёплую ласку матерей и суровую ласку отцов. И небо, конечно же, небо! Небо славян!

Три песни, всего три песни прозвучали тогда на главной площади города. Обомлели новгородцы, даже стражи не сразу поняли, что делать надо.

Пытали люто. В колдовстве обвинить пытались. Тело, а за ним и помыслы очистить. Ничего не помогало, всё ту же историю из детства рассказывал Никодим, под ножом за щипцами песни распевал. Палач плакал, а дело своё страшное продолжал. Вскоре суд придумал, как решить проблему. Чтобы и милостиво было, и желание бесовским наречием говорить отпало.

Хороший же парень ты был, Никодимушка. Моряк опытный, торговец, забияка. Что ж с силой нечистой решил повязаться.

Разве ж нечисть могла бы меня такой красоте научить?

Что красиво, а что нет, не нам решать.

На площади Никодиму зачитали приговор. Толпа стояла, охала. Жёны затыкали мужей, готовых начать петь, чтобы поддержать Никодима. Но напрасных жертв не случилось. Только певцу публично отрезали язык.

Бросили за стены города.

Приказали забыть.

Народ и рад бы забыть, но не песни, песни помнили. Носили под языком, шептали друг дружке, с маловерными германцами делились. Но те ни про какой птичий народ слышать не хотели, говорили, что это эльфы к новгородцам приходили. Те отвечали, что какие эльфы, если Никодим был их старый знакомец, сосед, помор? С половиной города на кулаках дрался, с другой в море ходил! А как выглядел ваш Никодим? Вот так выглядел, описывали подробно новгородцы преступника. Мы же говорим, кричали германцы, эльф это! Вылитый эльф!

И пели. Уходя в моря, отправляясь на войну, среди Альп и в шахтах германцы пели. Красота в том была и что-то такое, что не подчинялось логике, не вписывалось в понятный мир. А оттого германцев к песням и тянуло.

Никодим же продолжал петь, но его никто не понимал. Да и Гамаюн бы не поняла. Слов больше он произнести не мог, только протяжные звуки. На звуки те к нему звери подходили, ластились, будто старого знакомого видели. Часто подлетали птицы, подпевали.

Он много лет тосковал и думал. Компания зверей это хорошо, но для людей он стал что прокажённый. Жил побираясь, зимой находил пещеры, разводил костёр. Питался рыбой (та не подпевала) да овощами какими. Ну и что подадут.

Вспомнился разговор с отцом. Что не говорят так уже. Вот он теперь никак говорить не мог. Или мог? Что бы такое придумать?

Думал он, думал годами, да и взял сук древесный. И высек чудной инструмент, назвал про себя дудочкой. И дудочка запела, стоило в неё начать дуть, да дырочки пальцами закрывать. Пришёл он в Новгород петь на дудочке. Опять схватили Никодима, опять пытали. Думали, как бы милостиво поступить, но чтобы по справедливости. Отрезали указательные и средние пальцы.

Он в ответ придумал гусли. Псковские умельцы уже сами несколько струн добавили, да в Муром пошли, подальше от боязливого князя. Не может дьявол сотворить такую красоту, он враг всего прекрасного! А князь и отвечал, что и красотой враг рода человеческого в свои сети людей ловит. Но псковичи не верили, ушли.

Тогда Никодима опять схватили. Гусли, как и дудки, спалили. Оставили совсем без пальцев. Раны прижигали огнём. Что не казнили — Никодим не знал. То князь ведал, богобоязненный и человеколюбивый.

Тридцать лет минуло со дня рождения Никодима. Благо, разрешили в городе остаться и люди добрые подкармливали. Кто-то петь просил тихонечко, за это позволяли перезимовать. Так и жил.

Потом он стал плохо видеть, его глаза застилала зима. Но голос, его лёгкие, всё так же были сильны. В городе не развернуться, и он уходил в лес. Пел медведям и кабанам, пел лебедям и уткам, пел всем животным. Потому что сородичи его боялись и мучили. А животным слова были не нужны, они шли на красоту.

Может, и лебеди петь умеют, но молчат? Когда-то спели при людях, а те им крылья поотрезали?

Забрёл горбатый Никодим к кожевнику. Тот подал ему монету. Дорогую монету, персидскую. Бродяга поклонился кожевнику, но о чём-то задумался. Стащил ночью кусок выделанной кожи, ремешки, нашёл поломанный ковш без дна.

На следующий день подозвал мальчика бойкого, показал монету, кивнул на украденное. Начал мычать, подсказывать, что куда приладить. Парень пыхтел, ругался, но справился. Никодим отдал ему монетку и пошёл на главную площадь. Ждал вечера, последнего часа до закрытия прилавков, когда народа особенно много.

Что это? Дивились люди. Ба-а-бам, отвечал Никодим, которого давно стали считать юродивым. Так и прозвали чудной инструмент — барабан. Военные быстро смекнули, что под него ходить удобно нога в ногу, и ушли чужь усмирять.

Никодима бросили в темницу. Князь разводил руками, епископ перед иконами челом бил, писари отправляли вести в соседние княжества. Все думали, что же делать с Никодимом?

А тот встретил свои тридцать три года. Под замком, на земляном полу, с малым окошечком под самым потолком, через которое едва видно небо и улицу. Впервые заплакал после смерти отца. Камера ему подпевала каплями с потолка, скрипом цепей. Мать сыра земля подпевала стонами. Казалось, звёзды хотели петь, но их не слышать, таких маленьких.

На утро его дня рождения, возле темницы собралось много людей. Ждали князя киевского с его дружиной. А с ним и митрополит ехал. И святые земли русской. И множество учёных мужей, да другого княжеского люда. Вплоть до скоморохов.

Помни, Никодимушка, ты родился, когда солнце стояло в зените. Так же дари свет и тепло людям. И будешь ты счастлив и отблагодарен Богом.

Весной находить полдень было проще всего. Небо чистое, тени упитанные. И вот, когда ему стало ровно тридцать три, он запел.

Знал ли Никодим, что в это время возле него проходил князь киевский? Что митрополит перекрестился? Что блаженный пал на землю и вознёс молитвы Господу?

Все диву стали дивиться, а блаженный и говорит, что ангелов услышал. Как так, ангелов? А вот так. Будучи младенцем, блаженный на небеса вознёсся и слышал ангелов. И они говорили так же, как сейчас все слышали.

То не говор, воскликнули рыбаки, то пение. Нас Никодим научил. Что за Никодим? — властно спросил князь киевский, предок славных царей московских.

Побежали дружинники в темницу, доставать Никодима, а того след простыл. Только рубище осталось, да чашка, из которой он воду пил.

Рыбаки священников петь научили, те стали Бога ангельским языком славить.

А Никодим проснулся здоровым. Спина прямая, пальцы на месте, языком пощёлкал. Почему-то он знал, что его глаза снова ярко-синие, а волосы золотистые. Он шёл на Восток, откуда лился тёплый свет и пение тысяч птиц. И где-то там его ждала прекрасная Гамаюн. С его отцом и матерью.

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ

г. Иркутск

Участник литературной конференции
«Молодость. Творчество. Современность»

Мои друзья тараканы

(Записки энтомолога)

Таракан на ладошке

Но лишена обмана
Волшебная структура таракана.
О, тараканьи растопыренные ножки, которых шесть!
Они о чём-то говорят, они по воздуху каракулями пишут,
Их очертания полны значения тайного...

Н.М. Олейников, «Служение науке»

1996 год. Выставка животных была размещена в небольшой комнате на первом этаже одной из иркутских школ, сразу напротив выхода из здания. Стекланные террариумы и аквариумы были идеально встроены в стойки — стеллажи, подобные тем, какие используют в зоомагазинах. Стойки с террариумами были расставлены по периметру вдоль стен, некоторые из них частично закрывали широкое окно.

Мы вошли в помещение. На пороге нас встретила молодая женщина-экскурсовод в белом халате. Мама рассчиталась на кассе, папа начал видеосъёмку животных на нашу плёночную видеокамеру JVS.

Кого только не было в этой небольшой комнатухе! Я — маленький девятилетний шкет — бегал от террариума к террариуму, держа в руке большую выпуклую линзу от настольной лупы, разглядывая различных животных. Меня мало интересовали факты, изложенные в этикетках, и то, что рассказывала нам экскурсовод. Мама наставляла: «Ты слушай о чём тебе рассказывают, слушай». Я же был просто потрясён представленными животными и вероятно не слышал ничего, кроме своего учащённого сердцебиения.

В одном из первых террариумов по свежему капустному листу медленно ползла виноградная улитка. Её округлая раковина, похожая на обточенный булыжник, в совокупности с её медлительностью, неторопливыми движениями рожек-глаз создавала иллюзию, будто улитке невероятно тяжело нести на себе эту ношу.

Внизу был расположен аквариум с водой, налитой практически до самых краёв. В воду был опущен шланг с распылителем, тянущийся от тархтящего где-то за аквариумом компрессора. Из распылителя вылетал столб пузырьков, игриво устремляющихся вверх. На потоке пузырьков, опираясь о стенку аквариума продолговатыми клешнями и множеством членистых, непрерывно движущихся ног, расположился небольшой рак тёмно-оливкового цвета. Он покачивался от вылетающих пузырьков, и ему они, по-видимому, доставляли массу удовольствия, поскольку ударялись о щели под жёсткой головогрудью, скрывающей ряды нежных жабр. Двигая членистыми ногами, рак также нагнетал воду, обогащённую кислородом, к жабрам.

В двух соседних террариумах находились огромные пауки-птицееды. Подстилка из рыхлой земли в одном из террариумов была покрыта ковром из тонкого слоя белой паутины. Каждый комочек земли был покрыт ею. Также паутина нежными прядями тянулась со стенок террариума, извилистой коряги и поилки с водой. Хозяйка жилища — крупная коричневая *Lasiadora*, подтянув к телу лохматые ноги и полностью закрыв ими головогрудь, расположилась возле ёмкости с водой. Вероятно, здесь для неё было наиболее комфортное место, поскольку левым боком она касалась стенки террариума, а хелицерами опиралась об округлую стенку поилки, тем самым чувствуя себя в безопасности.

Паука в соседнем террариуме я обнаружил не сразу из-за паутины, покрывающей плотным белым слоем не только подстилку, но и стены с потолка до пола. Всматриваюсь через толстый слой шёлка, пытаюсь найти жильца: «Так, на полу его нет. И у поилки с водой тоже...». Поднимаю глаза, осматриваю стены и потолок террариума: «Вот он где!». Крупная *Poeciloteria* притаилась в углу у самого потолка. Две передние пары ног, а также педипальпы паук вытянул вперёд, третью и четвёртую пары ног — назад. Складывалось общее впечатление, что его схватили за ноги, растянули в противоположные стороны и оставили в таком положении на стене. Ноги его были тонкие и длинные. В целом тело его было не такое массивное, коренастое, как у предыдущего вида, и не так обильно покрыто волосками. Но окрас паука был гораздо богаче, насыщенней. Нижние стороны двух передних пар ног украшали ярко-жёлтые полоски. Щит головогруды серый, словно бархатный, с продолговатыми тёмными полосочками, а тёмное брюшко украшено продольной белой полосой с зазубренными краями. Паук сидел неподвижно, словно реалистично сделанная китайская игрушка.

В следующих двух террариумах находились тараканы. И не крошечные прусаки, нашествие которых можно было наблюдать в девяностые годы, а тропические красавцы по пять-шесть сантиметров длиной.

У смотрового стекла среди жухлых прелых листьев притаился таракан «мёртвая голова» (*Blaberus craniifer*). Обнаружил я его только благодаря размеренным движениям его длинных тонких усиков-антенн, тянущихся от головы, скрытой под широким щитом-переднеспинкой. Переднеспинка же была украшена большим квадратным пятном с несколькими светлыми точками на чёрном фоне. Зловещий рисунок напоминал обгоревшую голову с оставшимися элементами лица. Крылья таракана нежного кремового цвета тянулись от переднеспинки и располагались внахлест, одно на другом, прикрывая широкими краями тонкие ноги и кончик брюшка с торчащими влево и вправо длинными церками.

В соседнем террариуме были совершенно иные тараканы. Они не стремились скрыться от любопытных глаз, расположились большой группой на грубой коре размещённого в центре террариума пенька. Это были шипящие мадагаскарские тараканы, или тараканы-боровы (*Gramphodorhina portentosa*)! Крыльев они не имели, выглядели массивнее и коренастее таракана «мёртвая голова». Несомненно, массивность этим насекомым придавал прочный панцирь, слагающийся из налегающих одна на другую краями широких пластин-тергитов.

Я подошёл к экскурсоводу и спросил:

— А вы можете дать подержать того большого таракана?

— Хорошо, сейчас, — сказала она и скрылась за террариумами. Я видел, как с противоположной стороны она открыла дверку инсектария и вынула одного из жильцов этого искусственно созданного уголка тропического леса. После чего вернулась к нам.

То, что было дальше, я не забуду никогда. Она поднесла ладонь, в центре которой находился огромный самец мадагаскарского шипящего таракана. Взяв за бока массивное насекомое, я потянул его к себе и почувствовал то, с какой силой таракан держался за палец экскурсовода когтистыми лапками сильных широких ног. В какой-то момент таракан отпустил её палец и оказался в моей руке, зажатым с боков. Его широкое тело, гладкое и блестящее, выскользнуло у меня из пальцев, будто подтаявшая на солнце шоколадная конфета. Таракан, торопливо двигая массивными ногами и усиками, начал заваливаться на бок, рискуя выпасть из моих рук на пол.

В этот момент папа, снимая процесс на видео, тихо и строго, а может и с небольшим испугом в голосе сказал: «Только маму не пугай... И не задави его». Взволнованная мама, которая всегда боялась тараканов и испытывала к ним чувство резкой неприязни, добавила: «Только не задави его. Отдай, отдай, отдай...». Экскурсовод, улыбаясь, с добротой в голосе пояснила: «Содержать их несложно... Пусть потрогает. Он скорее на жука больше похож, нежели на таракана». Я же был просто в восхищении от этого гиганта с широкой коричневой спинкой и кажущимися тяжёлыми, слегка изогнутыми книзу усиками-антеннами, густо покрытыми мелкими рыжими щетинками.

Вот массивное насекомое надёжно закрепилось всеми шестью ногами на внутренней стороне моей кисти. Дотрагиваюсь пальцем до его широкой спинки. В момент прикосновения таракан забеспокоился, немного выгнулся и издал шипящий, попискивающий звук, будто в нём был встроен миниатюрный гидравлический механизм. Рассмотрев со всех сторон и вдоволь полюбовавшись, я был вынужден вернуть большого таракана обратно экскурсоводу.

Мама же предпочла таракану морскую свинку. Женщина-экскурсовод открыла клетку и, подняв с приятно пахнущей соломы забавного зверька, передала его в руки мамы. Придерживая зверька обеими руками, мама прижала его к груди. Свинка же, украшенная большими чёрными округлыми пятнами на белом фоне, принюхиваясь, водила носом из стороны в сторону. «Ешь, ешь, Склифосовский...», — смеясь, процитировала мама фразу из одной социальной рекламы, популярной в то время.

Всеобщее внимание посетителей привлекала к себе большая мягкотелая черепаха — трионикс. Плоская, словно пшеничная лепёшка, однотонного песочного цвета, эта черепаха неторопливо плавала, грациозно взмахивая перепончатыми лапами в толще воды. Она то поднималась к поверхности, чтобы сделать вдох, то опускалась на самое дно и рыскала своим длинным, словно хоботок, носом-пяточком, разыскивая что-либо съестное.

Под аквариумом с черепахой был размещён террариум с большим серым вараном. Варан крепко спал под лампой, его когтистые лапы были вытянуты вдоль массивного тела, покрытого бронёй грубой чешуи. Казалось, что ничто не может нарушить его сон, даже дети, постукивающие кулачками по стеклу в надежде, что ящер наконец-то проснётся и соизволит полазать перед ними, пробираясь через коряги и большие камни.

Змей на выставке было совсем немного — всего вида четыре. Среди них полоз узорчатый (*Elaphe dione*), полоз маисовый (*Pantherophis guttatus*), уж водяной (*Natrix tessellata*) и щитомордник обыкновенный (*Agkistrodon halys*).

Узорчатые полозы, словно гирлянды на новогодней елке, устроились на раскидистых корягах, размещённых в террариуме. Водяной уж только что сбросил старую шкуру, и, украшенный множеством тёмно-серых пятен, лежал рядом с ещё свежим выползком, вглядываясь куда-то вдаль большими круглыми глазами. Щитомордник в это время был в процессе линьки. Старая шкура сходила со змеи ровным чулком, освобождая каждую чешуйку, тем самым постепенно открывая на всеобщее обозрение яркий полосатый наряд. «А он кусается! А-а-а-а он кусается — вот такой змей», — пролепетала маленькая девочка, разглядывая линияющую ядовитую змею.

Уходил я с выставки под большим впечатлением. И действительно, до этого я никогда в жизни не видел и не держал в руках такого большого таракана.

Большая мечта о большом таракане

Да, в таракане что-то есть,
Когда он лапкой двигает и усиком кольшет

Н.М. Олейников, «Служение науке»

С тех пор, как я впервые увидел и подержал в руках гигантского таракана на выставке в Иркутске, прошло без малого шесть лет. С этого самого момента тараканы в переносном смысле поселились в моей голове, уютно обустроились там и не собирались никуда уходить. Я старался как можно больше читать об этих насекомых, собирал о них редкие заметки из журналов «Юный натуралист» и других доступных мне на тот момент источников.

Приобрести экзотическое насекомое в Нерюнгри на тот момент было просто невозможно. Зоомагазины, имеющиеся в городе, располагали очень ограничен-

ным спектром видов животных, среди которых были декоративные грызуны, волнистые попугайчики, рыбки-гуппи и меченосцы. Экзотику здесь практически не предлагали. Иногда на прилавках в стеклянных аквариумах и террариумах можно было увидеть белых шпорцевых лягушек, среднеазиатских и красноухих черепах, улиток ампулярий с лимонно-жёлтыми раковинами. Об экзотических тараканах, палочниках и пауках-птицеедах речи даже и не шло... Однако я не отчаивался и пытался держать в стеклянных банках наших, самых обыкновенных и доступных рыжих тараканов — прусаков (*Blattella germanica*), которых отлавливал в школе на переменах между уроками. Благо в девяностые годы этой живности всюду было предостаточно. Будучи дома, постелив подопечным на дно садка опилки и разместив кусочки гофрированного картона, я наблюдал за ними, за тем, как тараканы перемещаются по, казалось бы, совершенно гладким стенам, осматривают окружающее их пространство, выдвинув вперёд из-под плоской переднеспинки заострённую голову, оснащённую губными щупиками, похожими на маленькие лопаточки, умываются, пропуская длинные тонкие усики-антенны через зазубренные мандибулы. Кормил я своих подопечных в основном хлебными крошками. Долго тараканы в стеклянных банках не жили и потомство не давали. Скорее всего, эти неудачи можно объяснить отсутствием опыта содержания насекомых, неумением определять пол, а также неправильно подобранными тесными инсектариями, которыми служили обычные банки для консервирования. Так что наш рыжий таракан оказался не так уж и прост, как я думал, я бы даже сказал, капризен. Через много лет один из сотрудников инсектария Московского зоопарка скажет мне: «Рыжий таракан плохо живёт в тесных объёмах, он любит свободу».

Ближайшим местом, откуда можно было бы привезти шипящего мадагаскарского таракана-борова, оставался Иркутск. Но кто их в Иркутске содержит и разводит, я на тот момент не знал. Моя старшая сестра, которая уже почти полгода училась на филфаке ИГУ, рассказывала в непродолжительных телефонных беседах: «Мне однокурсники говорили, что мадагаскарских тараканов продавали в зоомагазине и в музее природы. Я схожу туда, узнаю. Куплю тебе таракана». Но ни в зоомагазине, ни в музее природы тараканов не было.

Тогда с просьбой раздобыть большого таракана я обратился к папе, который в очередной раз собирался в Иркутск навестить Олю и помочь ей решить некоторые возникшие трудности.

— Папа, ты привезёшь мне мадагаскарских тараканов? Может, в зоомагазине они будут в продаже...

— Хорошо, я постараюсь. Мне их во что посадить и чем кормить?

Но и папа гигантского таракана так и не привёз, по той простой причине, что их в продаже по-прежнему не было.

Время шло... И настал 2001 год. На новогодних каникулах мы с папой отправились в старый добрый зоомагазин, расположенный по улице Амосова, 6. На тот момент зоомагазин более-менее раскрутился, в нём был сделан ремонт и открыт мини-зоопарк. Да какой там мини-зоопарк, скорее живой уголок.

Было часов пять вечера, уже темнело. Мы шли по заснеженной улице. Под сапогами приятно скрипел снег. Мне не терпелось посмотреть живых животных. Подойдя к железной двери зоомагазина, покрашенной зелёной краской, я схватился за ручку и потянул её на себя. В лицо сразу же ударил тёплый влажный воздух, немного тяжёлый, но в целом не неприятный, этакая смесь запахов из сушёного гаммаруса, гранулированных кормов для собак, аквариумной воды и опилок. Ти-

пичный запах любого зоомагазина. За прилавком, расположенным прямо у входной двери, сидела девушка-продавец.

— Мы хотим посмотреть ваших животных, — сказал папа. — Сколько стоит входной билет?

— Сто рублей, — сказала девушка, указывая нам на перегородку с входной дверью, отделяющую зоомагазин от выставки. — По клеткам и аквариумам руками не стучать, животных кормить нельзя.

Мы вошли в тесное помещение. Здесь находилось ещё несколько посетителей. Они внимательно разглядывали представленных животных. С порога я сразу же заметил трёхлитровую стеклянную банку, стоявшую на одном из аквариумов, прямо напротив входа. Я сразу же подчеркнул для себя, что дно её заполнено толстым слоем сырых опилок, а горлышко с внутренней стороны промазано каким-то маслом или жиром. Банка была открыта. Её стенки изнутри были запотевшие с каплями конденсата, поэтому находящиеся внутри обитателей видно не было. Но в тот самый момент, как я увидел эту банку, сердце моё ёкнуло и забилось ещё сильнее.

С волнением в сердце подхожу к банке и заглядываю внутрь... И не верю своим глазам! «Откуда среди зимы такое чудо?!», — сразу пронеслась в голове цитата из знаменитой гусарской баллады. На сырых опилках находились те самые мадагаскарские шипящие тараканы, о которых я так долго грезил. Их здесь было совсем немного — два-три огромных экземпляра и несколько плоских нимф — уменьшенных копий взрослых насекомых. Массивные тараканы сидели неподвижно, в одной кучке, лишь их длинные, покрытые ворсом сенсорных щетинок и оттого кажущиеся тяжёлыми усы размеренно двигались из стороны в сторону.

— Папа, смотри, это они! Это же мадагаскарские шипящие тараканы. Давай купим их, давай спросим, продаются ли они... — открываю дверь и обращаюсь к девушке-продавцу. — А вы можете к нам подойти?

— Да, сейчас, — сказала она и, выйдя из-за прилавка, вошла следом за мной в этот импровизированный выставочный зал.

— У вас продаются эти тараканы? — с волнением спрашиваю я.

— Мы их только завезли. Потомство будет — будем продавать. А вообще на них тут уже целая очередь желающих выстроилась, — сказала она, тем самым оборвав крылышки моей надежды.

Делать нечего. Желанное насекомое, ещё каких-то пять минут назад казавшееся таким доступным, оказалось так далеко от меня. Немного огорчившись, начал ознакомление с выставкой. По стенкам огромного длинного аквариума медленно ползали улитки ампулярии. Их здесь видимо-невидимо. Большие и маленькие, с лимонно-жёлтыми округлыми раковинами и плоскими коричневыми крышечками-«дверками», растущими из кожистой розоватой ноги. Когда встревоженный моллюск прятался вовнутрь раковины, то крышечка закрывала вход-устье и животное оказывалось в полной безопасности. Внизу под аквариумом располагались террариумы с серыми жабами, обыкновенными ужами, полозами, а также акватеррариум с двумя большими пресноводными черепахами — красноухой (*Trachemys scripta*) и европейской болотной (*Emys orbicularis*). С правой стороны от пола до самого потолка были размещены клетки с различными птицами (не только экзотическими, но и местными), а также бурундуком и белкой, крутящей без конца закрепленное на решётке колесо.

— Ну что, пора домой идти, — сказал папа, — мама нас уже заждалась.

— Сейчас, пойдём, давай ещё посмотрим тараканов...

Перед уходом с выставки ещё раз заглядываю в банку, люблюсь на заветных насекомых: «Всё равно, рано или поздно, у меня будет такой таракан!».

Подарок на день рождения

Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка

К.И. Чуковский, «Тараканище»

«День рождения — грустный праздник», — пелось в известной песне. Однако в нашей семье День рождения был всегда особо ожидаемым праздником, сопровождающимся множеством подарков, богато накрытым столом, музыкой и дорогими сердцу гостями.

После того как мы посетили выставку, все наши друзья и знакомые знали, что в Нерюнгри появились мадагаскарские шипящие тараканы, и что мне уж очень хочется получить хотя бы одного из этих тропических исполинов в качестве живого подарка на День рождения — двадцатого января.

Мама накрыла шикарный стол. Телефон не умолкал от звонивших родственников и друзей — все хотели меня поздравить. Вот на циферблате настенных часов стрелка подошла к четырем, с минуты на минуту должны прийти Рощины. «Что же они мне подарят?», — волновал меня этот вопрос.

Внезапно раздался звонок — мама пошла в прихожую отворять дверь. Выхожу из комнаты встречать гостей. Где-то за приоткрытой дверью слышу смех и радостный мамин голос, голоса наших друзей — в прихожую входят дядя Слава, тётя Ира и их дочка Оля. Дядя Слава одет тепло, по-зимнему. Обеими руками он придерживает нечто мне ещё не известное, спрятанное за пазухой под тяжёлой на вид курткой. Моё волнение от сюрприза нарастает.

— Именинник, с Днём рождения! — прозвучало поздравление. И дядя Слава, расстегнув тугие пуговицы на куртке, достал из-за пазухи двухлитровую стеклянную банку, плотно закрытую полиэтиленовой крышкой. Банка оказалась тёплой, внутри на стенах выпал конденсат. На сырых опилках, что толстым слоем закрывали её дно, находилось три мадагаскарских таракана — два больших и один маленький! Таких желанных и таких уже доступных, что мне не надо ни у кого спрашивать разрешения достать их из банки, чтобы дать погулять по ладоням.

Наверное, большинство людей, получив в подарок живых тараканов, пусть даже таких необычных, больших, экзотических, обиделись бы и оскорбились! Но только не я!

— Как я рад! Тётя Ира, дядя Слава, Оля, спасибо за такой подарок! Мам, пап, мне тараканов подарили! — радуюсь я.

Мы с Олей тут же открыли банку. Я опустил вовнутрь руку, чтобы достать одного из тараканов. Кисть немного застряла, но тут же проскользнула вовнутрь — горлышко банки было изнутри смазано тонким слоем жирной мази. Захватываю сначала одного таракана и высаживаю на пол. Затем вынимаю второго и высаживаю рядом с первым. Третий маленький таракан остался внутри.

Первый таракан несколько крупнее, сантиметров пять с половиной-шесть. Спинка его однотонная, тёмно-коричневая, почти чёрная как смоль и блестит на

свету, будто покрыта лаком. Усы у него длинные, покрытые мелкими рыжеватыми щетинками. Второй таракан чуть поменьше первого — сантиметров пять и значительно отличается от него окрасом выпуклой широкой спины. Переднеспинка тёмно-коричневая, почти чёрная. Края средне- и заднеспинки такие же тёмные, а посередине — светло-коричневые. Широкое брюшко также светло-коричневое с желтоватым оттенком по краям, слева и справа украшено пунктирами круглых чёрных точек, будто некий художник нарочно поставил их тонкой кистью, смоченной в чернилах. Щиты-переднеспинки у обоих экземпляров были оснащены заметно выпуклыми бугорками-рожками, по форме напоминающими приподнятую вверх подкову.

— Ну, как они себя чувствуют? Нормально доехали, не замёрзли? — спросил, заглядывая ко мне в комнату, дядя Слава.

Мама, заглядывая в комнату следом, добавила:

— Ой, Сашка, как ты их не боишься?!

— Они же такие красавцы! Как можно их бояться?! — ответил я ей.

— Когда мы их покупали, нам в зоомагазине продавец сказала, что тот, что большой чёрный — это самец, а тот, что поменьше, рыжий — самка. Так что жди приплод. В зоомагазине также сказали, что к ним можно зайти и проконсультироваться по их содержанию. Они всё расскажут...

Беру большого чёрного таракана-борова, обхватив его широкое тело с боков. Он неохотно отрывается от линолеумного пола. Высаживаю его к себе на ладонь. Дотрагиваюсь до его спинки пальцем и вижу, как диковинное насекомое, приподнявшись на мощных шипастых ногах, слегка выгнуло спину и издало шипящий, посвистывающий звук: пшиу-пшшш-пш, пш.

— Это он так шипит? — спросила мама. — Боже, какой ужас!

— Ага, он шипит как змея. Это у них такое защитное поведение.

Оля, сидевшая на корточках рядом со мной, дотронулась до коричневого таракана, оставшегося на полу. Он приподнялся на колючих лапах ещё выше, чем первый, и зашипел с ещё большей яростью!

Пришло время садиться за стол. Высаживаем тараканов в банку, закрываем её крышкой, чтобы не убежали. После поздравлений и застолья снова открываю банку. Тараканы бродят по залежавшимся сырым опилкам. На желтоватых стружках виднеются комочки крысиного помёта и набухшие в сырости гранулы от сухого собачьего корма.

— Им нужно сменить грунт. Постелю им пока что салфетку. А завтра возьму в зоомагазине опилок. Присмотришь за ними, пока я буду мыть банку, — обратился я к Оле.

— Поройся в опилках, может там есть ещё тараканы, — добавила она.

Высаживаю в пластмассовый таз трёх тараканов. Вытряхиваю рядом на дно сырые опилки. И что это! Из кучи стружек показывается пара тонких усиков-ниточек. Маленькая округлая нимфа, ковыляя на тоненьких жидких прозрачных ножках, выбралась наружу. Внешне она копия взрослых тараканов, однако не такая мощная, края средне- и заднеспинки украшены большими кремового цвета пятнами. Разгребаю опилки и тут натываюсь на ещё трёх таких же маленьких тараканчиков.

— Семь вместо трёх! — радуюсь я, показывая внезапную находку родителям и гостям.

— Так мы же трёх брали, — сказал дядя Слава.

— Ну, видимо четыре остальных попали случайно, когда в банку насыпали опилки.

Так я стал счастливым обладателем маленького усатого стада. На следующий день я отправился в зоомагазин за консультацией по содержанию шипящих мадагаскарских тараканов.

— Здравствуйте! — поздоровался я с девушкой-продавцом. — Мне вчера на День рождения друзья подарили мадагаскарских тараканов, которых купили у вас. Расскажите, как их содержать.

— Здравствуй! — поздоровалась она со мной. — Да, вчера заходили люди. Им были очень уж нужны наши тараканы! А содержать их просто. Тебе нужно сделать для них кубический инсектарий из стекла или из фанеры, в виде этакого ящика... — и она, взяв листок и карандаш, принялась рисовать небольшой кубик, по многу раз обводя его грани. — Дверка должна находиться спереди, закрепить её можно на магнитах. Внутри инсектария разместить куски гофрированного картона, лотки из-под куриных яиц, ветки, кору, чтобы тараканам было где лазать и прятаться.

— А кормить их чем? Что они особенно любят есть?

— Едят они практически всё. Но больше предпочитают растительную пищу: бананы, цитрусовые, ягоды, зелёные части растений. Очень любят белый хлеб. Можно иногда давать им кусочки говяжьего мяса, хотя они едят его плохо.

— А что это за жирная мазь, которой было покрыто горлышко банки изнутри?

— Это обычный вазелин. Найти его можно в любой аптеке. Он нужен для того, чтобы тараканы не разбежались из инсектария. А ведь мадагаскарский таракан неплохо лазает по гладким стенкам. Если есть вазелиновый барьер, то лапки у них скользят и не приклеиваются к поверхности.

Вопросы ещё есть?

— А у вас можно ещё двух-трёх тараканов приобрести? — спросил я.

— У тебя же уже есть... Другие люди тоже хотят себе таких тараканов.

— Ну, хорошо. Спасибо за советы, буду ухаживать за ними.

После я приобрёл небольшой пакет опилок и отправился домой.

ЛЮБОВЬ ГОЛОВИНА

г. ИРКУТСК

УЧАСТНИЦА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. СОВРЕМЕННОСТЬ»

Девочка в крапинку

РАССКАЗ

Случалось ли вам пережить переезд? Это такая страшная штука, которая, по мнению взрослых, равна двум пожарам и трём наводнениям. А для ребёнка это ещё страшнее: для него теряется целый маленький мир.

Уличный котёнок, которого прикармливал колбасой с бутерброда.

Коллекция игрушек из шоколадных яиц.

Собрание «древностей», найденных на дороге в пыли истории.

Росток, с любовью выращенный из косточки финика, которому оставалось всего лишь несколько лет, чтобы стать настоящей пальмой.

Всё это объявляется родителями недостойным, чтобы взять с собой в новый дом. А потому, незачем на это тратить место в грузовике.

Но и это не самое страшное. В старом дворе остаются друзья. Недавно Алёна с родителями переехала: раньше они снимали квартиру, а теперь купили свою. Новый дом — через несколько кварталов от того, где они жили раньше. Для Алёны это всё равно, что в другом городе, ведь теперь до старого двора, где Алёна играла в прятки и догонялки с местными ребятами, ей нужно ехать на автобусе семь остановок. «Семь остановок — это ерунда», — скажете вы. «А вот и не ерунда», — скажет Алёна, так как ей и лет-то столько, сколько этих остановок. Она только окончила первый класс, и сама она пока не ездит на автобусе, только с мамой, да и то не часто.

В первый день переезда мама с папой стали разбирать привезенные коробки и распаковывать чемоданы.

— Иди-ка погуляй, нечего здесь пылью дышать.

— Но я там никого не знаю, — скуксилась Алёна.

— Ну так познакомься, — мама говорила об этом так, как будто ничего не стоило подойти к незнакомому человеку.

Алёна взяла с собой на прогулку любимую куклу Бабу-Ягу: «Вдруг никто не захочет со мной дружить...»

На детской площадке было много молодых мам с разноцветными колясками. Некоторые малыши спали, некоторые делали свои первые шаги, познавая мир вокруг. Перед девочкой остановился розовощёкий карапуз, чтобы поднять с земли разбросанные кем-то цветные кругляши, похожие на конфетти. Сколько радости было в его глазах. Ещё бы: бумажки блестят на солнце и переливаются, как новогодняя гирлянда.

«Я бы тоже хотела смотреть на разноцветные бумажки и веселиться, просто потому, что это красиво. Но у меня так не получается. Вот если бы смотреть на них с кем-то. С другом нескучно даже просто смотреть», — вздохнула Алёна.

И только она подумала это, как на площадку ураганом ворвалась небольшая группа ребят. Одна из них, девочка чуть постарше Алёны, наверное, была ведущей. Она пыталась на бегу засандалить в кого-то мячом, но всё время промахивалась. Мяч отпрыгивал от прорезиненной поверхности площадки и опять оказывался у неё в руках. Запуская мяч, она как заклинание кричала: «сифа, сифа», но, наверное, это слово обладало небольшой волшебной силой, и девочка продолжала промахиваться.

Мамы малышей завозмущались. «Что, покричать больше негде? Прибежали, нашумели, всех детей разбудили. Идите играть в другое место», — стали цыкать они на девочку, так как остальные участники игры уже разбежались.

На «атаманше», как про себя прозвала Алёна предводительницу внезапного урагана, были рваные пацанские джинсы и футболка с надписью «Я принцесса». Надпись, хоть и не вязалась с внешностью девочки, зато точно отражала её собственное мнение о себе. Девочка откинула со лба растрепавшиеся волосы и с интересом разглядывала Алёну. Закончив осмотр, без особого дружелюбия она сказала:

— Привет.

— Привет, — ответила Алёна.

— Хочешь с нами?

Глаза Алёны загорелись. Стоило только подумать, и вот оно — желание сразу сбылось, как будто фокусник достал кролика из шляпы, которая была ещё минуту назад абсолютно пуста.

— Хочу.

— Тогда держи. Будешь водить.

— А что нужно делать?

— Догонять нас и кидать мяч, чтобы в кого-то попасть. При этом нужно кричать «сифа». Если попала, значит засифила, и ведущим станет тот, в кого прилетело, — объясняла девочка на бегу. Она уже мчалась, чтобы самой не стать «сифой».

Алёна побежала догонять, но куда там? Все участники игры уже были на другом конце двора. К тому же из всех ребят она разглядела только атаманшу, которую даже не узнала, как зовут. Но ведь и саму Алёну не спросили.

На спортивной площадке несколько мальчиков преодолевали полосу препятствий. Алёна не знала, играют они в сифу или нет, но на всякий случай решила кинуть в них мячом: вдруг играют? А то она уже устала носиться по двору, потеряв из виду ребят.

— Сифа, — крикнула Алёна и запульнула мячом в мальчика, повисшего на перекладине.

— Ты что делаешь? Дурочка, — огрызнулся мальчик.

— Я не дурочка. Я в сифу играю.

— Ну и играй себе. Я-то здесь при чём?

— А ты разве не играешь?

— Нет. Иди давай, не мешай тренироваться.

И Алёна побежала дальше по двору. В кустах всё-таки обозначились участники игры: оттуда начали тоже кричать «сифа, сифа». Но девочка никак не могла ни в кого попасть, и двор она ещё запомнила плохо. Зато игроки были настоящими партизанами и, сразу видно, знали все заросли наизусть. Пробежав сквозь кусты, Алёна очутилась возле скамейки, на которой сидела девочка лет пяти. Она была в простом линялом платье, из-под которого торчали худые, как палочки, ноги. Платье у девочки было в горошек, и кожа тоже была в горох. На руках и лице розовели сухие пятнышки, напоминающие засохшие капли от варенья. Как будто бы девочка ела его впопыхах, прячась от родителей, да всё на себя и расплескала.

— Привет. Тебя как зовут?

— Привет. Меня? — на Алёну недоверчиво посмотрели глаза, похожие на зелёные виноградины. — Лиля.

Дружелюбное приветствие Алёны, казалось, удивило девочку. И её рот расплылся в широкую улыбку, которая, как бабочка, давно сидела, сложив крылья, и вдруг решила показать всю их красоту.

— А меня Алёна. Ты в сифу играешь?

Лиля понурилась и опустила глаза.

— Нет.

— А хочешь?

Девочка вспыхнула, словно лампочка.

— Разве можно?

— Думаю, да, — ответила Алёна, не поняв, почему может быть нельзя. — Я

тоже играю совсем чуточку, а до этого, как и ты, сидела на лавочке и скучала. Ты знаешь правила?

— Знаю, — ответила Лиля. — Я всегда наблюдаю, как ребята играют.

— Тогда держи, — и Алёна кинула в Лилю мячик. — Сифа. Теперь догоняй.

Девочка стремительно вскочила с лавки и бросилась догонять Алёну.

— Сифа, сифа.

Вдруг из кустов показалась атаманша, которая невольно очутилась между Лилей и Алёной. Мяч, брошенный в Алёну, прилетел прямо «япринцессе» по голове.

Лиля остановилась, как вкопанная. Она смотрела так, как будто разбила дорогую вазу или попала мячом в витрину, то есть сделала то, чего ни в коем случае делать было нельзя.

— Это ещё что такое? — возмущённо заверещала атаманша. — Кто тебе вообще дал этот мяч?

— Я дала, — вступилась Алёна.

— Ты ничего получше не придумала? Смотреть надо.

— Куда смотреть?

— Кому даёшь чужой мяч. Ты что, не видишь, что она заразная, — с отвращением произнесла «япринцесса». — Теперь мяч дезинфицировать придётся.

Лиля молчала и, глядя в землю, тёрла на руках пятнышки от варенья.

В это время другие ребята стали звать.

— Ну вы скоро там?

Атаманша подошла к Алёне и сказала:

— С ней мы не играем и тебе не советуем. Иначе покроешься такой же коростой, как она. На первый раз, прощаю. Ты же не знала. Пойдём.

Алёна хотела возразить, но слова застряли в горле, как будто она случайно проглотила жвачку. А «япринцесса» уже уводила её с той аллеи, где осталась стоять маленькая девочка в крапинку...

Вечером Алёне не спалось. Она легла на кровать и только сейчас вспомнила, что оставила Бабу-Ягу на скамейке. Как же она могла про неё забыть, про свою любимую расколдованную ей же самой куклу.

Она вспоминала, как Бабуся появилась в их доме:

— Алёна, что ты хочешь в подарок на день рождения? — ласково спросила мама.

— Бабу-Ягу.

Мама, до этого месившая руками тесто, так и замерла, как скульптор с куском внезапно застывшего гипса.

— Что-о-о?

— Мамочка, я хочу куклу Бабу-Ягу.

— Может, всё-таки ту зеленоглазую с рыжими локонами? Помнишь, в таком пышном красном платье?

— Помню. Но я хочу Бабу-Ягу.

— Объясни хоть, зачем она тебе.

— Хочу её расколдовать. Все думают, что она злая. А я уверена, что добрая, просто скрывает это. Её же никто не любит. Все только и говорят, что она страшная и злая. А она совсем-совсем не такая, просто боится открыться и показать это.

«Странное желание у ребёнка, но ничего не поделаешь, придётся исполнять», — сказала мама, немного расстроенная тем, что в квартире будет стоять не красивая фарфоровая барышня, а страшная тряпичная кукла в лохмотьях, напоминавших драный мешок от картошки...

Алёна поворачивалась с боку на бок, пытаясь найти на подушке удобную для щеки ямку. Но все вмятины были неудобными, и в них всё равно не засыпалось. Девочка хотела встать и сходить за куклой.

— Бедняжка. Мёрзнет там совершенно одна. И это я её бросила.

Она посмотрела на часы — одиннадцать. Идти сейчас — разбудить родителей, а этого Алёне не хотелось. Кое-как она дождалась утра, точнее, когда встанет мама. Уйти, хоть и ненадолго, без спроса она не могла. Наконец в коридоре раздалось мягкое шуршание по полу маминых тапочек, затем в ванной зажурчала вода. Алёна тут же вскочила и натянула на себя всё, что лежало на стуле.

— Мамочка, доброе утро.

Мама чуть не выронила зубную щётку.

— Уже встала? Чего так рано? Забыла, что каникулы?

— Мне нужно ненадолго на улицу. Я скоро буду.

— А завтракать?

— Я на чуть-чуть.

— Зачем?

— Бабусю забыла на лавке.

— Невелика потеря, — ответила мама, не понимавшая привязанности дочки к страшной кукле.

Алёна подбежала к лавочке, где вчера забыла Бабу-Ягу, но куклы здесь не оказалось. Она наклонилась и стала смотреть на земле, в песке, но и здесь было пусто. По лицу покатались слёзы. Алёна бегала по площадке, заглядывая в каждый её уголок. И когда совсем отчаялась, увидела, что из клумбы на неё, ухмыляясь, смотрит Бабуся. Видимо, какой-то малыш взял поиграть и запустил ступу с Ягой в воображаемый лес. Алёна бросилась обнимать свою любимицу и просить у неё прощения.

— Ты добрая, я же знаю, — гладила она Бабу-Ягу, — ты меня простишь...

После счастливой находки настроение девочки улучшилось, но ненадолго. Что-то упорно мешало ей радоваться.

— Ну как, нашла вчера себе друзей во дворе? — спросила мама, накладывая липкий снежный ком в тарелку. По её словам, это было манной кашей.

Алёна стала рисовать на манке круги, вода по ней ложкой, как кисточкой.

— Угу, — буркнула она, как будто рот у неё был занят кашей, которой на самом деле во рту не было.

— Вот и здорово. А то нам с папой из-за ремонта совсем некогда с тобой поиграть. А работы ещё недели на три, как минимум.

— На три недели? — с тоской спросила Алёна. — Да у курицы за столько времени целый цыпленок из яйца выколупывается.

— А ты откуда знаешь? — удивилась мама познаниям дочки.

— Бабушка сказала. Я ей прошлым летом помогала за курами смотреть и следила за одним таким яйцом. Всё время, пока оно не стало цыплёнком. Три недели — это очень долго, мама, — тяжёло вздохнула девочка.

— Ну ты же не одна, а с ребятами, так что не соскучишься...

Алёна больше не стала брать на прогулку Бабу-Ягу, боялась опять забыть её. Теперь кукла дожидалась хозяйку в комнате. Девочка вышла во двор, где уже играли её вчерашние знакомые. Атаманша, которую, как выяснилось, звали Кристина, и ещё шестеро других мальчиков и девочек. А на скамейке в кустах по-прежнему сидела девочка в крапинку и наблюдала за игрой. Алёну толкнуло желание бро-

ситься к Лиле, извиниться за вчерашнее. Ведь это из-за неё «япринцесса» наорала на девочку. Так глупо получилось. В старом дворе, где они жили, не было таких правил, что кому-то можно играть, а кому-то нет. Играли все.

Сегодня Кристина, Крис, как её звали ребята, решила играть в кладоискателей. Она сказала, что спрятала где-то секретный предмет, который все остальные должны отыскать по карте. «Япринцесса» всучила ребятам лист бумаги, весь исчерченный фломастером. Линии означали путь к предмету, но там всё было так запутано... Сама Крис залезла на самую высокую точку во дворе — башню полосы препятствий — и теперь смотрела на новоиспеченных искателей не только свысока, но и с высоты.

«30 шагов от старого тополя на Север», — прочитали ребята на карте. Это был первый этап маршрута.

Они заспорили, как же определить, где Север.

— Север — это там, где холодно и полярные медведи, — сказала самая младшая.

— Молодец, малявка. Теперь скажи, в какую сторону идти.

— Вон оттуда дует холодный ветер. Значит, туда.

Старшие мальчики засмеялись.

— Ну с таким знатоком мы точно найдём клад.

Кто-то сказал, что нужно искать мох — с какой стороны дерева он растёт, там и Север. Но, вот досада, ни на одном дереве во дворе не оказалось мха. Потом кто-то вспомнил про муравейник, дескать, к северу он горкой, а к югу эта горка скатывается. Но и муравейника во дворе не нашлось. Наконец, один из мальчиков сбежал домой и выпросил у бабушки компас. Всё это время «япринцесса», сидя в башне, покатывалась со смеху.

Долго юные кладоискатели бродили по двору — 20 шагов на Юг, 40 на Восток, перейти через лес (так обозначались кусты) и поле (разумеется, футбольное).

На одном из таких переходов Алёна чуть отстала, чтобы поздороваться с Лилей.

— Привет.

— Привет, — Лилины пятнышки, казалось, заулыбались вместе с ней.

— Прости меня, пожалуйста. Вчера всё из-за меня получилось.

— Ничего. Я привыкла, что со мной не играют. Но отсюда мне хорошо видно, и я как будто бы тоже играю, — сказала она, ковыряя сандаликом землю.

Алёне очень хотелось спросить, что у Лили за пятнышки, но боялась обидеть. Любопытство пересилило.

— А это правда заразно? — кивнула она на крапинки.

— Это, нет, — ответила Лиля, ничуть не смутившись, как будто ждала этого вопроса. — Мама говорит, это экзема.

— Похоже на название цветка. Как хризантема, — восхитилась Алёна красотой нового слова.

— Ага. Только совсем некрасиво, в отличие от цветка.

Алёна собиралась сказать что-то доброе, чтобы поддержать Лилю, но никак не могла подобрать слова. Вдруг откуда-то сверху раздалось: «Почему кладоискатели разбрелись?». Это кричала с башни «япринцесса».

— Ладно, мне надо идти, — вместо слов поддержки сказала Алёна.

— А хочешь, я скажу, где спрятан клад? Я знаю, я видела, — внезапно предложила Лиля.

— Нет. Спасибо. Это будет нечестно. Ну, я побежала.

До обеда кладоискатели пытались выйти на след, но совершенно заплутали буквально в трёх кустах. Шаги-то у всех разной длины, вот и получилось, что версии вместе со следами разошлись. Ребята решили сходить подкрепиться по домам, а уже после начать копать.

Когда Алёна, пообедав, выбежала во двор, она увидела, что Лиля махнула ей рукой, подзывая к себе.

— Чего?

— Можете не копать там.

— Мы нашли неправильное место?

— Не-не, всё правильно. Только Кристина всё выкопала, пока вы обедали.

— Как? — Алёна не могла поверить в то, что можно так обмануть друзей, а главное, не понимала, зачем.

— Просто говорю, что видела.

— Спасибо. Пойду скажу ребятам.

— Пожалуйста, — расплылась в улыбке Лилия. Ей было приятно сделать что-то для Алёны, с которой ей очень-очень хотелось общаться. За всю её маленькую жизнь эта девочка стала первой, кто подошёл к ней, чтобы позвать в игру, а не дразниться.

— Ребята, здесь ничего нет, — подбежала Алёна к кладоискателям, которые уже делали подкоп под куст.

— Чего это вдруг? Мы сто раз перепроверили. Где-то между здесь и там, — сказал один из мальчиков лет восьми.

— Кристина всё выкопала.

И вдруг из-за Алёниной спины раздался голос «япринцессы»:

— Может, это ты сама всё выкопала, пока все обедали? Иначе откуда ты знаешь?

Алёна поняла, что её загнали в ловушку. Если она скажет правду, то атаманша обрушит на Лилию очередную порцию гнева, а то и, чего доброго, поколотит. Алёна не могла так подставить девочку, но и не могла придумать, что соврать.

Она покраснела и стала оправдываться:

— Я...я.. я из окна квартиры всё видела.

— Ну давай, ври дальше. Сама забрала клад, чтобы с другими не делиться, а теперь стрелки на меня переводишь.

У Алёны от обиды перехватило дыхание. Из глаз брызнули слёзы. И самое страшное — что все поверили не ей, а Кристине.

Девочка рванулась к подъезду: «Прочь, прочь, я не буду дружить с такими».

Когда Алёна вбежала в квартиру, мама с папой красили потолок. Но дочка так неожиданно вбежала и так сильно хлопнула дверью, что мама выронила валик из рук.

— Что случилось? Куда ты мчишься, как антилопа?

— Я больше не пойду во двор... — заикаясь от слёз, выкрикнула девочка.

— Успокойся. Расскажи по порядку.

Но Алёна только мотала головой.

— Злые они.

Мама поняла, что пока выпытывать бесполезно.

— На, попей воды. А во двор пойти придется. Нечего здесь краской дышать. А то ещё отравление получишь. Отпаивай тебя потом молоком. Так что бери свою Бабусю и иди с ней.

Алёна постояла какое-то время в подъезде, но в нём было холодно и пахло отходами из мусоропровода. Пришлось выйти во двор. Она снова села на ту же лавочку, что и в первый день. Снова со своей любимой куклой. Ребята до сих пор рыскали по кустам в поисках клада, надеясь что-то найти. Самой Кристины Алёна не видела. И вдруг она выросла как будто из-под земли.

— Ябеда-корябеда. А ну признавайся, это тебе та заразная настучала? — она схватила Алёну за руку так крепко, что девочка почувствовала впившиеся в кожу ногти.

— Пусти, — дёрнула руку Алёна.

Но в этот момент планы «япринцессы» изменились. Она неожиданно спокойно отпустила Алёнину руку и тут же схватила сидевшую на лавочке Бабу-Ягу. Держа куклу за седые растрепанные волосы, она размахивала ею и неслась к дороге. Замахнувшись куклой, как африканский туземец копьём, Кристина швырнула Бабу-Ягу на асфальт под колеса приближающегося автомобиля.

Алёна застыла в немом ужасе — сейчас от её любимой куклы останется только кучка смятого пластика. Она не могла на это смотреть и закрыла лицо руками.

Раздался скрежет шин. Потом накатил шум толпы. Женщины кричали:

— Да что же это делается? Чуть ребёнок не убили.

Им отвечал грубый бас водителя:

— Курицы, вы вообще за детьми смотрите? Почему они на дорогу у вас выбегают?!

Алёна растопырила пальцы на ладонях, по-прежнему прижатых к лицу.

Возле дороги, где должны были раздавить Бабу-Ягу, стояло много людей. Все они что-то громко выясняли. Но вдруг сквозь кучу обступивших её ног просунулась вперёд маленькая девочка. Худенькая, в линиялом платье, с пятнышками на лице и руках.

— Лиля, — обрадовалась Алёна.

Ей навстречу бежала девочка в крапинку.

— Я её спасла, спасла.

Только сейчас Алёна заметила, что Лиля держала в руках Бабусю.

Девочка разрыдалась.

— Почему ты плачешь? — расстроилась Лиля. — Она жива. Смотри. Совсем целая. Даже перелома нет.

Алёна сжала в одной руке свою некрасивую куклу, а в другой — руку Лили. И пусть говорят, что они некрасивые, для Алёны они были лучше всех.

— Ой, а что это у тебя? — Лиля смотрела на Алёнины руки, которые все были усыпаны пятнышками.

Алёна тоже посмотрела, и на её лице расплылась улыбка.

— А, это пятна от краски. Родители красят стены, а я случайно маму напугала. Она валик уронила и меня обрызгала. Теперь я тоже в крапинку: ты — в красную, я — в белую.

ДАРЬЯ ГАНДИНА

г. АНГАРСК

УЧАСТНИЦА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. СОВРЕМЕННОСТЬ»

Свёрток

РАССКАЗ

Однажды она увидела свёрток на чужом крыльце. Маленький свёрток, в длину не больше восьмидесяти-девяноста сантиметров.

Людей рядом не было. На улице светлело, и если бы не тот факт, что жила она в маленьком частном секторе, кто-нибудь определённо заметил бы свёрток раньше.

Не в полседьмого утра, а, скажем, в шесть. Или в пять. Или тогда, когда свёрток здесь появился.

Наверное, они вызвали бы полицию.

Наверное, скорую тоже.

Они позаботились бы о свёртке вместо неё — и ей не пришлось бы стоять здесь и выбирать между тем, чтобы пойти на работу или... ну, не пойти.

Утренняя прохлада потихоньку проникала под полы её пальто, а она всё смотрела и смотрела на подброшенный соседям свёрток.

Он лежал на верхней ступеньке, как на каком-то постаменте, в несколько слов укутанный в выцветшую синюю ткань.

«На редкость дурацкие тряпки, — подумала она. — Что это вообще? Простыня?»

Может быть, если бы свёрток заплакал, она бы сразу подскочила к нему. Закутала бы, засуетилась, позвонила куда-нибудь. В скорую, например. Или в полицию. Или вообще на работу. Уложила бы на постель, закутала в самые тёплые одеяла, подышала на маленькие бледные ручки.

Она правда могла бы.

Но только свёрток молчал.

И ей вдруг стало страшно. А что, если свёрток совсем мёртвый. А что, если она вообще зря тут стоит и мучается, и никто здесь уже давно никому не может помочь.

«Он наверняка давным-давно замёрз насмерть, — думала она. — Позвоню я в полицию — и что мне скажут? Если и не повесят на меня ничего, то как свидетеля потом по судам затаскают. Мёртвому уже ничем не поможешь — только себе проблем создам».

Она решила было подойти, потрогать его — потрогать пульс, проверить точно ли мёртвый, но не смогла.

Свёрток всё ещё молчал, а мысли проносились в голове всё быстрее и быстрее — она уже почти опоздала на работу.

«Вот будут снимать отпечатки пальцев с простыни, — говорила она про себя. — Там будут мои. Свеженькие. Вот что они подумают тогда».

Она хотела подойти и постучаться в соседскую дверь, но не лезть же через забор? (Свёрток лежал на крыльце у калитки.)

Она постояла ещё немного, оглядывая забор, улицу, деревянную дверь. Ничего не менялось — забор был всё таким же высоким, калитка всё такой же закрытой, а улица всё такой же пустой.

Постояв ещё немного, она в последний раз посмотрела на крыльцо соседского дома, развернулась и ушла.

Свёрток всё так же молчал.

ЮЛИЯ САЛАМАТИНА

г. Усть-Илимск
УЧАСТНИЦА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Молодость. Творчество. Современность»

Ищи меня

РАССКАЗ

Осенние леса — это всегда красивое зрелище. Сотни деревьев, усыпанных золотыми или огненными листьями. Ветры, срывающие их, крутящие в диком вальсе красок и опускающие на бескрайне широкие ковры из тысяч листьев, а после вновь поднимающие вверх и кружащие, словно недовольные тем, что танец был окончен, желающие продолжения этого бала. Именно таким был этот лес. Только насладиться его видами у нее совсем не было времени. Все его краски, вся красота на скорости её бега смешивались в размытый фон. Она не слышала шума этого ветра, лишь свое дыхание, стук сердца и голос, кричащий в её голове: «Беги. Беги, оно рядом!». И она бежала. Ковёр листьев под её сапожками смешивался с грязью, которую так старательно скрывал под собой. Ноги были мокрыми от воды в лужах, но это уже не имело значения. Нельзя было останавливаться. Там, за её спиной, нечто несло на огромной скорости и, наверняка, желало лишь одного: съест её.

И вот, последний рывок, долгий прыжок... И она уже за пределами леса, на тёплой, залитой последними лучами осеннего солнца дороге. Джули останавливается, упирается руками в колени и переводит дыхание. А после, когда всего за секунду страх сменяется приливом счастья, поворачивается к тому, от кого убежала, радостно и гордо поднимает вверх обе руки с поднятыми в неприличном жесте средними пальцами и кричит:

— Обойдешься, зверюга! Сегодня ты без обеда!

Огромный зверь с серо-белой облезлой шерстью, с длинными ушами, словно у кролика, но с мордой голодного волка несся на неё. Казалось, всего пара метров, и он достигнет её и убьёт. Прыжок... На границе Осеннего леса и Дороги солнца его останавливает нечто, словно невидимая стена. Зверь скулит, отходит назад, рычит, угрожает ей, но ничего не может сделать. Он не пройдёт сквозь эту стену.

— Ага, выкусил?! — продолжает радоваться Джули с гордой улыбкой и горящими от адреналина в крови глазами, смотря, как зверь рычит уже как-то обиженно, а потом, виляя длинным хвостом и недовольно фыркая, уходит обратно в свою лесную обитель.

Прогулки по осеннему лесу и бегство от его хранителей — одна из её любимых забав. Это никому не причиняет вреда: хранители все равно получают еду, да и бег им полезен...

Она смеётся, ощущая усталость от погони, и тут же слышит крик с одного из концов дороги.

— Мисс Джулиана, вас ищет господин Александр! — эти слова впускают в кровь не меньше адреналина, чем догонялки по лесу.

Отец не должен знать о таких её забавах. Девушка вздыхает и, поправляя короткие русые волосы, идёт в сторону кричавшей. Там вдали виден огромный дом,

уже давно кипящий жизнью: служанки, работники сада, повара и много чужих для неё людей выполняют свою работу, содержат дом в полной чистоте, пока тот самый «Господин Александр» или, проще говоря, папа, сидит в своём кабинете и в сотый раз разбирает одни и те же бумаги. Да, есть то, что ещё ни разу не поменялось за все шестнадцать лет жизни Джули и, наверное, не поменяется никогда...

Она уже давно знакома с этим домом, даже намного лучше чем его владелец. Папа вечно придумывал какие-то правила: это не делай, туда не ходи, во столько-то будь дома, и еще тысяча и одна подобная фраза. Словно золотые прутья накрывали куполом клетки маленькую свободолюбивую птичку — душу Джул, всё стремящуюся узнать мир вокруг себя, детально разобрать его на крупички и изучить каждую из них. Он сам в нее вложил это, с самого детства поощряя любознательность дочери, и теперь сам же об этом жалел. Несмотря на все запреты, девушка быстро находила способы сбежать, составляя такие маршруты, что ни один детектив не смог бы доказать, что в то или иное время она была вне дома. Вот и сейчас, не доходя до мраморного фонтана, изображающего прекрасную, но никому не известную водную фею, крылья которой были сделаны из прозрачного материала и, словно ловец солнца, пускали радужных зайчиков на дорогу, Джули свернула за одну из живых стен изгороди, а там по дорожке, скрытой от всех пышными кустами белых и красных олеандров и забытой даже садовником, поспешила на задний двор, а там по еще зеленой и крепкой лозе, ползущей по стене от самой земли и до ее балкона, забралась в свою комнату. Как она и планировала, ее никто не заметил.

Мокрые сапожки сразу были отправлены сушиться, а грязная от беготни по лесу одежда закинута в корзину у двери. Из нее позднее Мэри, наверное, самая верная ее подруга здесь, заберет эти вещи и незаметно отнесет в стирку. «Никаких брюк в доме» — гласило одно из правил отца, и потому девушка быстро натянула одно из так нелюбимых ею платьев. Сейчас она стояла перед зеркалом, укладывая короткие волосы так, словно и не выходила на улицу. В дверь постучали и тут же открыли, от чего Джули вздрогнула, но после выдохнула, видя, что в комнату заглянула Мэри. Это была необычной красоты девушка (так считала сама Джул): худенькая, статная, всегда с прямой спиной, она так и напоминала куклу, а темная кожа и на удивление светлые волосы создавали необычайный контраст. Она была старше Джули, совсем на нее не похожа, но считалась ей старшей сестрой.

— Он говорил, зачем меня ищет? — сразу спросила Джули, наконец добившись, чтоб идущая набок челка была идеально уложена. Мэри встала рядом, отчего их различие было наиболее заметно. У Джул тоже была темноватая кожа, но это был лишь легкий загар, а по сути своей она была намного бледнее, да и чуть ниже ростом. Про волосы и говорить нечего. Они были темно-русые, вечно не слушались и лезли в глаза цвета шоколада. Однако свою внешность девушка любила и считала саму себя довольно милой.

— Нет... Но я видела, как Альберт выходил из его кабинета. Возможно, он рассказал ему, что тебя не было на уроке.

Мэри аккуратно развязала криво завязанный пояс с талии юной бунтарки и перевязала его, сформировав красивый бантик.

— Да... Этот старый пень вполне мог пожаловаться, — согласилась Джули и выдохнула.

Она собралась с силами и, сделав непринужденный вид, пошла к кабинету отца. Джулиана была готова ко всему: к гневу папы, очередному наказанию, какие

обычно были изощрёнными, была готова увидеть довольного собой учителя по танцам, уроки которого она терпеть не могла и всегда пропускала. Или вообще весь состав преподавателей, что приходили домой. Они частенько рассказывали обо всех её шалостях отцу. Однако, подходя к кабинету по темному коридору, увешанному картинами, она не услышала гневного крика Александра, наоборот, папа даже смеялся. Открыв дверь, Джулия и вовсе удивилась. В просторном светлом кабинете отца не было сборища учителей или даже хотя бы одного противного старика Альберта. Вместо этого в кожаном бежевом кресле напротив довольно веселого Александра сидела женщина. Она не была похожа на всех тех дам, что Джул встречала на вечерних сборах и праздничных балах. На ней не было золотых украшений с разными камнями, их заменяли серебряные, но весьма необычные, в форме разных оберегов. Вместо платья были черные джинсы, белая майка и черная кожанка, что так поразила девушку, а на ногах красовались такие же черные берцы. Она была стройной, высокой, наверное, почти на голову выше Мэри. Темные волосы были обстрижены настолько коротко, что был виден выбритый затылок, на лице сияла улыбка, в синих глазах были искры, а самое главное, она была так похожа на маму, по словам отца, давно умершую во время одной из своих экспедиций.

Джул замерла на входе, взглядом изучая странную гостью, когда её заметил отец.

— Джули, наконец... А мы тебя ждали. Знакомься, это... — начал отец, но девушка сама все поняла и перебила его:

— Тетя Чарли, мамина сестра, верно?

Женщина улыбнулась, поняв, что ее помнят.

Об этой женщине нельзя было забыть. Последний раз Джул видела ее в десять лет и, честно сказать, за шесть лет разлуки она ни капли не изменилась. Все такая же бодрая, веселая, а главное, свободная. Джули села в кресло рядом с тетей и стала слушать.

— Чарли узнала, что у тебя каникулы и предложила мне одну идею, — начал Александр, но продолжила уже сама Чарли:

— Я хочу взять тебя с собой в поездку. Будем только мы... Всего на неделю, но тоже ведь отдых... — она говорила непринужденно и спокойно.

А Джул тем временем уже была готова сорваться с места и бежать собирать вещи. Целая неделя без запретов, на свободе! Джул была просто уверена, что ее ожидают какие-то приключения.

— О... Вижу, что и спрашивать не надо, — улыбнулась еще шире Чарли, видя сияющие глаза племянницы, и дала ей всего полчаса на сборы.

Девушка не стала медлить и тут же умчалась в свою комнату. У нее давно был готов список того, что нужно взять в путь. Джули мечтала о такой поездке, и сейчас эта мечта наконец начала воплощаться в жизнь.

Через час, когда все сборы были закончены, выпит весь принесенный одной из служанок чай из пухлого заварничка с узором из роз на боках, рассказаны «последние» новости и даны все «обязательные и важные» наставления отца, Чарли и Джул сели в темно-фиолетовую машину, стоящую за воротами. Рюкзак девушки сразу был отправлен на заднее сидение, а сама она пристегнута ремнем безопасности. Конечно, одежду она сменила первым делом, когда только вернулась в комнату, и сейчас, словно подражая тётке, сидела в джинсах, белой футболке и кедах. Увы, найти кожанку Джул не смогла и заменила её просто тёмной ветровкой.

— Кстати... а куда мы поедем? — всё же задала так интересующий её вопрос Джул, посмотрев на Чарли, которая уже завела машину и вела её вперёд по каменистой дороге.

Она немного помолчала, словно думая, нужно ли ей отвечать, а после тихо включила радио, дабы немного заглушить тишину.

— Мы поедем искать одного очень важного человека... — разорвала молчание женщина, когда они уже выехали с дороги к дому на трассу, и машина под управлением Чарли начала набирать скорость.

— А я его знаю?

— Да... Знаешь лучше всех... мы проедем тот путь, что ровно шесть лет назад проехала твоя мать.

После этих слов Джул поежилась.

Она действительно хорошо знала маму и всегда была с ней. Всегда, но не в ту экспедицию. Мама звала её своим оберегом от бед, и один лишь раз он её подвёл.

— Мы поедем искать маму?

Чарли кивнула головой. Эта женщина всегда казалась Джул необычной. Они с мамой были очень схожи внешне, но в то же время оставались совсем разными. Мама всегда была открыта, ярко выражала свои чувства, этому учила и Джул, а Чарли... Чарли казалась скрытной и хитрой, словно лиса. Она всегда что-то таила, недоговаривала, казалось бы, знала то, что не знал никто. У неё был свой взгляд на этот мир и, честно сказать, лишь в её присутствии Александр был так весел. За спиной он звал её чокнутой и не доверял. Джул помнила, как после каждого праздника, когда к ним приезжала сестра мамы, отец давал приказ проверить все ли на месте и боялся, что Чарли что-нибудь украдёт.

— Но... она же мертва. Так папа сказал...

— Твой отец всегда говорит лишь то, во что он хочет верить, — отрезала тётя на удивление холодно, словно не слова это были, а нож из стали. — Я знаю, что она жива. Я это чувствую. И то, что висит на твоей шее, может помочь найти её. Конечно, если ты захочешь.

Джул рукой сжала подвеску на своей шее. Когда-то давно именно мама подарила её и сказала носить не снимая, что Джули и делала. Сейчас же она задумалась, а хочет ли? Она знала, что если сейчас откажется, Чарли вернёт её домой или просто повезёт на неделю отдохнуть где-то, но уже без приключений... да и мама... её слишком долго не было рядом. Джул уже соскучилась по её тёплым, нежным рукам, мягкому голосу и этому заботливому: «Моя звездочка».

— Хочу, — ответила Джули, хотя её не спрашивали, чем вызвала добрую улыбку на губах тёти.

На секунду она задумалась: а что ощущала Чарли, когда узнала, что её сестра вот так пропала? Она пыталась представить это. Закрывает глаза и прокрутила в голове кадры: вот она проснулась утром, спустилась в зал на завтрак, ожидая увидеть Мэри, сидящую за столом и читающую свою книгу, а Мэри там нет. Лишь пустой холодный стул. Она обходит весь дом, каждую комнату, проверяет двор, но её не находит, а когда начинает спрашивать, все говорят, что Мэри больше нет. В этот момент ей стало больно, и сердце кольнуло, будто бы острая ржавая игла попала в него и застряла в покровках. Да, наверное, Чарли было очень больно.

Джул открыла глаза и посмотрела в окно. Там на огромной скорости мелькали разные деревья, иногда машины и знаки дорожного движения. Было спокойно, и это радовало больше всего...

Я в очередной раз перечитала написанные мною строки и, зарывав, закинула голову назад, устремляя взгляд в белый потолок, плитка на котором была покрыта выпуклым рисунком лилий.

— Искать маму... ну бред же! Бред!

Я вскочила и сделала круг по комнате, представляя, как же глупо на самом деле это звучит.

— Привет, я твоя тётя. Мы сейчас поедem искать твою мать, потому что я не верю в то, что она умерла! Шикарно! — проговорила я, делая взмахи руками, словно актёр, вживающийся в роль.

Весь этот шум заставил спящего на кровати рыжего кота поднять голову. Он зевнул и сонно посмотрел на меня умными жёлтыми глазами.

— Не оррри... Писаааатель, — протянул он, и я послушно плюхнулась обратно на свой стул.

Уже вторую неделю я не могла ничего придумать. У меня было начало, которое мне нравилось. Были персонажи, которых я продумала до мелочей. Был продуманный мир со своими городами и правилами. Но не было одного: завязки. Ни одна из приходящих в мою голову мыслей никак не подходила под тот мир. Все они казались глупыми, нелепыми, слишком скучными, и каждый вечер заканчивался тем, что я стирала половину своего текста, допивала чай и злая ложилась спать.

— А как не орать? Ну, ты только глянь, что выходит. Бред полнейший, и все тут.

Кот вновь зевнул, потянулся всем своим телом и вальяжно сошёл на пол, а после в один прыжок оказался на моем столе, сел, обвивая пушистым хвостом передние лапы, и пока я сидела, упиваясь своим горем, уткнувшись в его пушистую спину, он читал текст, написанный на экране ноутбука.

— А мне кажется, весьма забавно...

— Это тебе кажется... — фыркнула я и дернулась, услышав, как открылась дверь.

— Ты с кем тут? — удивлённо спросила меня мама, окидывая взглядом комнату, в которой из живых были лишь я да пара цветков на подоконнике.

Да... Я, как писатель, жила в своём мире. В мире, где коты могли говорить и читать. Но увы, мама этого мира не видела. Не видела она моего рыжего спутника, не понимала моих ночных разговоров с самой собой и лишь иногда пыталась вникнуть в то, что я говорю.

— Да так... сама с собой... — привычно я отмахнулась от неё рукой, ожидая, что она как всегда проверит цветы и опять уйдёт, но в этот раз было совсем иначе.

Она села на край кровати, отчего в моем мире спящие на ней после долгого дня солнечные зайчики, все ещё недовольные тем, что рыжий от них ушёл, тихо забурчали и всей стайкой перебрались в другой угол, где их точно бы никто не тронул.

— Что пишешь-то хоть на этот раз?

Опять этот вопрос. Он возникал предельно редко, лишь когда мама вдруг осознала, что я давно ей ничего не рассказывала о своих работах.

— Ну... — я глянула на кота.

Он кивнул головой, мол, давай читай.

— Я начала кое-что, но не особо далеко продвинулась...

Я заметила, с каким интересом мама наблюдала за мной, и только потому начала читать написанное мной ранее.

Она долго сидела и внимательно меня слушала, а после, когда я пробубнила что-то вроде: «Ну, это все...», наконец начала говорить.

— Конечно, очень красиво... но не слишком ли жестоко, лишать ребёнка матери? Да и нелогично... Раз она пропала, то почему именно мертвая? Разве не было похорон? В общем, лучше исправь, пускай кого-нибудь другого ищут. Да и тётя эта... какая-то странная... Мне кажется, отец этой твоей Джел свою дочь ей бы не доверил.

С этими словами она поднялась и вышла из комнаты, как всегда не до конца закрыв дверь.

Пришлось встать и закрыть её до конца, дабы жители моего мира не вырвались за пределы комнаты.

— Ну? Все ещё думаешь, что это «забавно»?

Я посмотрела на кота, он все так же сидел на столе и, видимо, обдумывал все то, что услышал.

Я стерла все до момента встречи с Чарли. Кот, пытаясь меня успокоить, перебрался ко мне на плечи и лёг, словно меховой воротник, и пусть в настоящем мире его не было, я все равно чуть опустила плечи, будто на них кто-то лежит.

— Пускай ищут не маму... что ж, хорошо, — я кивнула, на пару минут прикрыла глаза, а после, собравшись с мыслями, вновь начала писать.

...Однако, подходя к кабинету отца по темному коридору, увешанному картинами, она не услышала гневного крика Александра, наоборот, голос его был весел, и папа даже смеялся. Открыв дверь, Джулия и вовсе удивилась. Перед отцом в мягком цветном кресле, обитом гобеленовой тканью, сидел мужчина. Он улыбался и имел весьма странный вид. Длинные тёмные волосы были заплетены в сотню маленьких косичек, пара таких же были в его небольшой бороде. На лбу была повязка, такая же цветастая, как и кресло, одет он был в свободные штаны и футболку с рисунком радуги, выполненным в стиле «тай-дай». Шею и руки его украшали сотни разных веревочек: просто подвесок и браслетов, браслетиков фенечек и всего подобного.

Джул немного поежилась. Этот человек напоминал ей хиппи, а потому не внушал доверия. Только вот отцу он явно нравился, не зря же он пригласил его в свой кабинет, да и, судя по стоящей на столе бутылке, решил угостить своим лучшим коньяком. Это явно был кто-то из его близких друзей.

— А... здравствуйте... — Джул сделала небольшой поклон, не отводя взгляда от странного гостя, словно он мог всего за секунду вскочить и сделать что-то ужасное. Только тогда на неё и обратили внимание.

— О... милая! — радостно воскликнул отец, который был уже навеселе. (Джул точно знала, что ему хватало одной рюмки, чтоб напиться, особенно если алкоголь был крепкий.) А мы тебя ждали. Дядя Габи столько всего привёз... А, да. Габи, это моя доченька, Джулиана... Доня, это дядя Габи, мой школьный друг...

Только я хотела начать главное повествование о цели приезда этого загадочно-го друга, как у моего уха раздался противный женский голос, заставивший меня дрогнуть.

— Рюмка? Всего одна рюмка?.. Не слишком ли мало для взрослого солидного мужчины, у которого в друзьях подобный тип?

Я повернула голову, встретившись взглядом с синими глазами улыбающейся рыжей девушки. Обычно творцы зовут таких «Моя Муза». Я же звала её шизой. Она появлялась из ниоткуда, пропадала в самый неподходящий момент, вечно го-

няла кота, который на самом деле являлся воплощением моего так называемого таланта и творчества, да и многих других аспектов. Особенно любила врываться ночью с новыми идеями, а наутро забирать их все и уходить, так и не дав их записать. А иногда, как сейчас, появлялась и заставляла что-то исправлять.

— Ну... я думала, это будет интересно... — проворчала я, перечитывая последние строки. Кот, лежащий на моих плечах, недовольно вильнул хвостом, словно пытаюсь ударить девушку, но его длины не хватило, ударил он лишь воздух.

— Нет. Это не будет интересно, — строго отрезала «Муза», подняла мою руку, так как сама она ничего сделать вещами настоящего мира не могла, и зажала кнопку Delete. Когда я отдернула руку и девушка исчезла, было уже поздно, и теперь на экране не было строк описания кабинета Александра, лишь ожидания Джули во время пути по темному коридору.

Я недовольно пронила и опустила голову на стол.

— Как всегда... должна помогать, а только все портит! — я выдохнула и прикрыла глаза. Хотелось плакать оттого, что ничего не получалось.

Кот тихо перебрался на стол, и пусть он был невесомый, не весил ни грамма, я ощутила на плечах лёгкость. Ощутила и то, как на голову опустилась мягкая лапка, словно пытаюсь погладить.

— Ну тише-тише... чего ты сразу в слезы?

Я подняла голову, посмотрела на рыжего. Он сидел прямо передо мной на клавиатуре и, наверняка, будь он настоящим котом, а не только плодом моего разума, на экране давно бы появился непонятный набор символов и букв.

— Ну не получилось... с каждым бывает. Ты же о семье хотела писать?

Я чуть кивнула головой.

— Да, о семье. Этот рассказ должен был быть о поиске гармонии и любви внутри разбитой работой и такими неважными «важными» делами семьи.

— Ну, вот... Так зачем тогда тебе этот посредник, этот чужой человек, персонаж, которому ну совсем не место в этом доме?..

Он заставил меня задуматься. А действительно, зачем? Ни Чарли, ни Габриел не подходили под дом Джули и Александра, под них даже приходилось менять кабинет.

Я чуть провела рукой, отодвигая кота. Он довольно замурчал и лёг между мной и компьютером, тем самым даря мне покой воображаемым мурчанием и одновременно не мешая мне печатать. Я до конца стерла ненужное мне предложение и вновь, в третий раз за этот вечер начала писать один и тот же фрагмент.

...Однако, подходя к кабинету отца по темному коридору, увешанному картинами, она не услышала гневного крика Александра. В кабинете было тихо и, казалось, вся жизнь из него исчезла. На самом деле, так и было. Джули приоткрыла дверь, и взгляду её представился пустой кабинет отца, залитый лучами солнца. Ей всегда тут нравилось. Зелёные успокаивающие стены, деревянная мебель, от которой пахло смолой и лесом, сотня книг на стеллажах... Обычно папа сидел в кресле за столом, заваленным бумагами, что-то писал, чиркал, рвал, выкидывал в мусорное ведро, звонил каким-то важным людям, ругался на них и очень злился, если его отвлекали. Джули терпеть не могла эти бумаги и звонки. Раньше она делала все, чтоб привлечь внимание отца и, как в детстве, поиграть с ним, но после привыкла к его работе и стала развлекать себя сама, как могла...

Сейчас же всех этих надоедливых бумаг не было. Стол был чист, и даже в мусорке не осталось разорванных на части договоров. Лишь одна маленькая записка

лежала на столе. На желтой бумаге чёрной ручкой аккуратным отцовским почерком были выведены слова: «Тик-так, птичка. Время поиграть».

От прочтения этих слов по спине пробежали мурашки, но далеко не от страха, а от воспоминаний. Именно такой фразой отец начинал вечер игр, когда они в зале у камина собирали весь персонал дома и вместе развлекались, придумывали разные игры, рассказывали легенды и просто отдыхали душой. Это было так давно. С момента, когда мама ушла, все эти игры прекратились.

Джул вздохнула и мотнула головой. Она перевернула бумажку и сразу же поняла, что это за игра. Она называлась «Ищи меня...». На деле же это был простой квест, задачей в котором было найти подсказку.

«Ищи меня там, где цветут и благоухают розы», — гласила надпись на обратной стороне листка. И вроде бы, все понятно. Нужно идти туда, где растут розы. Только вот в их доме не было этих цветов. У Александра была на них аллергия, она же передалась и Джул, а потому вместо роз в саду были лилии, лаванда, олеандры и много других красивых цветов.

— Розы... розы... розовый сад! — вдруг поняла девушка. Да, одна из троп дорожки солнца вела к такому саду. И нет, там цвели вовсе не розы. Он носил такое название из-за своего нежного сладкого розового цвета.

— Ну, что ж... поиграем, — улыбнулась девушка, убирая бумажку в кармашек своего платья. Она поспешила на улицу. Вышла через главный вход, а от него по тропинке, опять мимо фонтана, побежала к дороге солнца. Розовый сад был самым дальним искусственно созданным мирком, в который она вела, а потому бежать пришлось дольше, чем от осеннего леса. Помимо сада и леса, тут было ещё семь миров, которые существовали лишь благодаря магии, но за ними все равно нужно было следить и ухаживать, иначе они бы умерли, как, например, случилось с равниной огня. Когда-то это было прекрасное место, пускай и очень жаркое, теперь же там была лишь серая, покрытая пеплом пустошь: за огнём не уследили, и он навсегда погас.

Наконец, Джул забежала в сад. Здесь была вечная весна. Цвели вишни, яблони и сливы, стоял прекрасный аромат, птицы пели радостные песни. Розовый сад был местом для полного отдыха от всех проблем и бед.

Зайдя через деревянную калитку, девушка тихо побрела по усыпанной лепестками тропинке. Там, вдалеке, стояла беседка, а в ней сидел мужчина. Это был садовник. Он жил в этом саду, ухаживал за ним, поддерживал магию.

— Доброго дня... — помахала ему рукой Джул, но ответа не получила. Оно и не удивительно. Он был немым и не мог ответить. Вместо ответа, он протянул Джули чашку ароматного чая, приглашая насладиться спокойствием его дома. Она слабо кивнула головой и приняла напиток. Но стоило ей поднять чашку от маленького блюдечка, как на стол упала ещё одна жёлтая бумажка. Нет, не было времени отдыхать, нужно было идти дальше.

Она развернула бумажку: «Ищи меня там, где не бывает тепла. Ищи меня там, где всегда холода».

Тут и думать не пришлось. На дороге солнца был всего один холодный мир — ледяное озеро. Там царила вечная зима. Джул помнила, как они с отцом катались на коньках. Жаль, что сейчас у него не было на это времени.

Она попрощалась с садовником и поспешила за новой запиской.

На ледяном озере девушку встретила стая воронов. Они были местными хранителями. На крыле одного из них и была найдена новая подсказка. Ох, и при-

шлось же Джул побегать, чтобы её достать. Зато посмеялась от души и вся извалялась в снегу.

Так, шаг за шагом она прошла все девять миров. Последним стал осенний лес.

Джул все ещё помнила свою утреннюю погоню и была уверена, что хранитель не будет особо рад её видеть. Но иного варианта не было. Она вновь пересекла невидимую стену и побрела вперёд. Предзакатное солнце делало это место ещё красивее, и сейчас она в полной мере могла насладиться красотой того, чего не увидела, убегая от монстра.

Кстати о монстрах... Ждать его появления долго не пришлось. Хранитель вынырнул из-за дерева и мягко приземлился на листву рядом с девушкой. На этот раз он не рычал и не злился, а словно хотел её провести — выполнить свою работу. И Джул поверила ему. Пошла следом, и совсем не зря. Хранитель вывел её на поляну. Там, расстелив на траве плед и поставив тарелки с бутербродами, явно сделанными им самим, стоял отец.

На нем не было привычного строгого костюма, не было часов на руках и телефона у уха. Зато на нем были тёплый свитер и джинсы, а на лице сияла улыбка. Та самая, которой Джул так не хватало.

— Пап... ты чего? Сегодня особенный день? — с недоверием спросила Джули, подходя ближе.

— А разве день должен быть особенным, чтобы мы, как раньше, могли провести его вместе? — он улыбнулся и протянул вперёд руки.

Джул с радостью упала в объятия. Слишком долго она не ощущала этого тепла, и сейчас не верила в то, что это правда. Иногда мы слишком заняты работой и не видим, как без нас скучают родные. Так и Александр не видел, как без него родная дочь, будучи совсем рядом, теряла все накопленное за детство тепло любви. Не видел, пока тот «противный старик» Альберт, давно уже наблюдавший за Джул, не открыл ему глаза.

Они ещё долго сидели там, на поляне, говоря о чем-то своём, родном, словно не виделись сотню лет, хотя все время жили в одном доме, тихо спал рядом с ними хранитель, а ветер все так же поднимал в воздух листья и кружил их, кружил, унося с ними все печали и обиды.

Я поставила последнюю точку и оглянулась. На часах было уже около семи вечера, за окном моросил легкий дождик, кот уже давно перестал мурчать и огромным пушистым комочком спал на столе. С кухни за дверью доносились разговоры. Это папа уже пришёл домой, и все садились ужинать.

Скрипнула дверь, на пороге показалась любопытная пара голубых глаз.

— Мама зовёт кушать, — проговорила младшая сестра, и я кивнула.

— Иду... — я улыбнулась ей, а после встала, подхватила её на руки и пошла на кухню.

Наверное, и мне пора было послушать старого Альберта и отвлечься... Следом за мной пошёл и кот, все же вырвавшийся из моей комнаты.

— Ой, смотри, котик! — тут же указала Малая на него пальцем.

Я посмеялась и приложила палец к губам.

— Только тихо... После ужина я покажу тебе ещё и зайчиков, — пообещала я, и она кивнула головой, обнимая меня за шею.

А кот вильнул хвостом, загадочно подмигнул мне и исчез, впервые за все те дни, что я сидела с рассказом. Видимо, и сам пошёл отдыхать.

ДАРЬЯ ГОЛОВИНА

г. ИРКУТСК
УЧАСТНИЦА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. СОВРЕМЕННОСТЬ»

О простом

Снежинки...

Такие простые в своём существовании, но, кажется, такие сложные и интересные. Хотя, казалось бы, что может быть сложного в до невыносимости простом, жалком, тихом существовании? Кому они нужны, эти снежинки?.. А они нужны... Они нужны зиме, уходящей, уже совсем холодной осени, и бесконечному круговороту природы. Без них, без снежинок, не было бы той атмосферной, холодной, окутанной трескучим морозом российской зимы.

А кому нужна эта зима? Кто придумал, чтобы в году три месяца были обязательно с невыносимым холодом, от которого так и хочется спрятаться, укрыться под что-нибудь тёплое, и не выходить, как минимум, до весны. А ведь этот холод так и норовит укусить, ошпарить своим колючим, шершавым языком, оставляющим обледеневшую красноту на щеках и на пальцах. Кому нужна такая зима?.. Детям... Детям нужна такая зима. Ведь если бы не дети, мы бы не видели этих смешных снеговиков во дворах и на площадках. Не наблюдали бы за «взятиями снежных городков», не слышали бы весёлого, громкого смеха ребятни, катающейся на ледяных горках. А этот смех не грел бы нам душу, пока внешний мороз пытается нас ошпарить и укусить. Мы бы лишились такого прекрасного развлечения и изящного красивого вида спорта, как фигурное катание... Всё было бы по-другому, если бы не снежинка. Если бы не снег, не холод, не зима...

А всё же, у снежинок слишком жалкое существование... Мы ведь убиваем их, когда притрагиваемся к ним. Мы убиваем своим человеческим теплом, в то время как они нуждаются в постоянном холоде, без которого их жизнь не имеет никакого смысла. Они просто падают с перешитого белыми облаками неба, прилипают мокрыми лапками к веточке высушенного куста или дерева, или к серому асфальту, и остаются там до тех пор, пока их кто-нибудь не сбросит или не затопчет. А некоторые остаются там до начала тёплой весны, которая превратит всю эту снежную ледяную красоту в серую грязь и в печально журчащие ручейки.

Вот так снежинки и проживают свою короткую, холодную, но имеющую большую важность в величавой природе жизнь. Ибо если бы одной маленькой детали не было в этом огромном природном пазле, то он бы просто не имел никакого значения. Ничего не имело бы значения...

Критика и публицистика

ЛЮБОВЬ ГОЛОВИНА

г. ИРКУТСК
1-Е МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА»

История одной нелюбви к пианино и не только

(РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ СВЕТЛАНЫ МИХЕЕВОЙ «РОЗА, ИГРАЙ!»)

Повесть Светланы Михеевой «Роза, играй!» затрагивает важную и неисчерпаемую тему взросления. Многое основано на воспоминаниях автора, и, как любой текст, в котором есть личное, он вызывает ощущение достоверности и напряжения. Роза — старшеклассница, которая не слишком уживается с матерью, не слишком счастлива в школе и не слишком богата на настоящих друзей. История расхожая для многих девочек-подростков, если бы не одно «но» — самоубийство влюблённого в героиню мальчика... И, несмотря на то, что действие разворачивается ещё в Советском Союзе, о чём мы догадываемся по описанию быта, это не отдаляет происходящее от современности. Наоборот, описанная история читается «как сейчас», актуальна и злободневна.

Выбор имени героини, как мне кажется, совсем не случаен. У Светланы Михеевой вообще не бывает случайностей: просто художественные детали, как пазл, складываются в узор постепенно, не сразу обнаруживая метафорический смысл. Названная как цветок, героиня демонстрирует близкую связь с природой. Автор как бы мимоходом упоминает, что в доме много растений, но мать Розы постоянно забывает поливать их. Подспудно угадывается намёк, что и сама дочь для неё точно такое же растение.

Показательно, что девочка учится в биологическом лицее и многие свои наблюдения за поведением людей описывает через проявления других живых организмов. Так, например, желание, чтобы Егор отстал от неё со своей навязчивой любовью, она сравнивает с поведением самок-плавунцов, которые защищаются от самцов, пока хватает сил. Многое Роза описывает через категорию естественности. Например, она завидует «естественной взаимной привязанности» в семье подружки Таси. Надо отметить, что растительный, природный мотив был подхвачен художником Татьяной Ус: обложка и иллюстрации, на которых изображены деревья, смотрятся очень органично самому тексту.

Мать героини мечтает сделать из дочери пианистку, не считаясь с отсутствием у Розы интереса к музыке. В тексте опять как бы вскользь упоминается, что женщина сама в детстве играла, да и пианино тоже её, доставшееся от Розиной бабушки. И эта деталь делает историю типичной и узнаваемой: сколько таких выросших детей, чьи родители пытались воплотить в них свои мечты, не реализованные по разным причинам в нужное время и не имеющие ничего общего с мечтами их ребёнка?

Пианино становится сквозным образом, проходящим через всю школьную жизнь героини. Роза называет его не иначе как гроб на колёсиках, а его звук мыльным, серым и клейким. Именно с его появлением в доме девочка начинает борьбу за собственные границы. Тогда, в младших классах, это были лишь слабые попытки вырваться из тисков маминого желания непременно вырастить из дочери музыканта — прогуляла урок музыки, записалась в цирковую студию, чтобы не стало времени играть на пианино. Но с возрастом этот протест проявляется всё отчётливее: я имею право делать что хочу; дружить с кем хочу; любить, кого хочу. А главное, я имею право не любить того, кто любит меня, не отвечать взаимностью...

В старших классах героиня, несмотря на сверстников, которые влюбляются и заводят отношения, абсолютно равнодушна к этому. История с любовной запиской, которую она через подругу передает выпускнику, с которым даже не знакома, скорее, игра, шалость за компанию. Роза как будто делает первую пробу, опускает ступню в холодную воду реки и сразу же вынимает с уверенностью, что вовсе не хочет в неё вступать. У выпускника, которому Роза адресовала записку, внезапно обнаружилась девушка, которая «пошла отстаивать честь их пары», прижав соперницу к стене. И Роза «решила не бороться за свои чувства». На самом же деле, для неё никаких чувств и не было.

А возлюбленную выпускника она сравнивает со стареющими мамиными подружками, которые по одной приходили на кухню и ныли о своей пропавшей жизни. Розу возмущает их борьба за простое женское счастье, всё это кажется ей недостойным и мещанским: «...мне было известно, за что они (в том числе и моя мать) бились всю свою жизнь, долгие унылые годы, как пытались удержать мужей, взрастить детей. Я наблюдала, как они, пытаясь проконтролировать цветущий мир вокруг, теряли себя самих, распались на детали и функции в поисках гармонии и равновесия, которые они легкомысленно называли «счастьем» и планировали в виде подарка судьбы или подарка мужчины. Счастье для них непременно сопровождалось всеобщим послушанием, предельной понятностью, комфортом последней стадии». Роза понимает, что за чувствами маминых подруг и её мамы стоит желание контролировать. И, видимо решив, что вся любовь эгоистична и фальшива, девочка видит главной ценностью для себя свободу. Именно к ней она рвётся, именно поэтому так предвкушает взрослую жизнь. Если всем хочется взрослой любви — пускай, ей интересно другое — освободиться от родительской и школьной зависимости.

Героиня не знала любви в семье, поэтому и не научилась принимать это чувство, выказывать бережное к нему отношение. Ей не у кого было этому научиться, с её чувствами тоже никто не считался: «Ненавидишь пианино — играй». А потому признание Егора, сделанное в школьном коридоре, вызывает в ней только смятение и неловкость, что он сделал это «на людях». И вместо понимания, уважительного ответа Роза демонстрирует только равнодушие: «Ну и люби себе, пожалуйста, кто мешает». Будучи жертвой нелюбви, девочка, сама того не желая, продолжает цепочку жертв. Однако на невольную жестокость Розы по отношению к Егору мир взрослых реагирует с не меньшей жестокостью.

Когда случилось страшное — самоубийство героя от неразделённой любви, взрослые оказались инфантильны и беспомощны. Обрушившаяся на Розу молчаливая «травля» с их стороны так и не нашла обоснования: «Ни Мария, ни Лиза, ни Марина Сергеевна, ни другие не дали никакого определения тому, за что пори-

пали меня». А сцена приезда комиссии из города для разбирательства выглядит фантазмагорией — девочку вызвали к директору, где так и не задали ни одного вопроса. И даже школьный психолог Мария только отводит глаза.

Вообще мир взрослых в повести — это мир функциональных людей, которым не до разговоров и «копания» в чувствах. Мать Розы выполняет ряд функций — карательную, питательную, объяснительную. Примерно тем же занимаются учителя — только учебная программа, только репутация школы. Всё остальное не интересно, не важно. К выполнению сострадательных и чувствительных функций большинство взрослых в повести не готовы. Никто из них не задумывается о детской душе. Розе даже кажется, что взрослые вообще отвергают наличие души в детях до восемнадцати лет.

Мир взрослых и мир детей в повести резко противопоставлены друг другу. Но между ними не чёткая граница, а размытая прослойка, в которой находятся такие пограничные персонажи, как Мария. «Она уже не была ребёнком, но никто её так и не научил быть взрослой». Да и собственную мать Роза считает невыросшей: «Она казалась мне необыкновенно чёрствым взрослым, хотя, как я понимаю теперь, это была лишь растерянность не определившегося в жизни человека. В свои годы она была похожа на меня, подростка, с его полудетским эгоизмом, который провоцирует необходимое в этом возрасте одиночество».

Мотив границы, пограничности миров намечен ещё в начале повести. Главы, посвящённые беззаботному раннему детству Розы, своей яркостью и чутким восприятием жизни вокруг напоминают «Вино из одуванчиков» Брэдбери. И, перейдя к основному сюжету, несколько недоумеваешь, зачем автор начал историю сильно заранее? Зачем ему понадобилось вывести Розу, когда она была ещё детсадовским малышом? Отчасти, вероятно, для контраста: атмосфера безоблачного детства делает более выпуклым изображение первых серьёзных проблем, поисков себя и уроков выживания. Но только к концу книги понимаешь, что повествование о раннем детстве Розы гораздо сильнее связано с основным сюжетом. Ведь именно здесь читатель впервые видит, как девочка задумывается над понятием «граница». Уже тогда она осознаёт её как философскую категорию, как разделение разных миров — потустороннего и посюстороннего, а не просто как пространственную черту: «Иногда возле оранжевой стены панельной пятиэтажки, торцовой, без единого окна, обшарпанной до невозможности, я пятилетняя замирала. Там, где стена смыкалась с фундаментом, из этого стыка, из неровного шва лезли травы, зелёные выводки клёнов, или колыхались над ним жёлтые и белые одуванчики. Внутри, под углом, образованным отмошкой и стеной, я предполагала наличие смежного мира, откуда пробивается к нам жизнь». Роза даже уверена, что именно через этот стык появляются на свет младенцы. Та сторона просто выталкивает их в этот мир.

И вот Роза-выпускница сама, как младенец, оказывается вытолкнута из ещё детской жизни в другую — взрослую, безжалостную, которая перемалывает тебя, если даёшь слабинку. Но внезапно то, что в детстве так раздражало — требование мамы сыграть на пианино, — вдруг стало для героини мощным стимулом не сдаваться. Триггер трансформировался в декларацию прав девочки. «Роза, играй», — говорит она сама себе, принимает боль, справляется с ней и снова чувствует настоящую жизнь: «Определённость накрыла мой мир, как цветущая весна».

Книга будет интересна всем, кто уже давно вышел из школьного возраста, потому что в каждом из нас было это мучительное взросление. При этом повесть, если следовать современной терминологии, относится к литературе young adult и будет полезна старшеклассникам. Она поможет понять, как важно слышать свои

истинные желания, но при этом уважать чувства других. Главная героиня одновременно показывает пример стойкости и антипример вынужденной жестокости. Роза — батарейка, со знаками плюс и минус, и весь вопрос в том, каким концом она повернется в конкретной ситуации. Но благодаря этой характеристике девочки, читатель осознает, что нужно не только отстаивать собственные границы, но и не позволить другим дойти до грани, тем более, переступить через неё.

АНТОН ЛУХНЁВ

г. ИРКУТСК
2-Е МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА»

В паутине интриги, или Театр в театре

ОТЗЫВ НА СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЮШКИН СОН»
ИРКУТСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ «АИСТЁНОК»

Вдруг ко мне спорхнула ты,
Будто с горней высоты
Ангел мира, ангел света...

В.К. Кюхельбекер

Скажу более: князь произвёл,
в некотором смысле,
переворот в нашем городе.

Ф.М. Достоевский, «Дядюшкин сон»

Ф.М. Достоевский не создал ни одного драматургического произведения. Но ещё при жизни писателя его прозу стали переносить на театральную сцену. И первым произведением, увидевшим свет рампы, была повесть «Дядюшкин сон». Автор инсценировки Л.Н. Антропов на основе повести создал водевиль «Очаровательный сон», который и был поставлен на сцене московского Малого театра в 1878 году. С тех пор герои Ф. Достоевского стали очень популярны в театре: за последние сто лет повесть инсценировали М. Чехов (Третья студия МХТ, 1921), В. Немирович-Данченко (МХАТ, 1929), М. Кнебель (Московский театр им. В. Маяковского, 1972), А. Васильев (Художественный театр Будапешта, 1994), В. Иванов (театр им. Е. Вахтангова, 2000), Т. Чхеидзе (АБДТ им. Г. Товстоногова, 2008) и другие.

Но кто бы мог подумать, что «Дядюшкин сон» можно поставить в кукольном театре!?! И как!?! Содержание, идея повести получила в постановке Игоря Казакова на сцене Иркутского театра кукол «Аистёнок» оптимальную форму (художник-постановщик — Ольга Дворовая, композитор — Денис Кудрявцев).

В фойе театра создана инсталляция (авторы: Светлана Шергина и Ольга Дорохина), которая уже подготавливает зрителя к восприятию спектакля, настраивает. На фронтальной стене по краям размещены чёрно-белые фотопортреты кукол — персонажей спектакля, в центре, почти до потолка высотой, находится окно или дверной проём с видом на зелёную аллею парка, где стоит скульптура купидона. У стены, посередине, на треножнике водружён большой, как чемодан, ящик — старинный фотоаппарат. Загляните в объектив, и вы увидите, что внутри ящика находится игрушечная комната. Горит свет. В центре комнаты за письменным столом сидит кукольный Фёдор Михайлович Достоевский и что-то пишет. Метафору можно раскрыть, мне кажется, так: прочитав то или иное произведение Достоевского или увидев его сценическое воплощение, мы начинаем смотреть на мир по-новому, наше представление о жизни, о человеке переворачивается. (Фотографы знают, что старинные фотоаппараты «переворачивали» объект; кинолюбители вспомнят эпизод из кинофильма «Полосатый рейс».) Визуальный ряд, несколько старинных фотопортретов, как увидят зрители, появляется и в спектакле и работает на основную идею.

Как известно, Достоевский в своих произведениях утверждал принципы христианского вероучения, которое различает в человеке телесное и духовное начала. Эта двоякая природа воплощается на сцене в наличии куклы и кукловода. В традиционном кукольном спектакле кукловод создаёт образ персонажа вместе с куклой, неотделим от неё. Отличие спектакля «Дядюшкин сон» Иркутского театра кукол заключается в том, что большинство персонажей имеют две ипостаси, воплощённые куклой и актёром, а главный герой — князь К. — представлен только актёром Владимиром Яковлевым. Такое сценическое решение даёт ключ к пониманию основной идеи спектакля. Эта идея, мне кажется, состоит в том, что человек теряет «зрак человеческий», образ и подобие Божие, и становится подобен кукле, если подчиняется своим страстям (таким как: себялюбие, сребролюбие, сластолюбие) или подчиняется другому человеку, имеющему корыстные интересы.

Пожилый князь имеет много искусственных элементов, но этот персонаж не имеет кукольной ипостаси. Потому что в нём дух преобладает над телом. Потому что, в отличие от большинства других персонажей, у князя нет материальных, земных интересов: он едет в монастырь, чтобы позаботиться о своей душе. Напротив, Марья Александровна Москалёва (Анастасия Усольцева) всеми силами пытается вызвать в знатном госте интерес к своей дочери Зине (Дарья Юртаева) и женить на ней старца. И госпожа Москалёва почти добивается своего.

Декорация спектакля проста. Основное пространство сцены занимают невысокий овальный помост и примыкающий к нему сзади округлый проём-рамка, который служит и входом в комнату и окном в закадровое пространство — сознания, воображения, памяти. Яркое впечатление производит на зрителя рассказ г-жи Фарпухиной о соблазнении князя в доме г-жи Паскудиной. Рассказ этот сопровождают идущие в рамке живые картины (или кадры немого кино) с элементами гротескной эротики. В следующем эпизоде, когда Зина поёт старинный романс для князя, в рамке появляются чёрно-белые фотографии, или дагерротипы, изображающие романтических кавалера и даму, и одиночный женский фотопортрет. Прослушав пение, князь говорит, что этот романс напомнил ему прошлое и его давнюю возлюбленную, виконтессу. (Примечательно, что дама на портрете очень похожа на Зину — Юртаеву.) Так, с помощью визуального ряда, театр открывает нам сознание героя и способствует раскрытию основной идеи постановки, как

её сформулировал режиссёр: «“Дядюшкин сон” — это метафора хрупкости, скоротечности жизни, которая проносится очень быстро, оставляя в итоге только самое ценное и значительное в жизни каждого человека — любовь».

Условность кукольного театра позволяет поиграть с образами и метафорами Достоевского. Характерные черты персонажей повести на сцене получили адекватное шаржированное воплощение в куклах. Так Мозгляков (Роман Бучек), у которого, по словам рассказчика, «в голове не все дома», много смеётся, играет гибкими ножками. Оставшись наедине с Зиной, он говорит: «Я прилетел узнать мою участь» и на несколько секунд превращается в муху, назойливо жужжащую вокруг девушки. (Кроме того, «Я — осёл», повторяет он трижды и, действительно, как будто похож на осла.) Длинные руки Марьи Александровны напоминают конечности паука и выражают главное качество героини — стремление к руководству, к власти (что подтверждают слова рассказчика в повести: «не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом <...> тирания есть привычка, обращающаяся в потребность»). Афанасий Матвеевич Москалёв (Роман Зорин), который по причине бесполезности и слабоумия сослан женой в деревню, отличается тем, что тщательно ухаживает за своей внешностью и, застигнутый после бани, спешно сушит волосы... феном. Наталья Дмитриевна Паскудина (Алиса Литовченко), в повести названная «кадушкой», имеет форму кадушки. Шаль Софьи Петровны Фарпухиной (Диана Денисенко) делает её «сорокой». Плутоватая Настасья Петровна Зяблова (Надежда Светлова) наделена преобладающим органом слуха. За исключением Зины, её умирающего возлюбленного и его матери, у кукол-мордасовцев вместо лиц — грубые морды.

Как Марья Александровна овладевает своими жертвами, вовлекает в свою паутину Мозглякова и Зину? Посредством внушения. И с помощью своего театра кукол: в нужный момент на помосте появляется декорация, госпожа Москалёва становится кукловодом и показывает, разыгрывает на сцене-помосте картины, созданные её коварным воображением. Снова появляется рамка, в ней массовка-хор, подпевающий Марье Александровне. Так возникает театр в театре. И Зина и Мозгляков, каждый в свой черёд посмотревшие спектакль, в котором они предстают главными героями, становятся марионетками наяву.

Но Зина преодолевает своё марионеточное состояние в сцене развязки, когда девушка отделяется от куклы и, пересекая планшет сцены, произносит исповедальный монолог, признаваясь князю в своей вине. Так перед нами является душа, проявляется духовная ипостась героини.

Заключительная сцена спектакля напоминает финал водевиля А.П. Чехова «Свадьба» (1889). И недаром: в обоих произведениях конфликт происходит между человеком и лицемерным обществом, ценящим не человека, но его ярлыки — звание, титул. В финале пьесы Чехова, когда самодовольная толпа глумится над благородным старцем, герой восклицает: «Человек, выведи меня!» Но ему никто не отвечает.

Герой Достоевского, как хищными зверями растерзанный мордасовцами, вызывает о помощи, о защите: «Друг мой, заведи меня отсюда». Кто же отзывается князю? Зина? Виконтесса? Это определённо неземной, нездешний образ. Это ангел выходит навстречу князю, берёт его, словно зачарованного, за руку и через овальную рамку уводит его душу со сцены (актёр Владимир Яковлев, до сих пор облачённый в красный камзол, оказывается в белом и без парика), уводит от земной жизни, из «юдоли плача». Уводит к свету.

Финал спектакля отличается от концовки повести. Но этот финал, предложенный Игорем Казаковым, ничуть не противоречит сюжету повести и, как мне кажется, правомерен (со мной согласна известный специалист по творчеству Ф.М. Достоевского, доктор филологических наук Ольга Юрьевна Юрьева). В постановке Иркутского театра кукол, на мой взгляд, произошёл идеальный синтез прозы и сцены, когда в результате взаимодействия обе стороны выигрывают: театр получает благодатный сюжет и характеры, а проза, идея оригинального произведения, по-новому освещённая, получает в театре новое прочтение.

А что получает зритель?

Зритель идёт в театр в ожидании чуда, в ожидании, что его картина мира перевернётся. Он расположен к такому перевороту, его воображение, мысль, чувства отзываются на происходящее на сцене. И если он узнаёт себя в персонаже, значит, видит себя со стороны и, значит, оказывается по другую сторону своей картины мира. Вуаля! Переворот!

Спектакль «Дядюшкин сон» Иркутского театра кукол оправдывает ожидание этого зрителя.

КОНСТАНТИН СКУБЧЕНКО

г. ИРКУТСК
3-Е МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА»

Жизнь — это дар

На нашем веку появилась новая и достаточно серьёзная болезнь, с которой врачи еще не придумали способ борьбы, — депрессия. Это следствие, которому предшествовал ряд негативных явлений. Депрессия не возникает вдруг, ваши страхи, обиды, злость, усталость объединяются, и происходит выгорание. В таком состоянии появляется отстраненность от мира и полное безразличие ко всему.

Этого можно избежать, из депрессии можно выбраться, нужно лишь социальное взаимодействие и полная отдача тех людей, которые вам помогают. Простой пример: вы работаете в офисе. Рано утром идёте на работу, вечером домой, готовка, стирка, уборка, еда, сон — ваша монотонная жизнь не доставляет вам радости, более того, появляется все больше раздражителей.

Когда чувствуете, что начинаете срываться, просто возьмите себе небольшой отгул на три дня. Посвятите эти дни только себе, можете спать сколько хотите, отключите телефон, пусть вас не беспокоят посторонние мысли, займитесь для себя чем-то новым, сходите туда, где еще не были. Обязательно помните, что у вас есть друзья и родные, которые готовы поддержать, откройтесь им. Не нужно вываливать проблемы и жаловаться, посмейтесь над ними, словно для вас они ничего не значат. Уделите себе столько времени, сколько посчитаете нужным, и подумайте: ведь вы можете однажды и сами спасти человека от депрессии.

Но не все бывает так радужно, некоторые люди все же выгорают и, не найдя помощи, проваливаются в болото, утягивая за собой остальных.

Речь идет о наркотиках. Надо четко понимать, что когда человек начинает употреблять психотропные вещества, он находится на краю бездны. Но почему же, зная обо всех последствиях, все больше молодежи так стремится сорвать этот запретный плод?

Каждый случай уникален, но я расскажу про свой.

Находясь длительное время в депрессии, я пытался всеми силами найти способ из нее выйти, но, не найдя утешения в привычных для меня вещах, я отчаялся на этот шаг. Выйти на тех, кто продает смерть, очень легко, так же легко ты найдешь себе и компанию людей, чьи интересы сейчас совпадают с твоими. Первый раз будет немного страшно, однако это что-то запретное, неизвестное, и интерес берет верх над здравым смыслом. Когда ты находишься в состоянии наркотического опьянения, тебя ничто не волнует, ты чувствуешь легкость и приятный дурман, твоя голова кружится, и с лица не сходит улыбка. Тебя заботит лишь чем перебить сушняк. Ты существуешь здесь и сейчас, тебя не волнует вчера и завтра, прошлое и будущее, ты сосредоточен на том, что тебе приносит удовольствие.

Но оно закончится.

Вся эта радость, все эти ощущения быстро уйдут и заберут приятные воспоминания. Но их уже не забыть, и ты хочешь повторить, еще и еще. Ты уже не понимаешь, почему все считают это злом, ведь тебе хорошо. Есть такие же, как ты, люди, вы проводите вместе время, веселитесь, что же в этом плохого?

Однажды я побывал на том свете. Мне поплохело в лифте, и я отключился в подъезде. Мое сердце почти не билось, вокруг была тьма. Наступило состояние, когда ты ничего не видишь, не можешь услышать, у тебя нет своих мыслей и тела. Ты и есть эта тьма, и есть лишь осознание, что ты существуешь. Вокруг меня стояли люди, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то пытался мне помочь. Так я вернулся в реальный мир и впервые столкнулся с последствиями.

Мне очень повезло, что врачи поверили мне, ведь у нас была заранее легенда о том, что мы выпивали у друга и шли на концерт. Ведь могло все закончиться приездом полиции и тюрьмой. Через некоторое время у меня появились проблемы с сердцем, давлением и кровеносной системой. То, что мне приносило радость, моя отдушина меня же и убивает, заставляет страдать, причем не только меня, но и окружающих меня людей. Но однажды я уже посмотрел смерти в глаза, и никогда мне не забыть это чувство. И я решил перестать употреблять наркотики, так как мне был дан ещё один шанс. Я стал больше общаться с друзьями, силой вытаскивать их из дома и работы, для того чтобы повидаться, стал помогать своим родным, начал интересоваться неожиданными для себя вещами, например делаю принты на одежду, стал пробовать что-то новое для себя.

Я начал жить.

Жизнь может приносить вам удовольствие, если вы решите для себя, что хотите быть счастливым. Держитесь за эту мысль, не позволяйте тьме поглощать вас. Но если наркотики и депрессия все же победили, то мы сталкиваемся с еще более страшным явлением — суицид.

Очень интересное наблюдение было сделано учеными по всему миру: нет ни единого живого организма на нашей планете, кроме людей, способных совершить самоубийство. В этом плане человек странное существо, и в его странности кроется большая проблема. Ведь суицид есть осознанное стремление оборвать свою

жизнь. К сожалению, люди стали более отстранены от общества в последнее время, и, если человек намерен действительно покончить с собой, его будет трудно остановить. Невозможно знать, о чем он думал, что сподвигло его совершить над собой суд. Для меня это очень печальное явление, мне искренне жаль этих людей. Ведь после смерти вас ждет тьма, в которой неизвестно как долго сохранится ваша частичка сознания, и это все — я знаю, о чем говорю, ведь уже побывал там. Почему же у нас такой разлад в обществе? Ведь если подумать, столько проблем можно было бы избежать и скольких людей спасти, если бы мы просто поддерживали друг друга, уважали и по-настоящему проявляли сочувствие.

Это и есть выход. Надо только понять: в какой бы ситуации мы ни оказались, всегда встретятся люди, готовые прийти на помощь, не надо бояться.

Будем помнить, что жизнь — это дар, нельзя тратить его зря.

ЕЛЕНА КОКОУРОВА

г. Иркутск

УЧАСТНИЦА ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Молодость. Творчество. Современность»

О романе Юрия Харлашкина «Кирилл и Мефодий»

Материалом для данной статьи послужил роман молодого иркутского писателя Юрия Харлашкина «Кирилл и Мефодий». Произведение ещё не закончено (выпущено всего 4 главы), но всё же заслуживает внимания.

За основу романа взята история создания славянской письменности. Выбор темы очень удачен: мало кто знает, как появилась славянская письменность, и новое освещение давно прошедших событий расширит у современного читателя представление о них. В произведении описаны реальные факты: и славянское происхождение матери Кирилла и Мефодия, и их билингвизм (их отец был греком), и место действия — Салоники. Кто-то здесь увидит сходство с романом «Айвенго» Вальтера Скотта: как и английский писатель, Харлашкин, чтобы описать историю создания кириллицы, ввёл в произведение художественную линию, определённый сюжет, чтобы текст не был похож на нудный учебник истории, сухую хронологию. Такой подход можно расценивать как большой плюс, но, на мой взгляд, на авторе в этом случае лежит большая ответственность: нужно максимально глубоко изучить тему, чтобы не допустить фактических ошибок при описании реальных исторических событий и при этом не переборщить с художественным вымыслом. Главное, что удалось сделать автору — это погрузить читателя в атмосферу древности, будто ты и сам оказываешься в IX веке и наблюдаешь за всем со стороны. Картины быта и жизни того времени, пейзажные и портретные зарисовки помогают ощутить описываемую эпоху.

На мой взгляд, автору удалось создать достаточно интересный образ Константина (впоследствии Кирилла). В романе прослеживается его становление от самого детства и, видимо, продолжится до совершения его великого дела. Читателю представлен образ человека, страстно влюблённого в язык, книги, в общем смысле — это филология, и увлечение ею свидетельствует об исключительности природы. Только такой человек мог создать письменность для славянского народа:

«Ему показывали образчики письма. Он их разглядывал, заучивая облик, влюблялся в них до сердцебиения, бредил ночами, а потом... и только потом Философ пристрастился к чтению».

«Философ просиживал в библиотеке долгие часы, удивляя родных и близких».

«...он обрёл одухотворённость и возвышенность — свойства редкие для людей, но тем не менее иногда встречающиеся».

Несмотря на одарённость Константина, его страсть к науке, автор показал его и как простого человека — повествование начинается с детства, и, соответственно, он изображён как обычный ребёнок — пусть и очень умный, жаждущий учиться, но всё-таки ребёнок, который, сам того не осознавая, взрослеет:

«Константин так же проказничал, бегал и смеялся, предавшись детским забавам и позабыв об учёности. Его уже не волновали латынь и хитросплетения богословских премудростей, мысли о божественном храме и его красоте. Он окупился в эту самую красоту с головой, ни о чём не задумываясь».

«Он знал многое, но не понимал, что превращается в юношу, и не представлял, какие бури приносит сей возраст».

На мой взгляд, это очень естественно, потому что не нужно забывать: все великие люди — тоже люди, каждый из них просто человек в каких-то проявлениях, и автор ненавязчиво и тонко напоминает читателю об этом.

Мне показалось, что мало уделено внимания брату Константина — Михаилу (впоследствии Мефодию), а ведь он тоже значимая фигура в истории, и его роль велика в создании и развитии славянской письменности. Это он перевёл книги с греческого языка на старославянский после создания кириллицы. Возможно, в дальнейшем его образ будет раскрыт более объёмно, и это будет очень хорошо.

О сюжете в полном смысле сейчас говорить сложно ввиду того, что роман ещё не закончен, но некоторые наблюдения сделать можно: он не перегружен лишними деталями и повествовательными линиями, язык его прост, поэтому главы читаются легко. Развитие событий и не затянута, и они происходят не слишком быстро, а гармонично переплетены с описаниями в тексте, которые не занимают много места и не утомляют читателя, но при этом детально передают образ какого-то объекта, человека или местности. Надо заметить, автору удаётся грамотно включить даже небольшие интриги, что удерживает внимание читателя к развитию событий. Стилизацию праславянской речи можно считать умеренной — сохранён дух этой речи и есть близость к современному русскому языку, чтобы читатель мог понять смысл высказываний и в то же время получил представление о славянском языке IX века:

«— Мати Мокоши, помози в трудах моих домовиты!».

«— Вы есте родомъ из коих земель? <...>

— Мы из северных земель есм, — сказал старший. — Зовем ся русь. Зело далече отсюда мы живем. У студеного моря в дрягве и в лесах. Играем гусли да поем. Велес в помочь».

В романе встречаются новые, нешаблонные средства выразительности (хотя,

как мне показалось, несколько штампов всё-таки встречается, и от них лучше избавиться), что прибавляет большой плюс этому произведению:

«Они собрались ручьями по дворикам, лились подобно рекам, затопля узкие переулочки и выплёскиваясь на соборную площадь, создавая иллюзию океана, где волны людей накатывали одна на другую...».

Не могу одобрить вкраплений славянизмов и современной грубой лексики в авторской речи романа (не в речи героев — это примечательно). Мне кажется, нужно либо абсолютно весь текст полностью стилизовать под праславянский язык, либо всё писать исключительно современным языком, либо занимать нейтральную позицию (т. е. писать, как и нужно, литературным языком), но только не смешивать всё в одно, потому что это ведёт к снижению исторической достоверности, впечатлению неуместности тех или иных речевых оборотов.

Вряд ли стоило стилизовать авторскую речь, например, под старославянский язык — он сложен для восприятия современного русскоговорящего человека, не профессионала-филолога, да и немало трудностей доставит перевод текста, поэтому автор сделал правильный выбор: в целом он придерживается нейтральной позиции и стилизует речь под старославянскую только в репликах героев, а не во всём авторском тексте (к тому же основная цель этого романа — показать историю возникновения кириллицы, а не продемонстрировать, как раньше выглядел наш язык. В конце концов можно открыть и посмотреть летописи и берестяные грамоты в открытом доступе, если хочется узнать, как раньше писали на древнерусском, старославянском, церковнославянском языках).

Выбор правильный, но от использования славянизмов, пусть и редкого типа — *«Льва выпороли аки молокососа»*, *«Сия должность не была смешна»* и неожиданных, неуместных и экспрессивных слов и выражений, типа *«требовали только тупой зубрёжки»* (подчёркнуто мною. — Е.К.) — безусловно стоит отказаться, что пойдёт только на пользу.

В завершение следует сказать: первые главы романа обещают качественное его продолжение. Недостатки незначительны и вполне могут быть устранены. Остаётся пожелать Юрию Харлашкину успешного завершения его труда, необходимого, по моему убеждению, современному читателю, поклоннику литературы на историческую тему.



ЕЛЕНА ЗУБРИЙ

Виват академия! Виват академики!

В этом году исполняется 35 лет со дня основания Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств. Основание Филиала стало ярчайшим событием последней четверти XX столетия, которое объединило художественные силы регионов, составляющих три четверти территории России! Филиал, используя веками накопленный академический опыт, ведёт работу по всем традиционным направлениям деятельности Российской академии художеств: научной, творческой, педагогической и просветительской. В уникальной коллекции Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачёва представлено более 300 имён академиков: живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства и гравировального дела, внёсших значительный вклад в развитие отечественного искусства.

Великий Пётр не раз возвращался к мысли об учреждении Российской Академии наук и художеств. Великий преобразователь и строитель, он чувствовал острую потребность страны в специалистах для оформления чертежами и иллюстрациями книг, издаваемых по военному и инженерному делу, судостроению и мореходству, различным наукам, для составления карт. Во время знаменитого «Великого посольства» (1697–1698) и поездки в Голландию, Англию, Францию, Италию (1716), посещая французскую Академию наук и Версаль, музей Оксфордского университета, Букингемский дворец, музей Лондонского Королевского общества, знакомясь с научно-художественными коллекциями и жанрами европейской музыки, он понимал, что для осуществления его величайших замыслов важно активно развивать отечественные науки и искусства.

На одном из проектов 1718 года царь Пётр Алексеевич всяя Руси начертал: «...сделать Академию, а ныне приискать из русских, кто учён и к тому склонность имеет».

Окончание Великой Северной войны и подписание Ништадтского мира со Швецией (1721) превратило Россию в империю. Это было время активного развития различных областей жизни России.

22 января (2 февраля) 1724 года Правительственный Сенат уже императора Всероссийского Петра I на своём заседании рассмотрел «Проект положения об учреждении Академии наук и художеств», «...в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам». По указанию Петра автором Проекта выступил образованнейший человек своего времени, учёный, лейб-медик двора, попечитель Кунсткамеры императора — Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. Он же стал и первым Президентом Академии.

В составе Академии были учреждены рисовальный и гравировальный классы, крайне необходимые для научного обеспечения. Преобладание в Академии научного направления приводило к мысли о необходимости создания самостоятельной отечественной высшей художественной школы.

Важнейшим этапом на этом пути была организация Московского университета (1755). Авторами знаменитого проекта учреждения университета были два высокообразованных, ярких человека своей эпохи — учёный и просветитель Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) и крупный государственный деятель, меценат, граф Иван Иванович Шувалов (1727–1797), последний возглавит его в качестве куратора (попечителя).

Два года спустя именно граф И. Шувалов создаст «Доношение в Правительствующий Сенат» (проект) об учреждении в России самостоятельной Академии художеств. Постановлением Сената императрицы Елизаветы Петровны (06.11.1757) в С.-Петербурге была учреждена Академия художеств. Некоторое время она числится отделением при Московском университете, Шувалов же становится «de facto» первым президентом Академии. Он формирует высокопрофессиональный педагогический состав, «Регламент Академии художеств» и «Учреждения Академии художеств». Передаёт в дар Академии своё ценнейшее собрание произведений искусства и уникальную библиотеку. Радует за развитие русского искусства, системы профессионального художественного образования, печётся о формировании отечественных художественных сил. Это был период успешного начинания высшей профессиональной художественной школы, активного развития её творческих сил. Первым педагогом Академии становится один из ведущих живописцев елизаветинского времени, представитель стиля рококо — Пьетро Антонио Деи Ротари.

Екатерина II 4 ноября 1764 года дарует Академии художеств Устав и Привилегию. Инаугурацию Академии, состоявшуюся 28 июня 1765 года, в годовщину вступления императрицы на престол, будет сопровождать величественное театрализованное торжество, отмеченное закладкой здания Академии, поражающего и сегодня своей грандиозностью и великолепием.

Вместе с отечественным искусством Академия пройдёт сложный, наполненный событиями путь и получит признание в своём Отечестве и за рубежом. Сформирует национальную педагогическую систему, основанную на принципах реалистического искусства и на протяжении трёх столетий будет представлять собою лучшую профессиональную школу художественного мастерства. Влияние Академии на развитие отечественного искусства в центральных и самых удалённых регионах будет огромно, как и её выпускников, способствовавших строительству и расцвету городов, культового и гражданского зодчества, монументальной скульптуры и развитию отечественного художественного образования.

Собрание «Иркутского художественного» объединяет произведения выдающихся мастеров и педагогов, составивших славу Академии и отечественного искусства. В наши дни в составе иркутской коллекции российских академиков, работавших в разных видах и жанрах искусства, более 300 имён!

Начало комплектования коллекции российских академиков музея уходит к 70-м годам XIX столетия, к частному художественному собранию крупного общественного деятеля, мецената и коллекционера В.П. Сукачёва. К концу XIX века в собрание В.П. Сукачёва входили произведения более 30 российских академиков, ведущих передвижников и представителей академической школы живописи:

А. Боголюбова, А. Варнека, Ю. Клевера, М. Клодта, Г. Мясоедова, Л. Лагорио, И. Репина, К. Маковского, Б. Виллевалде, А. Айвазовского, Ф. Бронникова и других. Галерея Сукачёва даёт представление о высоком уровне коллекционной деятельности её владельца и о самой коллекции, положившей начало нашему музею и его собирательской политике.

Каждая эпоха истории Академии, творчество её мастеров и педагогов нашли своё отражение в коллекции музея.

В екатерининскую эпоху «просветительского классицизма» это академики: Д. Левицкий, В. Боровиковский, Ф. Рокотов, А. Акимов, С. Щукин, Семён Щедрин, Ф. Матвеев. Их талант и убеждения развивали в обществе идеалы гражданственности и патриотизма, способствовали его духовному преобразованию в сторону смягчения нравов.

Столетие спустя — яркие представители отечественного искусства: профессора пейзажной живописи М. Воробьёв и К. Рабус, профессор исторической живописи высокого классицизма В. Шебуев, профессора А. Варнек, К. Брюллов, профессора скульптуры Ф. Толстой и И. Витали, представители портретного жанра В. Тропинин, О. Кипренский, П. Федотов, работы замечательных художников — академиков И. Айвазовского и А. Боголюбова. Репрезентация произведений в стенах музея, как высочайшего культурного достояния нашего народа, проходит постоянно и вызывает большой интерес посетителей.

Во время царствования Александра II «освободителя» (1860–1870), отмеченное крайней политизацией общественной жизни, — участники Товарищества передвижных художественных выставок, демократически настроенные мастера Москвы и Петербурга, впоследствии получившие звание академиков: А. Корзухин, И. Крамской, М. К. Клодт, Н. Маковский, К. Мясоедов, И. Шишкин, В. Перов, П. Прянишников, А. Саврасов и другие.

Передвижные выставки, устраиваемые участниками объединения по городам России, были важной формой коммуникации с обществом, интересным разговором о путях развития России. Пройдёт полтора десятка лет после передвижников, и Академия начнёт устраивать передвижные выставки по всей стране. Побывают они и в Иркутске. С выставок Академия одаривала произведениями музеи и учреждения образования. Так, Иркутское техническое училище получило в дар 108 рисунков, этюдов и архитектурных работ.

На рубеже веков — участники таких крупных объединений, как «Мир искусства» (Петербург) и «Союз русских художников» (Москва). Исследователи творчества замечательных мастеров отмечают высокий профессиональный уровень академической школы, демократическую наполненность творчества и активное стремление к развитию новых направлений в искусстве.

В объединение «Мир искусства» в разное время входили почти все передовые русские художники, среди них такие известные художники, как К. Коровин, М. Нестеров, М. Врубель, И. Левитан, В. Серов, К. Сомов.

Молодые московские художники и бывшие передвижники объединились в «Союз русских художников»: И. Грабарь, С. Иванов, В. Серов, К. Коровин и другие.

Талантливые произведения, созданные участниками объединений, составляют гордость русской коллекции музея!

В 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров Императорская Академия художеств была упразднена, и только в 1932 году специальным постановлением ЦИК и СНК РСФСР учреждается «Всероссийская Академия художеств».

Возрождается традиционная академическая структура, провозглашается метод социалистического реализма. Постепенно восстанавливаются научно-исследовательские и образовательные функции Академии как школы высшей квалификации.

В 1947 году Всероссийская Академия художеств была преобразована в Академию художеств СССР, которая объединила художников разных национальностей огромной страны Советов, чтобы сорок пять лет спустя (1992) Указом Президента Российской Федерации вновь стать Российской Академией художеств.

Много было создано произведений о драматических событиях истории России, военной и трудовой героики, о великих советских стройках и грандиозности свершений в освоении Сибири, островов Тихого и Ледовитого океанов... Они останутся как источник народной памяти для многих поколений. В наши дни работы академиков — С. Коненкова, А. Дейнека, С. Чуйкова, С. Герасимова, А. Пластова, М. Сарьяна, Е. Моисеенко, З. Церетели, П. и С.П. Ткачёвых, В. Цыгаль, Л. Бажбеук-Мелияна, А. Либерова, Л. Кербеля, П. Оссовского, М. Мечева и многих других составляют значительную и наиболее ценную часть коллекции музея. Её дополняют произведения, так называемого, «сурового стиля» (рубеж 1950–60 гг.), обращённые к реальной жизни и реальным проблемам Отечества, авторов Т. Назаренко, Н. Андропова, Н. Нестерова, О. Филатчева, А. Савицкас.

Академию прямо или через её выпускников прошло большинство сибирских художников, сыгравших значительную роль со времени активного изучения огромного сибирского края.

В состав научных экспедиций с XVIII столетия входили художники, создававшие зарисовки Сибири, её жителей и обитателей — ценнейший источник для исследователей наших дней.

С начала XIX столетия участие воспитанников Академии в сибирских экспедициях становится обязательным.

В экспедицию И. Биллингса и Г. Сарычева по Северо-Восточной Сибири и Ледовитому океану (1783–1793) направляется Л. Воронин, в военную экспедицию «по Азиатской и Европейской России» (1802) — Е. Корнев, посетивший Иркутск. В 1807 году за ряд произведений, в том числе и за сибирские работы, он был произведён в академики.

Художники входили в состав духовных миссий и дипломатических посольств, направлявшихся в Китай. Будучи в Иркутске, они успевали выполнять заказы местных жителей.

В составе посольства графа Ю. Головкина в Китай (1804–1805) — академик А. Мартынов и два пенсионера Академии Т. Васильев и И. Александров совершают интересное путешествие по Сибири и Монголии. Уникальный изобразительный материал, созданный ими, был высоко оценен художественной общественностью, пенсионеры были удостоены звания академиков.

Выпускников Академии направляли в служебные командировки в губернские управления, назначали педагогами в учебные сибирские заведения. Произведения, выполненные в Сибири, приносили им звание академиков. Среди них портретисты, работавшие в Иркутске — К. Корсалин, Л. Игорев, К. Рейхель.

На протяжении десятилетий коллекция музея пополнялась работами российских академиков из частных собраний, учреждений, обществ художников, из Государственного музейного фонда, позднее через Министерство культуры СССР и РСФСР, Союзы художников республик СССР, из Дирекции художественных

выставок Худфонда РСФСР, из Республиканского центра «Росизо» (Москва). В памяти музейщиков остались десятки имён дарителей — граждан из различных городов нашей страны, безвозмездно передавших в собрание музея сотни произведений искусства и тем продолживших великую традицию, свойственную русской культуре, традицию благотворительности и меценатства.

При комплектовании собрания музея произведениями иркутских академиков применялся монографический метод, позволявший производить накопление работ мастера за длительный период его творчества, что положительно сказывалось на качестве исследовательского материала и полноте творческой репрезентации мастеров региона.

В 2002–2003 годах в стенах музея была развёрнута выставка «Российские академики XVIII–XX вв.», посвящённая 245-летию Академии художеств (по новому отчёту даты основания Академии — 278 лет, от 1724 года). Выставка занимала 12 больших залов музея и была значительной как по количеству и высокому художественному уровню представленных на ней произведений, так и по богатству вновь введённого в научный оборот материала. По материалам выставки был издан одноимённый альбом-каталог, автором-составителем которого стала ведущий специалист музея, талантливый педагог и исследователь Людмила Николаевна Снытко. В альбом-каталог вошли 267 академиков — живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства от елизаветинских времён до наших дней.

Постоянное пополнение собрания музея произведениями академиков привело к необходимости создания научного каталога, объединяющего в себе исчерпывающий материал о самой значительной коллекции русского искусства в целом и о каждом произведении в частности. В результате многоплановой длительной исследовательской деятельности к 2015 году на грант Президента Российской Федерации был подготовлен к печати фундаментальный (генеральный) каталог музея «Русское искусство XVIII — начала XX вв. в собрании Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачёва». Авторами-составителями каталога стали заслуженные работники культуры, лауреаты грантов Президента РФ и премий Губернатора Иркутской области Л.Н. Снытко, С.Е. Шемякина, А.А. Грызлова. В каталог введён значительный материал о российских академиках, новые данные по атрибуции, идентификации и бытованию произведений искусства, новые открытия. О каталоге мы говорим как об Энциклопедии русской коллекции музея — наиболее значительной в собрании музея.

Сохранение коллекции академиков — крайне важная проблема музея. Реставрационные работы музей проводит на своей базе и на базе ведущих реставрационных центров страны. После реставрационных работ музей создаёт выставку и представляет произведения, которым мастерами-реставраторами продлена жизнь. В мае 2008 года была построена интересная по своему содержанию и успешно проведённая выставка «Возрождённые шедевры. Возвращение из Эрмитажа». Материал экспозиции с применением технических средств раскрывал тайну мастерства художников-реставраторов и применение ими уникальных технологий для продления жизни произведениям искусства.

В 2013 году реализацию получил реставрационный проект возрождения монументального высокохудожественного полотна патриотического звучания академик Г. Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков». Сюжет картины — победа благоверного князя Александра Невского над рыцарями Тевтонского ордена в 1242

году. Образ князя в отечественной истории олицетворяет идею служения Отчизне, идею патриотизма, и возвращает нас к славному историческому прошлому России. Восстановление и репрезентация обществу полотна ко Дню народного единства 2014 года нашли своё продолжение в 2017 году во Пскове, в год празднования 775-летия Ледового побоища на Чудском озере.

Проходя по экспозиционным залам музея, обращаясь к коллекции академиков, вновь и вновь испытываешь чувство глубокого осознания величия отечественного искусства, величия высшей художественной школы страны, величия труда тех, кто сумел собрать, сохранить и донести до нас уникальные произведения искусства, ставшие гордостью народа. Одно перечисление имён академиков в собрании музея даёт представление о высоком уровне уникальной самодостаточной коллекции. Многие авторы представлены рядом произведений различных видов и жанров. Рядом с уже названными стоят — А. Литовченко, И. Репин, В. Поленов, А. Куинджи, Ю. Клевер, Ф. Константинов, Н. Андронов, И. Глазунов, И. Грабарь, А. Грицай, Э. Илтнерс, Н. Кузьмин, В. Лебедева, И. Богдеско, Т. Назаренко, М. Нестерова, К. Петров-Водкин, В. Бялиницкий-Бируля, Я. Ромас, Б. Рязуов, А. Савицкас, Д. Шушканов, К. Юон, В. Сергин, Е. Кибрик, Т. Ряннель, К. Кузьминых, О. Еремеев, А. Новиков, Н. Дубовской, В. Зарубин, О. Закоморный и другие мастера живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.

Особое внимание музей уделяет сибирскому искусству, в значительной степени, иркутского региона.

За долгие годы были созданы солидные монографические фонды иркутских мастеров: яркого представителя реалистической школы живописи, академика А.И. Алексеева (1988), член-корреспондентов Академии: мастера декоративно-прикладного искусства Б.Т. Бычкова (1990) и живописца-монументалиста В.Г. Смагина (2008).

Деятельность «могучей кучки» созидателей, беспредельно талантливых мастеров, авторов общественно значимых произведений и педагогов, отмечена многообразием тем — от богатой событиями истории России и Сибири до современности.

Алексеев Анатолий Иванович (1929 – 2019) ратовал за образование филиала Российской академии художеств, объединяющего центра художественных сил сибирского региона. В марте 1987 года было основано Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств в г. Красноярске, и его первым руководителем (академиком-секретарём) стал Алексеев (1987–1990), продолжая преподавать в Иркутском художественном училище и творчески работать в области тематических картин, портретов, лирических пейзажей и натюрмортов. На сегодняшний день монографический фонд художника объединяет произведения, созданные в период 1958–2019 гг.

Бычков Борис Тимофеевич (1928 – 2005) — первый и единственный в Иркутске представитель «декоративного стекла», один из основателей и преподаватель керамического отделения Иркутского художественного училища. Круг творческих интересов был широк — создание монументальных и станковых произведений, обращённых к прошлому и будущему народов России. Монографический фонд состоит из произведений творческого периода 1960 – 2003 гг.

Смагин В.Г. (1937 – 2015) — основатель, заведующий и педагог кафедры монументально-декоративной живописи Иркутского Государственного технологического института, которая носит его имя. Создатель общественно значимых произведений в Иркутске, таких как Мемориальный комплекс «Вечный огонь»,

Мемориал «Воинам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941–1945 гг.» и т. д. Монографический фонд состоит из произведений периода 1975 – 2015 гг.

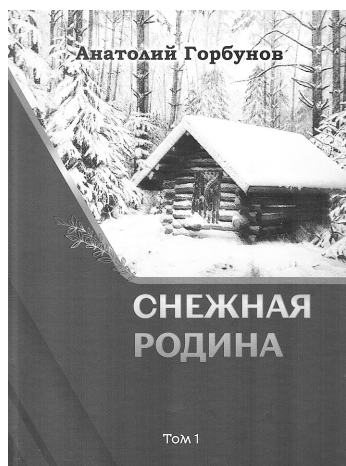
На эти годы приходится и активное сотрудничество музея с бурятскими мастерами.

Активная совместная выставочная деятельность по организации выставок самобытных бурятских мастеров, в исследовании богатейшей духовной и материальной культуры талантливого народа, привела к взаимной заинтересованности в активном пополнении собрания «Иркутского художественного».

В академическую коллекцию музея вошли произведения замечательного скульптора, художника и ювелира Бурятии, академика Д. Намдакова, сформирован монографический фонд мастера, имеющий уникальную культурную ценность. Графика и скульптура Д. Намдакова — «Степная Нефертити», «Царица», «Звездочёт», «Лама», «Шаман», «Охотник», «Бабр» — украшают коллекцию музея и вызывают большой интерес у исследователей и любителей искусства.

«Высокий уровень Иркутского музейного собрания определяют прежде всего известные мастера — академики живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. ...Коллекция российских академиков является в настоящее время наиболее самодостаточной в собрании Иркутского художественного музея. ...Это даёт возможность проследить историю развития отечественного искусства, смену его различных течений и стилей на высоких образцах».

Книжная полка



Горбунов, А.К.

Снежная родина : избранные произведения в 2 т. — Т. 1 : стихотворения / А.К. Горбунов — Иркутск (ИП Лаптев А.К.), 2022. — 352 с.

Анатолий Горбунов — русский народный поэт, и с точки зрения народности ему не было равных в русской поэзии на исходе прошлого века, да и поныне. В поэзии Анатолия Горбунова — глубинное знание природы и щемящая песенная любовь к малой родине, из которой рождается любовь к великой Родине — к России.

Горбунов, А.К.

Земная красота: избранные произведения: в 2 т. — Т. 2 : повести, рассказы, побывальщины, сказки / А.К. Горбунов. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2022. — 400 с.

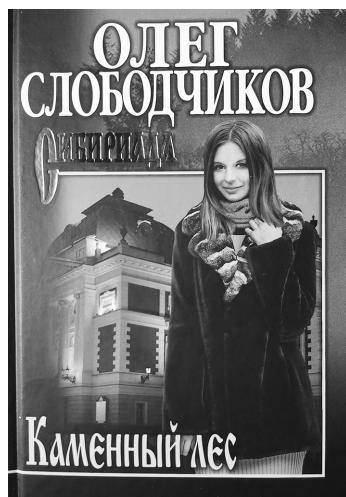
В прозаический том двухтомника поэта и прозаика Анатолия Горбунова вошли и произведения из рукописей, еще не изданных, в свое время жанрово поделенных писателем на рассказы, побывальщины и сказки. В книгу вошли три рассказа в двух вариантах под разными заголовками.

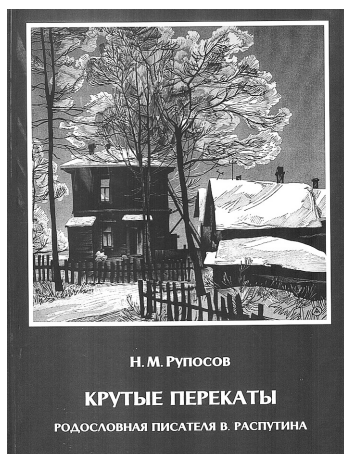


Слободчиков, О.В.

Каменный лес : повести / О.В. Слободчиков. — Москва : Вече, 2022. — 480 с. — (Сибиряда).

В новой книге лауреата литературной премии им. В. Распутина, известного иркутского писателя Олега Слободчикова представлена подборка таежно-приключенческих повестей, охвативших период от 80-х годов прошлого века до настоящего времени. Их герои — люди тайги, беглецы из городов, противники массовой культуры, стремящиеся к простоте быта, к единению с природой. Эти увлекательные истории передают духовные искания простых людей сибирской глубинки.



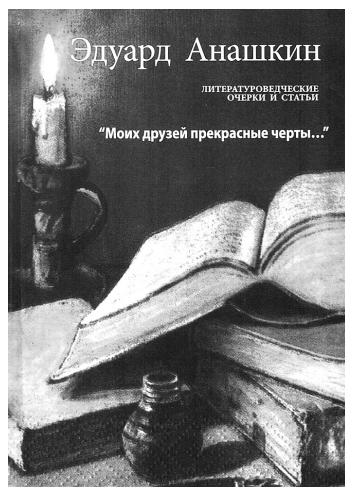
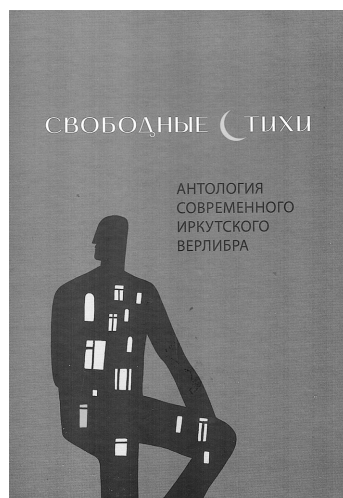


Рупосов, Н.М.
Крутые перекаты. Родословная писателя В. Распутина / Н.М. Рупосов. — Иркутск : [б.и.], 2022 (Тип. «Форвард»). — 64 с. : ил.

В книге Н.М. Рупосова на основе многочисленных свидетельств архивных документов рассказывается о детстве и ранней юности Валентина Распутина, о семье писателя и его предках, о том, где родился, рос и учился будущий писатель, о людях, которые его окружали, об их судьбах. Впечатлительная душа ребенка сохраняла до времени все виденное и пережитое, собирая сюжеты и образы для повестей и рассказов. Книга Н.М. Рупосова имеет высокую степень документальности в сочетании с ярким публицистическим стилем.

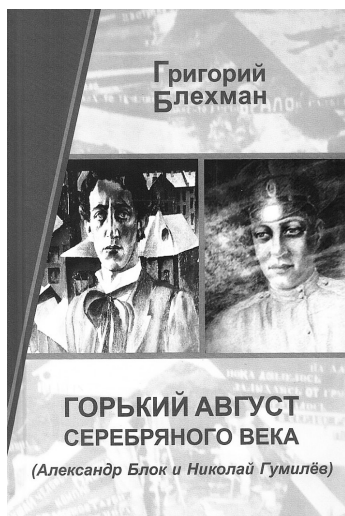
Антология современного иркутского верлибра : сборник стихотворений / Сост. и предисловие А. Морс, С. Михеева. — Иркутск : Востсибкнига, 2022. — 120 с. : ил.

В коллективном сборнике «Свободные стихи. Антология современного иркутского верлибра» представлены произведения 21 автора Иркутской области, написанные без использования традиционных приёмов русского стихосложения — рифмы и стихотворного размера. Издание адресовано как специалистам и профессионалам, так и самому широкому кругу любителей русской словесности.



Анашкин, Э.К.
«Мои друзья прекрасные черты...» : литературоведческие очерки и статьи / Э.К. Анашкин. — Тольятти : [б.и.], 2022 (Тип. ООО «МНХ»). — 145 с.

Известный автор рассказов и повестей Эдуард Анашкин в своей новой книге делится воспоминаниями о встречах с писателями, оценивает и профессионально разбирает их творчество. В сборнике опубликованы статьи о поэте Станиславе Куняеве, прозаике Елене Чубенко, Юрии Баранове и многих других.



Блехман, Г.
Горький август Серебряного века (Александр Блок и Николай Гумилёв) / Григорий Блехман. — Москва : Российский писатель, 2022. — 192 с.

В своей новой книге известный прозаик и литературовед Григорий Блехман рассказал о творческих судьбах двух выдающихся поэтов Серебряного века — Александра Блока и Николая Гумилева.

Погодаев, С.

Смешная судьба : стихи / С. Погодаев. — [б.и.], 2022 (Тип. ООО «Репроцентр+»). — 64 с.

В новой книге иркутского поэта Сергея Погодаева — стихи «о нас», о нелёгком, но интересном времени, в котором все мы живем. Через своего литературского героя автор примеряет на себя различные роли, подчас самоиронично рефлексировать. Обращено к думающему читателю с чувством юмора.





Несынов И.И. Портрет художника В. Смагина



Выцугжанин А.И. Портрет Б. Бычкова

